

Humanitas

Григорий Померанц
Зинаида Миркина

Великие религии мира



Григорий Померанц
Зинаида Миркина

Великие религии мира

Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я.Левит
Заместитель главного редактора И.А.Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В.Скворцов (председатель), П.П.Гайденко, И.Л.Галинская, В.Д.Губин,
Б.Л.Губман, Ю.Н.Давыдов, Г.И.Зверева, А.Н.Кожановский,
И.В.Кондаков, Л.Т.Мильская, А.Ю.Морозова, Ю.С.Пивоваров

Научный редактор тома Е.А.Жукова
Художник П.П.Ефремов

Померанц Г.С., Миркина З.А.

П 55 **Великие религии мира.** — 3-е изд., испр. — М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. — 256 с., ил. (Серия «Humanitas»)

В книге исследуются образы веры, оказавшие наибольшее влияние на историю, искусство и философию. Отдельные главы посвящены доисторическим и племенным культам, религиозным течениям Эллады, единобожию евреев, христианству, исламу, брахманизму, буддизму, послепуддийскому индуизму, дальневосточному буддизму дзэн, религиозным учителям и течениям XX в. (Кришнамурти, Даниилу Андрееву, бахаизму). Авторам (поэту Зинаиде Миркиной и философу Григорию Померанцу) удалось создать единство стиля, в котором поэтичность сочетается с научной достоверностью. Первое издание разошлось в год выпуска. В публикуемое издание авторы внесли ряд исправлений и уточнений формулировок.

Книга рассчитана на преподавателей, студентов, учащихся старших классов и всех читателей, ищущих пути в глубину без жестких догматических рамок.

© С.Я.Левит, составление серии, 2006
© Г.С.Померанц, З.А.Миркина, 2006
© Издательский дом Международного университета в Москве, 2006

Оглавление

Предисловие	5
-------------------	---

Глава первая

У истоков мифа и обряда (религии примитивных племен)	8
Все во всем	8
Страх и песня	12
Страна сновидений и доверие Луне	14
Предмет и мир	15
По веревке на небо	18
Зигзаги истории	21
Профессионалы культуры	23

Глава вторая

Боги и судьба (Древняя Греция)	26
Золотой век	26
Молния разума (Олимп)	28
Богоборчество. Снова титаны	33
С Олимпа в бездну	34
Живое бессмертие	39
Последняя ставка богов. Казнь Сократа. Смерть богов	43

Глава третья

Суший (вера древних евреев)	48
Книга книг	48
Образ не имеющего образа	49
Неопалимая купина	51
Цари и пророки	55
Не единым хлебом	58
Иов и Прометей (за что?)	69

Глава четвертая

Бог есть любовь (христианство)	68
Новый Адам	68
Не человек для субботы, а суббота для человека	69

Внутри нас	71
Чудо	74
Кесарево — кесарю, а божие — Богу	77
Смерть смерти	82
Жизнь вечная или будущая	85
 <i>Глава пятая</i>	
Пророк пустыни (ислам)	90
Потомки Измаила	90
Нет Бога, кроме Бога!	91
О, если бы вы знали... ..	92
Пророк становится повелителем	95
 <i>Глава шестая</i>	
Золотая суть (Древняя Индия. Религия Вед и упанишад)	106
Тогда расширились небеса и удлинялись рассветы	106
Истина одна, мудрецы называют ее разными именами	108
Бессмертный среди смертных	109
Брахман	111
Ты — это то	113
 <i>Глава седьмая</i>	
Татхагата (буддизм)	118
Наука свободы	118
Слово о молчании	120
Наполненная пустота	122
Разлитый повсюду	126
 <i>Глава восьмая</i>	
Две естественности (спор буддизма с индуизмом)	130
Отчаянье Арджуны	130
Теологические поддавки	135
Возмездие стихий	136
Флейта Кришны	139
Призраки храма	140
 <i>Глава девятая</i>	
Набирать снег серебряным кувшином (дзэн-буддизм)	144
 <i>Глава десятая</i>	
XX век (Кришнамурти, Раджнеш, бахаизм)	168
Послесловие	190

Художественное приложение

Зинаида Миркина

Ты или Я? (картины на темы Ветхого и Нового Заветов) 197

Часть 1

Глава 1. Адам	199
Глава 2. Каин	202
Глава 3. Бабушка и внук	204
Глава 4. Иов	205

Часть 2

Глава 1. Благовещение	209
Глава 2. Рождественская звезда	209
Глава 3. Ребенок и отрок	210
Глава 4. Иоанн Креститель	212
Глава 5. Пустыня	213
Глава 6. Ученики	216
Глава 7. Слепой	218
Глава 8. Мария и Марфа	220
Глава 9. Лазарь	220
Глава 10. У фарисея	221
Глава 11. «Царствие Божие не там и не тут»	223
Глава 12. Нагорная проповедь	224
Глава 13. «Израиль! Израиль!»	225
Глава 14. Магдалина	227
Глава 15. Чудо Иоанна	228
Глава 16. Иуда	229
Глава 17. Тайная вечеря	236
Глава 18. Подросший внук	237
Глава 19. Гефсиманский сад	238
Глава 20. Ночь Петра	240
Глава 21. Понтий Пилат	241
Глава 22. Голгофа	243
Глава 23. Воскресение	244

Указатель имен. Составитель *И.А. Осиновская* 246

Тема этой книги — религиозные традиции как форма, в которой человек сознает свою связь с глубиной жизни и одновременно богатство и глубину своей собственной души, т. е. то, чем памятники религии соприкасались с искусством, философией, этикой и т. д.

Наша книга о святынях, которые наполняли жизнь людей смыслом, о том, как этот смысл утрачивался и отыскивался вновь. Книга — о таинственной глубинной связи всех эпох и культур. Мы пытаемся проследить единую нить вечного света, проходящую сквозь множество существующих рядом или сменяющих друг друга форм религиозной культуры.

Наша тема не христианство, буддизм, ислам во всей их сложности и противоречивости, а, скорее, порыв к истине, заключенный в первоначальном христианстве, буддизме, исламе и т. д. Отсюда интерес к личностям Христа, Будды, Мухаммеда, впервые воплотившим новое чувство истины.

Христианство на первых порах было восстанием внутри иудаизма, буддизм — восстанием внутри брахманизма. Они больше освобождали, чем связывали. Но победившая свобода, как правило, превращалась в новые цепи.

Восстания против старой веры, старой системы слов, требовавших слепого послушания, вели к созданию новой догмы, которая вновь застывала и каменела. Мы выбираем из этого процесса один отрезок, один кусок, наиболее плодотворный для культуры, а обо всем остальном говорим очень коротко. Это не значит, что другого не было.

Но освещение его — задача других книг.

Глава первая

У истоков мифа и обряда (религии примитивных племен)

Все во всем

Начиная читать эту книгу, вы, наверное, захотите узнать, с чего начиналась религия, «как это было». Но наука располагает только данными археологии, которые сами по себе немы, и хотя ученые могут заставить камень заговорить, одни и те же камни в руках разных ученых говорят разные вещи. Мы знаем, что 20—25 тысяч лет тому назад люди стали рисовать на стенах пещер лошадей, бизонов и других животных. Однако чем были эти изображения? Своего рода иконами? Или просто украшениями жилищ?

Если для проверки обратиться к этнографии, к изучению наиболее первобытных племен, живущих сейчас, то окажется, что у одних искусство тесно связано с культом, а у других почти независимо от него. И мы снова остаемся перед загадкой: с чего же, собственно, все началось?

К сожалению, невозможно отправиться на машине времени в древний каменный век и пожить с неандертальцами (предками современных людей), наблюдая, как зарождались религиозные представления и действия, что было раньше и что потом. Действительно ли религия началась с простых ошибок первобытного разума, не умевшего отличать движущееся от живого, сновидения от яви и т. п.? Или в основе религии какие-то переживания, которые и сегодня трудно объяснить, переживания настолько напряженные, что передать их можно только метафорой?

Попробуем, однако, рассуждать, и кое-что нам, возможно, удастся выяснить. Начнем с того, что у наименее развитых народностей, живущих рядом с нами, нет особой, выделившейся области религии, культа. Есть праздники, связанные с более или менее сложными обрядами. И есть повседневный труд, связанный с другими обрядами. Есть мифы (рассказы о том, как возникли земля, небо, первые люди, добро и зло, страдания и смерть). Но нет культа, не связанного с трудом и бытом, и нет быта, не связанного с культом. Для бушменов охота — и экономи-

чески необходимое дело, и священный обряд. Если не позволить им охотиться, они чувствуют себя вероотступниками, опускаются и гибнут. Индийское племя санталов, вынужденное перейти к земледелию из-за недостатка охотничьих угодий, раз в год совершает священную охоту: без этого, объясняют старики, случится неурожай. Объяснение явно придумано задним числом. Просто санталы не могли себе представить жизнь без охоты и сохранили ее как чистый обряд, без реально-го экономического смысла, а в древности это было и трудом, и обрядом — нераздельно.

Есть старый шуточный вопрос: что было раньше, курица или яйцо? Каждому известно, что куриных яиц без кур не бывает, так же как кур — без яиц, из которых они вылупились. Но попробуем поискать ответ в прошлом. Сперва мы всюду будем находить ту же пару: яйцо — птица, яйцо — пресмыкающееся, икринка — земноводное, икринка — рыба и т. д., пока не дойдем до самых простых одноклеточных организмов. И вот тут оказывается, что инфузория не знает двух форм существования, куриного и яичного. Она одновременно и курица и яйцо: движется, поглощает пищу, отвечает на раздражители, а потом набухает, растягивается и делится на две инфузории.

Примерно так же обстоит дело с описанием примитивных форм человеческого общества. Мы привыкли к системам, в которых каждая сфера деятельности обособилась и обросла своими учреждениями: производством занимаются на заводах, фабриках; управлением — в министерствах, комиссиях, комитетах; образованием — в школах, университетах; для религиозного культа есть храмы. Но в примитивном обществе мы не находим ни курицы, ни яйца. Там нет особой религиозной теории, отделившейся от культуры в целом, и нет религиозной практики, отделившейся от труда и праздника. Там все окрашено религиозными представлениями, религиозными обрядами, но религии в чистом виде, царствия, которое не от мира сего, нигде нет. Человек, целиком посвятивший себя Богу, в бушменском или австралийском быту так же невозможен, как и ученый-атеист.

Таким образом, мы кое-что выяснили. Мы выяснили, что в начале была нерасчлененная культура, из которой постепенно выделились религия, искусство, экономика, политика, наука и все другие сферы человеческой жизни. Была целостная примитивная культура, неотделимая от мифа и обряда.

Мы знаем, что люди древнего каменного века начали совершать похоронные обряды. Это было актом культуры (животные не хоронят мертвых) и, вероятно, связано было с какими-то образами посмертия. Видимо, смерть близкого перестала легко забываться, стала восприниматься как общая угроза, как Смерть вообще, от которой надо было оборониться, защититься обрядом.

В своей замечательной книге «Божественная Среда» Тейяр де Шарден писал о двух путях к Богу: через радость жизни и скорбь жизни. Если слово Бог не вызывает у вас ничего, кроме недоумения, замените его словами «вечность», «целостность», «смысл жизни». Есть культуры, в которых все связывается со словом Бог; есть другие, где высшее слово — Брахман или Дао (мы поговорим о них позже). Для некоторых философов великое слово — Единое. Но вне зависимости от слов люди, почувствовав тоску небытия, стремятся вырваться из нее, что-то сделать. Это что-то, раз удавшись, могло стать истоком обряда. Так, некогда неандерталец, не в силах примириться со смертью отца, матери, жены, решил с почетом похоронить тело, придав покойнику какую-то условную позу, чтобы ему хорошо было в лоне матери-сырой земли. Судя по верованиям современных бесписьменных народов, всякий обряд связан с мифом, с рассказом, зачем это делается. И если мы находим погребение, то был и рассказ о жизни после смерти, миф. Может быть, вначале только фраза: теперь ему (ей) хорошо. Но постепенно сложилась мифология посмертия. Люди, охваченные тоской небытия, делали все, чтобы выйти из этой тоски, вырваться к чувству жизни, более сильному, чем смерть. Порыв к этому есть даже у собак. Они чувствуют леденящее прикосновение чужой смерти и воют по покойнику. Люди тоже плачут, а потом успокаиваются. Похоронный обряд помогает облегчить переход, заполнить дыру, проделанную смертью в целостности жизни, и подготовить человека к другим подобным случаям, научить окунаться в вечность. Казалось бы, нелепо пировать по случаю смерти. Но пируют, радуются заново найденному смыслу жизни, неуязвимому для смерти. Поэтому пируют, поэтому танцуют (у испанцев до недавнего времени сохранился похоронный танец — чакона). Обряд топит боль в радости. Боль от потери или усталость от тягот повседневного труда — все это растворяется в радости песни и танца, в радости пира. Чем бы ни было переполнено сердце, оно должно вылить свою переполненность, и даже переполненность скорбью, тоской становится торжественной. С обрядами переходов из утробы матери в жизнь, из детства в зрелость, из тела в лоно матери-земли связаны первые шаги человека в духовном мире.

Когда соловьи поют, глухари токуют, беседковые птицы (в Австралии) украшают свои гнезда сложным узором из ракушек, это очень близко к обряду. В брачных играх животных много действий, которые невозможно объяснить прямой биологической целесообразностью. Энергия тратится «впустую». Видимо, переполненность энергией в период спаривания (вообще говоря, целесообразная, гарантирующая продолжение рода) вызывает беспокойство, и брачные игры — своего рода предохранительный клапан, приоткрывающийся, когда психическое напряжение становится слишком большим. Эта

гипотеза не объясняет, однако, высокой организованности, иступленной страстности (самозабвение глухаря) и эстетического совершенства (пение соловья) многих брачных игр. Возможно, психика животного, подобно человеческой, устает от непрерывных забот о пище, самозащите и т. д., и в период спаривания, благодаря избытку энергии, она расправляется. Особь, переполненная силой, чувствует себя свободной от забот и начинает воспринимать жизнь как целое: ликует, когда восходит солнце, смолкает перед грозой. Так именно ведут себя птицы... И средневековые монахи чувствовали сходство между пением птиц и своим религиозным поведением. Они говорили, что птицы, распевая, славят Господа. Можно предположить, что между пением соловья и обрядовым ликованием людей — например, бушменов, пляшущих всю ночь полнолуния напролет, — в самом деле есть что-то общее.

Один из истоков обряда — «обрядовые» игры животных. Судя по поведению наших близких родственников, обезьян, предки человека были расположены к играм не только в течение короткого брачного периода, а круглый год*. Повышенная склонность к играм имела известное значение в общем процессе сапиентизации (очеловечивания). Она помогала развитию языка, символики вообще, способствовала переходу к труду (многие открытия, даже гораздо позже, когда человек был вполне разумным и действовал целенаправленно, по плану, — делались играя, для забавы; например, для забавы были приручены некоторые животные; можно себе представить, что так же играя полуобезьяна сделала первое орудие труда). Играя, люди изобретали и осваивали многие первые формы поведения; и одной из таких форм было обрядовое поведение. До сих пор примитивные обряды чрезвычайно похожи на игры: танцы ряженных, танцы в масках, хороводы...

Только очень поздно, уже в историческое время, появилось религиозное сознание, независимое от обряда, и религию стало возможным рассматривать как мирозерцание. Первобытная религия — это обрядовое действие. Это игра, нагруженная смыслом (отчасти истинным, отчасти ложным), но непосредственно, по форме своей — игра.

Чем же обрядовое поведение людей отличается от игр животных? Можно ответить очень коротко: объяснением, зачем это делается. Разумеется, очень простым объяснением. Рассказом о прошлых событиях, которые не совсем прошли, а где-то спрятались и снова могут выйти наружу, если их вспомнить и повторить, разыграть. Эти рассказы, мифы, неотделимы от обряда. Обряд — это игра в действительность, рассказанную в мифе. Миф — это история, которая объясняет происхождение обряда и приписывает обряду смысл, ко-

* Это имело особые биологические причины, которые мы здесь не рассматриваем.

торого мы, цивилизованные люди, обычно в обряде не находим. Почему же первобытные люди находили (и многие племена до сих пор находят) в обряде особый глубинный смысл? Это связано с характером сознания, с его приемами расчленения мира на отдельные явления, вещи. Примитивное сознание, прежде всего, не отделяет глубокой старины от вечности. Мир, в котором жили предки, воспринимается им как царство вечных, не умирающих существ. Если хорошенько переодеться, перекраситься, войти в роль предка, то можно соединиться с этим миром прошлого (вечного), войти в вечность, осветить свою будничную жизнь вечным светом.

С обрядом глубоко связана и магия. Бесписьменные народы считают, что ведуны, колдуны, шаманы, маги могут вступать в союз с какими-то духами и с их помощью влиять на успех охоты, преодолевать болезнь, даже клиническую смерть. В одной из африканских республик колдуну платят 500 долларов за то, чтобы в день праздника не было дождя. В Шри Ланке молодой буддийский монах, которому мешают его чувственные порывы, обращается к колдуну, и колдун успокаивает страсти. Приобщение к высшим духовным силам и магия идут рядом, но это две совершенно разные вещи, сколько бы их ни путали, не только в бесписьменных культурах, но и сегодня. Человек здесь не равен человеку и племя — племени. Видимо, и в прошлом стремление прикоснуться к вечности и другое стремление — к отдельным вещам — чередовались друг с другом.

Страх и песня

Первобытные люди ярко, свежо воспринимали мир и очень наивно, неловко его классифицировали. У них было живое воображение, но слабо развитые приемы логического анализа. Поэтому далеко не все в их быту получало объяснение (хотя бы в форме мифа). Очень многое старики совсем не объясняли молодежи или объясняли одним словом: табу! Табу — священный запрет, на страже которого стоят таинственные силы. Вера в табу так сильна, что человек, случайно нарушив табу (например, съев по неведению банан, надкушенный вождем), умирает от одного страха неминуемой расплаты.

Человек остро чувствует свою зависимость от мира, боится вторгнуться в его порядок, обрушить на себя гнев неведомых сил. На каждом шагу он пытается привлечь эти силы на свою сторону или оборониться от них с помощью магических (действующих на скрытые причины) слов и жестов. Разум человека находится в плену запретов, очертивших его поведение невидимым кругом.

Система обрядов и табу — своего рода общественный инстинкт, сложившийся в незапамятные времена и прочно установивший фор-

мы племенной жизни, не давая ни вернуться назад к стаду животных, ни двигаться вперед. Во всяком случае, двигаться с такой скоростью, которая психологически ощутима и вызывает конфликты между поколениями. То, что старики усвоили — основные символы культуры, основные мифы, обряды, запреты, — они по возможности без изменений передают детям и внукам. Детей, не верящих своим родителям и дедам, в бесписьменном обществе нет: им не с чем сравнивать, нет конфликта авторитетов. Авторитет один, он свят и незабываем.

Однако прочность, каноничность племенных образцов поведения не означает, что человек полностью лишен свободы. В рамках установленного остается известный простор и для непосредственного отклика на впечатления, для самостоятельной мысли. Об этой свободе духа, о духовном богатстве примитивных племен говорят многие вдумчивые наблюдатели. Датский этнограф Йенс Бьерре, живший среди бушменов Южной Африки и полюбивший их, говорит, что примитивность образа жизни никак нельзя смешивать с примитивностью чувств. Бушмены глубоко чувствуют, и бедность языка отнюдь не мешает им выражать довольно сложные мысли. Так, например, когда старика бушмена спросили о его возрасте, он ответил: «Я так же молод, как самое прекрасное желание моего сердца, и так же стар, как все мои несбывшиеся мечты». Бьерре поразило умение бушменов жить гармонично, в ладу с окружающей природой и друг с другом, полно, поэтично, ощущая близость к самым «истокам жизни». Примитивный человек вздрагивает отнюдь не только из страха перед неведомыми силами. Ему знаком поэтический трепет от любви, от счастья, от восторга перед чудом жизни. Жизнь племена находится в таком единстве с красками, звуками, запахами природы, что душа человеческая как бы все время вступает в разговор с миром. Все говорит ей — кусты, деревья, небо, солнце, луна, звезды, движения зверей, ящериц, рыб. Все переплетается, связывается друг с другом, сливается в какой-то вечный танец, в вечную песню. «Можно без преувеличения сказать, — пишет Й. Бьерре, — что они всасывают чувство ритма с молоком матери, потому что изо дня в день засыпают на материнской груди, которая движется в такт музыке и песням. Я видел годовалых малышей, которые учились танцевать...»

Это общая черта примитивных племен. Пигмеи племени бамбути танцуют каждый вечер. Без танца, без игры, без обряда они чувствуют себя духовно голодными. И необходимый труд — охотников и собирательниц ягод, корней, личинок, меда — сохраняет в себе что-то от игры и обряда. Он еще не стал механическим трудом, у него есть свой ритм, подобный ритмам природы. Он тесно связан с искусством. Бушмены, так и не научившиеся возделывать землю, еще 11 тысяч лет тому назад знали, что такое флейта, и умели пользоваться ею. Почти каждый бушмен, австралиец, пигмей — хороший художник, и

каждый — отличный танцор. Праздник здесь не редкое событие, а основа основ их жизни. В празднике примитивный человек входит в совершенно особое настроение. Он освобождается от монотонности труда; природа и человек становятся чем-то единым и неделимым. В танце, в движении, в системе жестов, только помогая себе словом, человек создает целостную систему, картину мира.

Отдельные элементы этой картины традиционны, заучены наизусть. Но танец в целом невозможно заучить. В нем всегда есть место для импровизации. И когда танцующие доходят до экстаза, человек, воспитанный традицией, становится творцом традиции.

В танце сохраняются сюжеты, заданные трезвым восприятием предметного мира: охота, сватовство, смена фаз луны и т. п. Но эти сюжеты трактуются по-особому, празднично. Обычное рассудочное деление мира на отдельные предметы теперь невозможно. Мир как бы плавится, становится текучим, превращается в клубок вихрей, проходящих сквозь сердце человека. В этом состоянии вдохновения, опьянения миром творятся новые песни, новые подробности старых мифов, заново утверждается и в то же время обновляется предание, из которого впоследствии вырастут первые попытки личного мировоззрения.

Страна сновидений и доверие Луне

Множество различных мифов так или иначе рассказывает о таинственных силах, управляющих миром, и о вечной стране, куда души людей попадают после смерти. Каждое племя устраивает царство вечности по своему вкусу. Так, у тонга (в Океании) загробный мир — это рай с благоухающими, вечно свежими цветами, по которым бродят юноши и девушки совершенной красоты. А по представлениям патагонцев, за гробом находится страна вечного пьянства. У индейцев оджибве хорошие люди на «том свете» проводят время в плясках и пении, а злые, расточавшие чужой труд, плохо относившиеся к собакам, попадают в царство духов-мучителей.

Другие племена не испытывают никакой потребности в загробном воздаянии за добро и зло.

У австралийцев вечность — «страна сновидений», некая невидимая, неосязаемая духовная река, которая протекает через всю жизнь и приоткрывается людям в снах. Эта страна выпускает души и берет их обратно, а иногда снова выпускает, уже перевоплощенными, принявшими другой облик.

У бушменов потусторонним миром правит Луна. Ее таинственный свет льется как бы непосредственно из скрытой стороны жизни. Там мерцают, переливаясь друг в друга, сновидения и прячется

голуболицая смерть. Луна действует на душу человека непреодолимо, сверхразумно. В мифах это живое существо, и люди должны уметь слушать ее и верить ей. Она умирает, сходит на нет, но не совсем. У нее остается невидимый хребет, на который вновь нарастает лунная плоть. Поэтому каждый праздник полной Луны — это праздник воскресения. Бушмены верят, что люди тоже умирают «не совсем». Надо только не отчаиваться. Один мальчик не поверил Луне и плакал, когда умерла его мать. Луна рассердилась и превратила его в зайчишку с дрожащей рассеченной верхней губой. Зайчишка совсем умер, и его потомки, переставшие верить в бессмертие, тоже умирают совсем.

В стране сновидений облики переходят друг в друга по каким-то особым, облегченным правилам. Австралийцы узнают во сне, какой предок стал вторым, духовным отцом еще не родившегося ребенка. Предок этот имеет облик животного, которое в изобилии водится в данной местности. Такой предок называется тотемом. Он одновременно обозначает родину (местность), предков, живших в этой местности, и род, к которому принадлежит человек, родившийся от этого тотема, в этой местности. Таким образом, некоторые люди таинственно связаны с попугаем или ящерицей, или кенгуру, составляют с ним один класс (иначе говоря, австралийцы пользуются именем и обликом животного, чтобы разделить на группы свое собственное общество. Можно взглянуть на тотемизм и так).

При всем бесконечном разнообразии отдельных мифов, персонажей, тотемов, духов и душ — в «царстве сновидений» разных племен много общего. Прежде всего, это не «потусторонний мир» в позднейшем точном смысле слова. Примитивное сознание не умеет строго различать «тот свет» и «этот свет». То, что человек воспринимает во сне, при галлюцинациях, в состояниях экстаза и транса, легко смешивается с будничными восприятиями. Мир в целом чувственно ощущим и в то же время окутан тайной. Резкого различия между духом и материей никакое примитивное мировоззрение не знает. То, что называется духом и душой — своего рода материя, только потоньше, вроде пара. Если человек крепко заснул, не будите его грубо! А то душа, ушедшая путешествовать — во сне, — не успеет вернуться обратно к нему...

Предмет и мир

Мы уже говорили в начале главы о пещерных рисунках, которые называются «первобытным искусством». Советский исследователь А. Д. Столяр предпочитает говорить об «изобразительной деятельности». По его мнению, самым важным в этой деятельности было не

рождающееся искусство, а формирование общих понятий. «В наиболее архаичных племенных языках, — пишет А.Д.Столяр, — слово передает еще не чисто отвлеченное понятие, а зрительный образ...» Пещерный рисунок был, таким образом, моделью понятия. Вместе с рисунком (и понятием) бизона вообще (а не только этого бизона, убитого вчера на охоте) возникает мышление в понятиях, и человек становится «*homo sapiens*», человеком разумным. Перед ним раскрывается таинственный мир сущностей, чего-то единого по ту сторону отдельных предметов. Он задумывается над жизнью и смертью, над временем и вечностью, над происхождением и смыслом бытия, над бездной бесконечного. Он начинает искать образ мира как целого, и этот образ становится его святыней.

Многие пещерные рисунки расположены в дальних, трудно доступных углах. Это, по-видимому, тайные святилища, доступ к которым был не всем открыт, своего рода «святая святых», куда входили немногие и по особым случаям. Судя по австралийцам, есть тайны мужчин, о которых не сообщают женщинам, а у женщин — свои тайны. Мужчины могли поклоняться великому отцу, женщины — великой матери.

Среди древнейших статуэток каменного века выделяется образ Матери. Рядом с ней стоит Отец — сперва как зверь (тотем), много позже как человек. Он такой же отец миру, как и своему ребенку. Живет он высоко на небе. Его образ сливается с образом неба. Небо — единое, неделимое, бесконечно огромное, созданное из какого-то легкого, светлого, сияющего вещества. Большие небесные светила (солнце, луна) тоже становятся образами творящей силы или жилищами бога, создающего мир примерно так же, как человек делает челнок или лодку. Этот творец вызывает страх, как бездна, и восторг, как жизнь, как небо. Он легкий, как пар (дыхание, дух), и его легкое, светлое, воздушное царство — наверху. В человеке тоже есть что-то легкое, воздушное (дух, дыхание, душа); оно способно подняться на небо и жить там.

Один из древнейших образов мироздания — огонь. Костер, горевший на стоянках, напоминал о великом открытии, сделанном предками, переселившимися в страну сновидений, и был живым образом внутреннего огня, вдохновения, горения сердца. Австралийцы способны смотреть на костер до экстаза. С огнем связаны многочисленные обряды и культы (возжигание огня, хранение огня, хождение по огню, прыжки через огонь).

Несколько позже, по-видимому, возникает образ мирового дерева (возможно, с ним связано библейское дерево познания добра и зла). Корни этого дерева уходят в подземное царство, а ветви и листья — в небо. Справа от него и наверху расположились хорошие вещи, а слева и внизу — дурные, ядовитые.

Все, таким образом, заняло свои места. Человеческое сознание вышло из хаоса отдельных предметов, лишенных смысла, построило первую модель космоса, отделило добро от зла. Мы до сих пор пользуемся некоторыми символами, связанными с этой первой, наивной попыткой классификации впечатлений. Мы говорим: «высокие идеи» и «низкие помыслы», «правое дело» и т. п. С научной точки зрения низ не хуже верха, а правая сторона — ничуть не лучше левой. Но язык помнит старое, мифологическое значение этих категорий; даже создавая новые выражения, он действует по старым правилам (сравните бытовой оборот «сработать налево», т. е. незаконно).

Образ мирового дерева — очень выразительный, емкий. Он объединяет единство и множественность. Дерево одно, у него один ствол, и в то же время оно делится на множество ветвей — наверху, корней — внизу. Так и мир, единый и цельный, делится на множество предметов, сил, стихий. В своей практической жизни человек, как и животное, имеет дело со множеством, а не с единством. Он видит, обоняет, осязает предметы, а не целое. Но под влиянием полнолуния или восхода солнца, или закружившись в танце, он внезапно сознает, переживает жизнь как целое, как неведомый источник, то, что нельзя увидеть, к чему нельзя прикоснуться, но что, как ствол дерева, как некий стержень вселенной, удерживает ее в единстве, сохраняет в целом мир, полный красоты и смысла.

К распространенным образам мифологии относится также яйцо, из которого мир вылупился, как цыпленок, и некоторые другие. Но о всех здесь не расскажешь.

Понятия первобытного человека — это только наглядные символы понятий, рисунки в роли понятий. Отношения между явлениями и символами природы выступают поэтому для первобытного человека как отношения между рисунками, статуэтками, масками, ряжеными участниками хоровода.

Входя в роль, замаскированный и раскрашенный участник обряда начинал думать и чувствовать как образ, который он создал. Его мировоззрение могло быть только мифологическим мировоззрением. Его классификация предметного мира могла быть только мифологической классификацией; его разумное освоение мира — только мифологическим освоением. Прошло много тысячелетий, прежде чем из мифологических классификаций выработались философские и научные теории.

Развитие логической мысли цивилизованных народов время от времени отвергало истинность мифопоэтического творчества, и казалось, что его образы сохраняются только как риторические фигуры, как украшение речи. Но потом возникали вопросы, перед которыми логика вставала в тупик. Индийский мыслитель Нагараджуна, жив-

ший около двух тысяч лет назад, показал, что всякое логическое предположение связывает или разделяет отдельные предметы, понятия: Жучка — собака, собака — не кошка (по-русски мы подразумеваем связку «есть», в других языках она обязательна: *Bobby is a dog; a dog is not a cat*). Но целое — это и субъект (Жучка), и предикат (собака), и связка «есть», целое нераздельно. К нераздельности целого (и вечного) логика не дает подступа. И время от времени тоска по цельности заставляет возвращаться к мифологическим образам, к мифопоэтическим намекам на тайну Целого и критиковать мысль, которая разрушает целостность жизни (эту разрушительную роль логики хорошо показал Достоевский в «Сне смешного человека»).

Традиции мировых религий различают икону (символ нераздробленного света вечности) и кумир, идол, которому можно мазать губы салом, добываясь удачи. Впрочем, было уже сказано, что многие до сих пор путают икону и кумир, не только бесписьменные племена, но и люди, тронутые образованием. Надо полагать, что наши отдаленные предки тоже не умели различать разные сферы духовного опыта. Научившись рисовать, научившись ваять из камня и кости, человек дал образ тому, что не имело образа, подошел к тайне целостного и вечного. Но другие рисунки и фигурки (а иногда те же самые) могли использоваться для колдовства, для управления скрытыми стихийными силами. Прошли десятки тысяч лет, прежде чем Исаак Сириянин написал: «Просить у Бога земного — все равно что просить у царя навоза».

По веревке на небо

Ни один бушмен или австралиец не сомневается, что можно видеть своих духов, даже самого главного, «того, который наверху». Духи приходят во сне или в особых состояниях, которые многие племена превосходно умеют вызывать. Индейцы не признают юношу полноценным членом общества, пока он не увидит своего духа. Мальчики во время обряда инициации (посвящения в мужчины) постятся, не спят ночами и иными способами доводят себя до состояния транса, в котором действительно видят какой-то призрак. Считается, что этот дух становится потом личным покровителем человека (наподобие ангела-хранителя у христиан). Таким образом, каждый человек должен сам прикоснуться к некоей тайне, стать тайновидцем (мистиком). Английский этнограф Тайлор говорил: «дикарь видит то, во что он верит, и верит в то, что он видит». Ошибается ли «дикарь» в своем опыте? Или в чем-то ошибаемся мы, недоверяя ему?

Как уже сказано, примитивный интеллект очень связан; язык неразвит, не допускает сложных объяснений; и приемы работы, формы

поведения и т. п. часто передаются «догматически», без всяких доказательств — на веру*. Это не особенность религии, это черта неразвитого сознания в целом. Но как раз в своей мистической практике человек примитивного племени очень самостоятелен. Он непосредственно переживает состояние экстаза и говорит об образах, которые воспринял сам, а не принял на веру. И дело не только в том, что у него ярче фантазия и он воображает себе то, чего на самом деле нет (как, например, австралийские женщины воображают и видят во сне участие тотема в зачатии). Примитивные племена владеют психотехникой, способной поспорить с самыми лучшими современными образцами (это искусство впоследствии мало развивалось).

Инициация — один из самых характерных обрядов примитивного общества. Она имеет практический воспитательный смысл. Суровые испытания готовят мальчика к жизни, которую ему придется вести. Мальчики-бушмены должны, например, самостоятельно убить зверя, а потом отдать мясо старшим и сидеть на пиру, не беря в рот ни крошки, не выражая нетерпения. Другие чисто ритуальные испытания тоже имеют смысл закалки, воспитания выносливости. Например, австралийским мальчикам выбивают зуб, бушменским — рассекают кожу и втирают в ранку пепел. Но основной смысл инициации — посвящение в тайну культа (и культуры). Человек проходит через обряд, в котором он испытывает муки и страх смерти, а потом чувство бессмертия. Австралийские женщины (которым строго запрещено подходить к обрядовой площадке) провожают мальчиков с плачем, как будто те идут умирать, и встречают юношей как воскресших. Женщины прекрасно знают, что инициация не смертельна и даже не опасна, но таков смысл обряда. Это священная игра, игра в смерть и воскресение, примитивная трагедия (или мистерия), примитивная литургия.

Тех, кто обнаруживает повышенные способности впадать в транс и видеть духов, старые ведуны отбирают и передают им свое искусство. Ведуны совмещают несколько позднейших профессий: священника, поэта, сказителя, колдуна, врача и аптекаря, готовящего лекарства, а также яды (у бушменов — для отравленных стрел). Это специалисты всех видов умственного труда. У наиболее примитивных племен они работают совершенно бескорыстно, когда другие отдыхают. Заплатить им в бушменском быту просто нечем. Ведун исполняет свой долг потому, что чувствует призвание к нему, потому что другие этого не умеют, а потом, вместе с другими, идет на охоту. Ведуны — первые собиратели тех семян, из которых выросло дерево культуры. А

* Доказательство вообще очень позднее искусство. Даже в истории математики оно возникло только у греков. Египтяне и индийцы приходили к новой формуле чутьем и передавали ее ученикам без объяснений, силой авторитета.

из ошибок и заблуждений ведунов выросли все человеческие суеверия.

Примитивные ведуны безусловно верят в то, что они говорят и делают. Да и как им не верить? Вот в ночь полнолуния бушмены, неспособные заснуть, пляшут свой танец. Один из них, Цонома, лучше других умеет регулировать дыхание. Он удерживает его и впадает в транс, в забытие. В таком состоянии можно ходить босиком по жару костра, глотать раскаленные угли. Обряды хождения по огню, в состоянии коллективного самогипноза, сохранились у многих племен и в нескольких цивилизованных странах Азии (в Индии, на Цейлоне, в Японии). Есть современные научные описания, фотографии. Это реальность.

Человек в экстазе как бы выпрыгивает из пространства и времени. Теряется ощущение своего тела, и ведун летит в небо, к своему богу. Потом он рассказывает, что видел там. Он это действительно «видел». Свое экстатическое ощущение жизни Цонома стихийно воплощает в традиционных образах мифа и видит бушменского бога Гауа так же ясно, как Екатерина Сиенская — Христа. Старый миф заново переживается, обновляется. Великий творец Гауа спустил Цономе веревку с неба. По этой веревке Цонома вскарабкался на небо, побывал в синей звездной бездне и просил Гауа послать его народу дождь. Гауа услышал его. Он опять скинул веревку с неба. Цонома спустился по этой веревке, а следы от веревки рассыпались тысячью протянутых нитей, долгожданным дождем. Психотехника экстаза развязывает в человеке много действительных творческих сил (особенно поэтических; то, что почти каждый бушмен — художник — результат воспитания. Физически бушмены ничем не отличаются от нас). Но в экстазе могут быть развязаны и темные силы. Ненависть и страх, царящие в отношениях между разными племенами, вызывают желание извести, уничтожить врага, убить его колдовством. Это в какой-то мере возможно. Но большую роль играет и страх колдовства.

Австралийцы верят, что каждая человеческая смерть — результат колдовства инородца. На похоронах гадают, кто околдовал покойника, и отправляют экспедицию — иногда за сотни километров — убить виновного. Так еще в глубочайшей древности, еще в каменном веке началась охота за ведьмами и кровная месть.

Зависимость от природы вызывает надежду откупиться от нее жертвой, самым дорогим — ребенком. В Южной Африке живет племя икованго, покупающее себе такой ценой дождь. Мальчика убивают гипнозом (колдун только взмахивает рукой над его головой). Вероятно, большую роль играет убеждение жертвы, что в этот момент она должна умереть. Гипноз помогает страху, а страх — гипнозу.

Зигзаги истории

Каким образом эти примитивные верования и обряды развивались и складывались в религиозные системы? Этот процесс шел, по-видимому, несколькими несходными путями. Существует упрощенный взгляд, что у самых примитивных племен, у «дикарей», господствуют дикие обряды и представления, а потом дикости смягчаются. Это неверно уже потому, что многие обычаи «дикарей» совсем не грубы (например, «дикари», как правило, не бьют детей). У самого первобытного из современных племен за плечами 20—25 тысяч лет человеческой культуры, кое в чем более высокой, чем культура среднего образованного человека современности. Но особенно неверно мнение о постепенном, прямолинейном смягчении нравов. У большинства примитивных племен человеческие жертвоприношения редки или вовсе отсутствуют, а людоедство (если есть) связано с культом предков. Дети съедают часть тела своих умерших родителей (иногда — сожженную и подмешанную в лепешки) из любви к покойным, из стремления физически продлить жизнь их в своем теле. Напротив, у более развитых племен людоедство (если оно сохранилось) имеет характер вредоносной магии, а человеческие жертвоприношения становятся массовыми. Ацтеки, создавшие могущественное царство в доколумбовой Мексике, приносили в жертву богу войны по 10 000 пленников одновременно. При этом жрецы вырывали и съедали еще трепещущие человеческие сердца. У карфагенян был республиканский общественный строй, лучшие на Средиземном море корабли — и был Молох, которому в трудных случаях приносили в жертву сотни детей.

Другие племена еще на заре цивилизации отказались от человеческих жертвоприношений. В Библии эта реформа связана с именем Авраама. В Аравии человеческие жертвоприношения были прекращены Мухаммедом. В Китае они отменялись постепенно, под влиянием философской критики Конфуция (Кун Фу-цзы, V век до н. э.) и гуманной религии буддизма. В VII—VIII веках еще существовал обычай «венчать» красивую девушку, одетую в самое нарядное платье, с богом реки Хуанхэ (отправляя ее на дно, где предположительно жил бог). Кровавые жертвоприношения и людоедство вызывали отвращение у племен и народов, отказавшихся от этих обычаев. Отвращение к чудовищному культу Молоха сыграло свою роль в решимости римлян уничтожить побежденный Карфаген до конца. Город был разрушен, и земля, на которой он стоял, распахана и посыпана солью. Потом на этом месте возник другой город, но в нем уже не было храма Молоха. Таким образом, на каждом этапе истории есть несколько разных типов религиозного развития. Пока племена живут поодаль или рядом, но не смешиваясь, каждое идет сво-

им путем, иногда в прямо противоположных направлениях. Но когда племена и ранние цивилизации вступают в тесный контакт, смешиваются (например, в рамках единой империи), какая-то одна тенденция побеждает.

Мы обычно говорим, что сперва люди верили во множество богов и духов, и называем это политеизмом (многобожием). А потом в Средиземноморье и в некоторых других регионах победила вера в одного бога (монотеизм). Но это не совсем верно. Монотеизм возник не в блестящих столицах древнего Средиземноморья, а среди отсталых племен и в глухих углах. Это создание малых народов, противопоставивших себя великим империям. Законченный политеизм не перешел в монотеизм, он был вытеснен монотеизмом (христианством, выросшим из старого еврейского единобожия, и исламом; подробнее см. в главах 2—5). Напрашивается предположение, что архаические племенные религии еще не были законченным политеизмом, допускали развитие и в другую сторону, к монотеизму. В самом деле, в чем разница между монотеизмом и политеизмом? Вовсе не в количестве духов, а в дистанции между верховным духом и всеми остальными. Мусульмане — монотеисты, хотя верят во множество духов. Но они убеждены, что все духи созданы одним, высшим, и называют его особым словом (Аллах). Политеисты (например, древние греки) давали высший титул (теос, бог) целому семейству духов — олимпийцев, очень близких по своему характеру и силе к верховному богу, Зевсу. Таким образом, вопрос не в том, чтобы посчитать число духов, а в том, чтобы выяснить характер их отношений между собой. А эти отношения иногда чрезвычайно запутаны. Судя по новейшим исследованиям религий Африки, мифологические представления многих племен складываются примерно в такую пирамиду: на вершине — смутно образное существо, не совсем лишенное формы, как бог евреев, но и не совсем телесное, как бог греков. К нему обращаются изредка, в торжественных случаях, по общеплеменным делам. Далее следует ярус духов, менее могущественных, но более телесных, обладающих определенным обликом и свойствами. Еще ниже следует ярус таинственных сил (по большей части, вредоносных), связанных с мелкими предметами. Из такой системы, по мере развития разума, склонного четко отделять друг от друга предметы (в том числе и воображаемые), легко и естественно складывается законченный политеизм (многобожие). Но при каких-то исключительных условиях та же система может развиваться и в сторону строгого монотеизма (как это произошло в истории евреев и арабов; см. главы 3 и 5).

Профессионалы культуры

Законченный облик религии придают профессионалы, священнослужители. А профессионалы появляются не сразу. На ранних ступенях первобытнообщинного строя разделения обязанностей почти нет. Все делалось сообща, все съедалось сообща, все сообща танцевали и пели. И мистические обряды были общими, захватывающими всех без исключения. Но постепенно, по мере роста знаний и богатства, увеличивались различия между людьми, и массы общинников уже не успевали каждый день или даже каждую неделю танцевать до экстаза и общения с духами. Эта задача все более ложилась на ведуна, на него одного. И ведун перестает быть охотником, становится профессионалом: шаманом, жрецом или вождем.

Шаман, как и бушменский ведун, совмещает много профессий (врач, аптекарь и т. п.*), но прежде всего это мастер психотехники. Впадая в состояния экстаза, он приобретает власть над некоторыми стихийными силами. С их помощью он в основном и лечит. Представление о связи каждого общинника с духами-покровителями слабеет. Взамен возникает представление об особом избранничестве шамана.

Мистические переживания шамана приобретают характер влюбленности и брака с небесной возлюбленной (или возлюбленным, у шаманки). Эта традиция породила много новых мифов и сохраняется во всех развитых, утонченных религиях как любовь монахинь к небесному жениху, как мечта о большеглазых гуриях мусульманского рая, но особенно — в индийском тантризме и бхакти, о которых мы поговорим в девятой главе.

Простой сибирский шаман, с которым беседовал этнограф Л. Я. Штернберг, рассказывал, как ему во сне явилась прекрасная женщина. Она стала его женой и научила его шаманить. Он отказывался. Он знал, что это самое трудное дело на свете, но небесная возлюбленная не отступала, грозила убить, если он не покорится. Он должен был быть верен своему призванию. И вот он стал шаманом. Его дух (аями) часто меняет облик. Аями приходит под видом старой женщины, волка, крылатого тигра и показывает ему различные страны света. «Когда я шаманю, аями и ее духи-помощники входят в меня по жилам... они проникают в меня, как дым или пар...»

Некоторые малые народы Сибири почитают и других людей, тоже связанных с духами, но иначе. Нанайцы называют этих людей тудинами. Тудины никогда не шаманят, у них нет аями, но есть способность предвидеть будущее, указывать источник беды или болезни, следовать «умным зрением» за шаманом в его духовных странствиях и исправ-

* От ведунов и шаманов мы знаем хинин, касторку, ревеня и многие другие лекарства.

лять его ошибки. Тудины лечат больных, по общему мнению, лучше, чем шаманы, к ним прибегает община как к мировым судьям и посредникам в тяжбах.

Н. Д. Дзяппе, сам племянник известного тудина, объяснял, что тудин «все знает, так как душа у него работает». По убеждению нанайцев, тудины получают свои знания и силы почти исключительно от небесных духов высших сфер. Посредником является тутгдэ — личный дух человека (подобие ангела-хранителя). Когда у человека есть тутгдэ и особенно когда он «большой», т. е. сильный, ему, этому тутгдэ нкунай (обладателю тутгдэ), нечего бояться. Злые духи не смеют приближаться к нему. А если приблизятся, тутгдэ «как собака» бросится на них и отгонит.

Тудины, если не контролируют шаманское камлание (обряд вызывания духов), действуют исключительно днем, шаманы же камлают только в темное время суток. Тудины иногда страдают эпилепсией, но специфической болезни шаманов, проходящих посвящение, они не знают, никаких посвящений не проходят, особой одежды не носят, никаких особых предметов не используют, и все же какая-то высшая сила им помогает. Тудинов долгое время не замечали исследователи. (Яркое зрелище камлания, экстатического танца с бубном, их заслонило.) Но теперь, когда тудины были описаны Анной Смольяк, этнографы, возможно, обнаружат подобные фигуры не только в Сибири. Не исключено, что тудину был подобен первоначальный религиозный тип, из которого — в новых условиях — могли развиваться известные нам в истории фигуры (бодисатвы, пророки, священные вожди).

Вопреки обычным представлениям, вождь на первых порах скорее первосвященник, чем организатор работы и командующий. Первобытные общины очень демократичны и превосходно управляют своими делами сообща, функция вождя другая: быть живой связью между таинственными силами и общиной.

Задачей вождя, а потом царя, были символические акты, вызывавшие дождь, размножение скота, прекращение эпидемии и т. п. Старейших вождей часто убивали, чтобы дряхлость символа племенной мощи не отозвалась губительным образом на реальных силах племени. Зато хоронили вождя очень торжественно, и вместе с ним закапывали многочисленных жен и рабов, иногда целыми тысячами. Только постепенно, шаг за шагом, вождь становится реальным властителем, царем, а его священный штат — аппаратом власти. Но представление о священном характере власти сохранялось и поддерживалось. Оно помогало править.

Третий профессионал архаической культуры — жрец. Это, пожалуй, первый профессионал религии в собственном смысле слова. Дело жреца — не общение с мелкими духами, нужными для лечения боль-

ных, — это остается ремеслом шамана или знахаря, а служение богам покрупнее, милость которых обеспечивает порядок в космосе и общее благоденствие народа. Есть цивилизации, в которых особая прослойка жрецов так и не сложилась. Обряды там совершают и цари, и государственные чиновники (в древнем Риме, в Китае). В других случаях, напротив, корпорация жрецов приобретает огромное могущество и становится серьезным соперником государственной власти, как это было в древнем Египте, Индии, Израиле. Почему это так произошло — сложный вопрос, не вполне решенный до сих пор.

Там, где жречество приобретает силу, оно пытается руководить всей духовной жизнью народа, пасти его, как стадо (паству). Однако народ сохраняет свою духовную самостоятельность, прежде всего — в традиционных священных играх, которым приписывается особый, таинственный смысл. Подобно эскимосам, устраивающим борьбу зимы с весной, древние мексиканцы верили, что игра в мяч на особом обрядовом поле (обозначавшем день и ночь) необходима для правильного движения солнца и луны. Древние критяне придавали какой-то мистический смысл бою быков. Как бы ни относиться к этим убеждениям, самим мексиканцам и критянам игры и праздники были необходимы. Впоследствии из таких игр родилось театральное искусство (мистерия, трагедия, комедия), так же как из шаманства — медицина, из таинственности, окружавшей вождя, — авторитет государственной власти.

Мировые религии осуждали «языческие игрища». Но постепенно святки, колядки, пасхальные яйца и т. п. старинные обряды срастались с новым культом, входили в структуру нового праздника. Менялся высший образ, объект благоговения, но человек в любую эпоху предпочитает игру — проповеди; и новые культы приходится строить по старым образцам. Христианская литургия, индуистская пуджа — тоже священные игры, только более тонкие, одухотворенные. Без обращения к сокровищнице племенного опыта не обошлась ни одна цивилизация.

Боги и судьба (Древняя Греция)

Золотой век

Европейская культура немыслима без богов и героев древней Греции. Их образами полны все картинные галереи мира, вся европейская поэзия многих веков. Греческие боги ассоциируются в нашем сознании с безоблачной, ясной порой человечества, когда ничто не уродовало, не сгибало личность, не мешало формированию красоты и гармонии. Европа Нового времени создала своего рода миф о солнечной Элладе как о каком-то рае, существовавшем на заре времен. Однако миф и действительность далеко не всегда совпадают. Действительная древнегреческая культура — явление гораздо более сложное и противоречивое.

Попробуем разобраться, как и почему родились счастливые боги Греции, так ли они были счастливы, как и почему они умрут.

Когда мы говорим о греческих богах, мы прежде всего представляем себе обитателей горы Олимп — прекрасных олимпийцев. Но это сравнительно поздний миф. Более древние греческие мифы знают других богов, очень близких по духу к богам первобытных народов. Это боги-горы, боги-реки, боги-деревья, наполовину одушевленные, наполовину сливающиеся с плотью дерева, горы, реки. Человек одухотворяет и обожествляет природу. Все божественно и требует послушания: грозный и ласковый океан, молчаливое небо и земля. Прежде всего земля, рождающая все живое, кормящая и принимающая в себя новое семя*. Гея, Ма во всем подобна матери, но обладает еще и тайной бессмертия. Ма поглощает, но и воскрешает своих детей, они падают в нее, как зерна, и весной снова дают ростки. Гея — первый облик, первое существо, возникшее из хаоса (непонятного, непостижимого). Уходящая в непостижимую глубину, но осязаемая, родная всему живому, она родила все. Даже небо (Уран) рождено Геей. А все дальнейшие формы жизни произошли от сочетания земли и неба, Геи и Урана. Уран, согласно мифам, — отец мира. В начале от этого брака рождались бесформенные чудовища, и отец, испуганный их видом, ввергал их обратно в недра

* Ср. с образом древнерусской поэзии: «мать сыра земля».

матери. Так вверг он в землю сторуких, одноглазых и гороподобных великанов. Пока не родила Гея детей, прозванных титанами, ставших первообразами для мира, в котором возникли и живут люди.

Мир титанов — это по-прежнему мир одушевленной природы. В деревьях живут дриады — тихие нимфы. Нельзя безнаказанно разрубить дерево — потечет кровь дриады. В родниках живут серебристые наяды, в реках — nereиды, дочери титана Нереея. Быстроногие, пенноволосые океаниды поют в волнах. Титанида Фетида обтекает великой рекой весь мир. Солнце — это не кто иной, как титан Гелиос, едущий по небу на своей гигантской колеснице. По утрам над миром восходит титанида Эос (розовоперстая Эос, как называет ее Гомер). По вечерам на синем небе появляется тысячеглазый титан Аргус. Звезды — глаза Аргуса, вечно молчащего и в то же время говорящего непосредственно с душой человека. Мир подобен Аргусу — завораживающий и замороженный, прекрасный и страшный, и, прежде всего, — таинственный. Слово, в котором слиты все значения, — слушать его хорошо и страшно. Оно уводит в те пласты жизни, где прячутся корни существования — тайна вечности. Поэзия древнейших мифов — поэзия смутной таинственности.

Все это было до времени, вне времени, в некоем вечном царстве Урана. Но один из титанов, рожденных Землей и Небом, есть Кронос — Время. И Кронос свергает с мирового престола своего отца. Мать Гея давно томилась от того, что Уран ввергал детей обратно в ее утробу. Она хотела выпустить всех детей, прекрасных и безобразных, и перестать корчиться в родовых муках. И вот Кронос внял ее мольбам, лишил отца деторождающей силы и воцарился на земле.

Так рождение новых форм было прекращено. Гея уже не рождает больше. А существа, подвластные времени, — смертные, временные — сами плодятся, размножаются и умирают (поглощаются Временем). Кронос совершил первое преступление, низложив отца, и в мире начинают действовать силы, раскованные им: бог смерти Танат, Эрида — богиня раздора, Немезида — месть и т. п. Единая цельная Жизнь разделяется на доброе и злое, благостное и бедственное. Несмотря на то, что Кронос — свершитель первого мирового зла, он отнюдь не является однозначной злой силой. Время, несущее смерть, несет и рождение. Не зло приходит в мир, а добро и зло одновременно, вместе с роднящим их временем. Время несет в мир двойственность. Что лучше: вовсе не родиться или родиться и умереть? Смертные люди ощущают неумолимое время как своего владыку. Но подчиняться этому владыке не так уж тягостно. О сроках жизни можно не задумываться и жить в единстве с одухотворенной природой, в согласии с ее ритмами, с ее таинственными ликами — богами. Люди и титаны — все свободны, никто не подчиняет себе других. Это древнейшее время стало жить в мифах под названием «золотого века». Таким образом, «страна сновидений», страна воплощенной мечты, которая у первобытных народов жила в «вечном

теперь», связывая в себе жизнь и смерть, сны и явь, у древних греков переносится в прошлое. С расслоением первобытных общин, с образованием неравенства и угнетения рождается и начинает жить миф об идеальном прошлом, о времени, когда всего самого дурного еще не было. Когда гармоничный счастливый человек жил одной жизнью с нимфами, козлоногими сатирами, соседствовал с кентаврами (полулюдьми-полукозьями) и с древолюдьми — лапифами.

Это целостное ощущение жизни, мироощущение людей, не отделившихся от ритмов природы, осталось великим вкладом древних культур в культуру общечеловеческую. Это зерно целостности, которое мировая культура по мере своего развития будет временами терять и трагически ощущать свою потерю. Слишком ясному рационалистическому сознанию последующих поколений, строго отделяющему один предмет от другого, будет не хватать смутной таинственности, сверхразумной причастности вселенскому бытию, ощущения тютчевских сумерек:

*Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул.
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой —
Все во мне и я во всем...*

Через века и века цивилизованные, обученные наукам и искусствам люди будут приходить к древнему Пану (греческому богу лесов и пастбищ), чтобы взглянуть в его загадочные глаза и попросить у него цельности, слияния с сердцем жизни, которой им, все имеющим, так не хватает. Образ Пана будет вечно жить в искусстве. И в XX веке он снова взглянет с полотна Врубеля — удивительный древний бог с прозрачными вечными глазами, вмещающими в себя «мировую бездну». Но древний Пан вносил не только умиротворение. Он же был причиной великого сверхразумного страха — паники. Пан незримо присутствовал всюду. Иногда, рассказывают, он внезапно появлялся из-за горы, и его рогатая голова наводила безотчетный ужас на людей и на животных. Природа не только ласкала, но и пугала. Человека мучил страх призраков, демонов, а его воображение населяло ими землю. Праобразы всех наших леших, водяных и домовых привольно жили в древнейших мифах Греции.

Природа была сфинксом — кормящим и пожирающим, дарящим и казнящим, рождающим и убивающим. Человек до сих пор только прислушивался к ней, смутно угадывая ее священную волю, из которой он не смел выходить. Тысячи табу охраняли тайну. Но разум мед-

ленно крепчал, входил в силу — и наконец человек, вырастая, восстает против старых мифов, баюкающих сознание. Человек чувствует себя тверже на собственных ногах и хочет помериться силой с природой. Разум выступает против сфинкса. Собственный разум, волю и руки человек начинает видеть, как нечто великое и могучее, обожествляет их, создает человекоподобных богов. Эти боги отменяют прежние запреты и велят дерзать — взламывать недра земли, подчинять природу себе.

Молния разума (Олимп)

Было предсказано титану Кроносу, что один из сыновей свергнет его с престола. И потому одного за другим заглывало Время своих бессмертных детей, кронидов. Только одного, Зевса, спрятала жена Кроноса, Рея. Кронос проглотил вместо Зевса камень, а Зевс вырос в горах, вскормленный козьим молоком. Он сверг своего отца, да еще заставил его извергнуть всех проглоченных им детей.

Иные силы воцаряются в мире. И начинается борьба молодых богов и титанов. Верх одерживают крониды. Древние титаны должны им подчиниться или они будут ввергнуты в подземную бездну — Тартар. Сила на стороне кронидов. Они освобождают древних одноглазых циклопов и заставляют их ковать в подземной глубине молнии для Зевса. Зевс получает молнии и становится громовержцем, тучегонителем.

Молодые боги поселяются на великой горе — Олимпе: царь богов Зевс со своей супругой Герой, их братья, сестры, дети. Кронид Посейдон становится владыкой морей, отодвигая вольного титана Океана, одного из немногих титанов, признавшего власть кронидов и перешедшего на их сторону. Брат Зевса и Посейдона Аид становится владыкой подземного мира.

Прекрасны боги-олимпийцы. Они безмятежны и радостны, как утро, сменившее предрассветную мглу. Великий Зевс сочетается с сотнями богинь и смертных, и один за другим рождаются на свет божественные дети Зевса. Богиня Лета (Лотона) рождает от него Аполлона и сестру его Артемиду. Культ Аполлона вскоре становится почти равным культу самого Зевса. Новый солнечный бог, подчиняющий самого Гелиоса, бог разума, света, становится символом прекрасного. Из головы Зевса рождается другая высокочтимая богиня — Афина Паллада, богиня мудрости, богиня правосудия. Это сама мысль Зевса — неуязвимая воительница, родившаяся прямо в военных доспехах.

Могучи боги. Не хотят знать они ничего, что может омрачить их безмятежность. Но где-то над ними или в невыразимой глубине под ними есть нечто, от чего содрогаются даже они, чему не могут глядеть в глаза, от чего зависят — Рок, Ананка — Необходимость. Это тем-

ная, непонятная ни людям, ни богам сила, невидимая, невообразимая, не поддающаяся никакому, даже самому фантастическому воплощению. Бога, олицетворяющего Рок, — нет. Его нельзя себе представить, увидеть его черты. О нем лучше не думать. Отодвинуть его в темную глубину и не смотреть туда — ведь так велика область, освещенная солнцем! Нет конца солнечным богам! Только где-то на краю света сидят три мойры — богини судьбы — и ткут нити жизни. Только они знают веления Рока. Мойра Клото прядет жизненную нить. Мойра Лахесис вынимает жребий, а мойра Атропос заносит в свиток судьбы запись неизбежного. Можно умиловить и уговорить человекоподобных богов, но неумолимы мойры.

Итак, олимпийцы не беспредельны. Океан их жизни и могущества имеет берега. Но этот океан велик, и они не хотят знать его пределов. И до тех пор, пока не хотят знать, могут не знать и чувствуют себя беспредельными, бессмертными, царящими. Время олимпийцев — героическое время. Люди, поклонявшиеся новым богам, подчиняют природу, добиваются невиданного расцвета своей цивилизации. В народной фантазии рождаются мифы о великих героях, сыновьях богов, победителях чудовищ и стихий. Герои признаются богоравными и часто удостоиваются бессмертия. И как не ощущать себя богоравным, когда человек вышел один на один на борьбу со стихией и в теле его поет и переливается мощь, способная одолеть стихию. Быстрый как Зевсова молния разум набрасывает узду на громоздких неповоротливых великанов. Блеск мысли, прорезавший мозг, и — пенногривые кони титана Нерее (волны) несут тебя через пространство; волный ветер Эол или Зефир, могучий, способный сдунуть тебя, как былинку, оказывается твоим слугой. Он раздувает парус, который ты ему подставил. Вовсе не гигантское божество победоносно. Люди обводят вокруг пальца великанов, не владеющих молнией разума. Не громадность и безмерность, а соразмерность — вот что ощущают элины как высшее. Соразмерность, тело, построенное по законам разума, искра разума, угадываемая в отдельном предмете, — вот что обожествляется ими. Решение загадки соразмерности осмысливается ими как ключ жизни.

Утреннее яркое мироощущение, пришедшее на смену более древнему сумеречному, стерло полутона и переходы. Мир стал разделяться на обособленные предметы. Прекрасное и безобразное четко разделилось. В глубочайшей древности один и тот же предмет мог быть то прекрасным, то безобразным в зависимости от освещения, от взгляда. Все существовало в нерасчлененности, в движении, как существует и сейчас в искусстве Востока, где прекрасное — это прежде всего связанность с целым, отпечаток вселенского ритма, а не совершенство отдельного предмета. Древние титаны греков могли быть то прекрасными, то безобразными, устрашающими. В более поздней греческой эстетике этого нет. Мир разделяется в ней на прекрасные и безобразные **предметы**.

Совершенство отдельного предмета становится законченным, невиданным до сих пор, и предмет этот раз и навсегда закрепляется в этом своем качестве. Он уже не может стать безобразным в другом своем повороте, а безобразный так и остается раз навсегда безобразным. Наряду с прекрасными богами появляются безобразные чудища, мир разделяется на космос и хаос. Происходит переосмысление старых мифов, Титаны, в которых прекрасное и безобразное смешивалось, превращаются в чудовищ, на борьбу с которыми устремляются герои. Мир населяется чудовищами, и возникает поле для подвигов. Древняя титанида Ехидна, бывшая в ранних мифах таинственной чудо-девой, превращается в змеевду, отталкивающую, страшную. Она сочетается со змеем Тифоном, живущим в Тартаре, и они плодят чудовищных гадов — ядовитую Лернейскую гидру, Немейского льва, трехголового пса Орфо, не имеющих отчетливых размеров, форм, все — хаос, безобразие. Уничтожить их, сделать мир соразмерным и ясным — вот задача героев. Чудное (чудесное) становится чудовищным, и чудища больше не завораживают своей непонятностью. Герои верят в свою мощь, и перед этой верой все расступается. Искатели золотого руна смело плывут в далекие страны. Персей отрубает голову чудовищной Медузе. Геракл совершает почти сверхчеловеческие подвиги. Сила чудовищ, стихий оказывается лишь гипнотической силой, которая умирает, как только умирает вера в нее. Возникает миф о смыкающихся и размыкающихся Симплегадских скалах, которые должны раздвинуться и застыть навек, когда корабль «Арго» пройдет между ними. Другой миф рассказывает об острове, на котором живут волшебные дево-птицы сирены. Они поют так красиво, что все, кто плывут мимо, бросаются с корабля в море, плывут на голос и гибнут. Но сирены должны потерять свои чары, если хоть кто-то устоит и не бросится в их губительные объятия. И находится человек, который побеждает сирен. Его голос завораживает моряков сильнее, чем волшебные голоса. Не только чудовищные силы, но и губительные чары природы научился преодолевать человек. Он создал свою красоту, которая кажется ему прекраснее хаотичной и неверной красоты природы, как садовнику его цветы кажутся прекраснее полевых.

Поразительная полнозвучность чувств, расправленность тела и духа, полнота жизни, сочность, крупноплановость при благородной соразмерности — вот что оставило векам греческое искусство. Уже давно замолкли оракулы, опустели жертвенники, разбиты алтари богов. Но идеалы греков, нашедшие отражение в их искусстве, их боги на протяжении многих веков продолжают вызывать преклонение. Боги греков — это доведенный до сверхъестественного размах естественных человеческих страстей. Предел силы, которую только может представить себе человек, — Зевс; предел прекрасного, абсолютная гармоничность, излучающая свет, — солнцебог Аполлон; мудрость, научающая совершенству в любом ремесле, — зевсова дочь Афина;

совершенная женственность и нежность — богиня любви и красоты Афродита; ловкость, изворотливость и быстрота — Гермес, бог-вестник, бог торговли и покровитель плутовства; целомудренная девственность — богиня-амазонка, охотница Артемида.

Боги, как и боговарвные герои, благородны. Они всегда предпочтут крупное мелкому, доблесть, мужество — слабодушию. Они царственны и по мере своих сил и возможностей стараются быть добрыми и справедливыми. Но, увы! Мера эта не слишком велика. Боги и герои наделены не только всеми человеческими совершенствами, но и всеми слабостями и пороками. Каждый из них обладает своей личной гармонией, но нет гармонии единой, гармонии взаимосвязей, гармонии целого. Как боги относятся друг к другу? Как правят миром?

На свадьбе у титаниды Фетиды, божества реки, омывающей мир, и героя Пелея богиня раздора Эрида бросила на стол яблоко с надписью: красивейшей. Три богини поспорили из-за этого яблока — Гера, супруга Зевса, Афина и Афродита. Их спор должен был разрешить прекраснейший юноша на земле, троянский царевич Парис. Но кого бы ни выбрал Парис, обида и ненависть неизбежны. Парис выбирает Афродиту. Благодарная Афродита обещает ему в дар самую прекрасную из смертных, и Парис похищает Елену, жену царя Спарты Менелая. Возмущенные спартанцы собирают своих родичей, ахейцев, и начинается величайшее из бедствий мифической античности, десятилетняя Троянская война. Боги в раздоре, как и люди. Афродита на стороне Трои, Гера и Афина покровительствуют ахейцам. Зевс колеблется, склоняемый то одними, то другими богами. Вмешательство богов в дела смертных только усиливает раздор и разруху.

Бессилие богов начинает осознаваться, но пройдет еще много времени, пока Олимп будет поколеблен и переросший его человек свергнет богов с престола. Гомеровские греки иногда ропщут, но поклоняются богам, ибо ничего высшего не знают. И всякое недовольство богами стараются, как верные рабы, замолить у алтарей, а своенравных владык умиловить тучными жертвами. Каковы бы ни были боги — они боги. И это звучит примерно так: какова бы ни была жизнь — она жизнь. Хватит того, что луч есть луч, вода есть вода. Луч может сжечь, но он осветит и согреет, река может утопить, но она же и напоит. Эстетические представления греков отчетливо развиты и расчленены, прекрасное и безобразное не смешиваются друг с другом, а нравственные понятия остались в смешанном и неразвитом состоянии. Одно и то же может быть и добром и злом, а по существу не является ни тем, ни другим. Оно — сила. Греческие боги — сила и радость, и много с них нельзя спрашивать. Однако человек не может не спрашивать. И он начинает перерастать своих богов, не могущих ответить на человеческие вопросы.

Богоборчество. Снова титаны

Как часто стонет и жалуется человек и взывает к богам, но боги не только не помогают, а нередко сами оказываются причиной страданий. Боги ревнивы, завистливы, властолюбивы. Даже мудрая Афина не выносит, чтобы смертные хоть в чем-то ее пре-восходили, и превращает искуснейшую художницу, ткачиху Арахну, вызвавшую богиню на состязание, в вечно ткущего паука. За то, что юноша Актеон случайно увидел Артемиду без одежды, разгневанная богиня превращает его в оленя, и он погибает, растерзанный своими же собаками. Боги восхищаются своей силой, но их трудно любить. Рядом со смиренными молитвами все сильнее звучат богоборческие голоса. Самый давний и самый сильный протест против Зевса и олимпийцев воплотил Прометей.

Бессмертный титан, равный мощью Зевсу, он участвовал еще в космической битве богов и титанов, воспетой поэтом Гесиодом. В этой битве Прометей был на стороне молодых богов, на стороне дерзющего разума. Без его помощи Зевс не одержал бы победы. Но добившись власти, Зевс сам стал тираном. Дерзновение стало его монополией. Люди не должны были дерзать, чтобы не стать могущественнее Зевса. Бог, учивший дерзанию, смелости, начинает подавлять смелых, окружает себя новыми запретами, табу, и вечный борец Прометей восстает теперь против него. Зевс, когда-то расковавший дерзание, снова заковывает его в кандалы. Зевс — палач прикованного Прометея. Об этом рассказывает трагедия Эсхила «Прикованный Прометей». Автор ее — величайший греческий трагик — заново переосмыслил образы богов-олимпийцев и древних титанов. И титаны у него становятся носителями отодвинутой, поруганной, но вечно живой правды и мудрости. Люди и их владыки, опьяненные своим могуществом, оторвались от этой древней правды, и теперь она встает, как обвинитель, судья. Титан Прометей остался верен ей. Прометей справедлив и добр к людям. Прометей выше властолюбия, хотя он такой же «Промыслитель», как и Зевс. И даже больше — он знает тайну, неизвестную царю богов, тайну конца власти Зевса. И вот он прикован Зевсом за то, что жалел смертных, дал им огонь, научил наукам и искусствам. «Я к людям милосердным был, но сам за то не встретил милосердия. Безжалостно утихомирен. Взорам страх и Зевсу — стыд».

*Пусть швырнут мое тело в бездонный провал
Чернокрылого тусклого Тартара, пусть
Заклубит меня круговерть злобной судьбы, —
Умертвить меня все же не смогут!*

(Эсхил)

Так говорит устами Прометея бессмертная Правда. «Мои страдания, слышишь, не сменяю я на пресмыкание твое», — бросает он посланцу Зевса, Гермесу, склонявшему его к покаянию. Зевс еще властвует, но морально он осужден.

Еще один титан добрее, справедливее, нравственнее Зевса — благородный кентавр Хирон. Получеловек, полуконь, он — чудище по природе своей. Однако не всякое чудище безобразно. Хирон прекрасен. Это сама мудрость и доброта природы, на которую не посмели поднять руку боги. Хирон так же, как Прометей и Океан, пошел на союз с Зевсом. Он не враждовал с олимпийцами, но взял с них страшную клятву не превышать власти и не вредить ему, Хирону. Существует как бы заповедный остров — владения Хирона на горе Малее. Он друг, целитель и учитель всего, что окружает его. И нимфы речные, и дриады, и лапифы (древолюди) — все чтут и любят Хирона. На воспитание к нему приносят своих детей, рожденных от смертных, боги и цари. Хирон — воспитатель героев-полубогов и бога врачевания Асклепия. Хирон учил их всех доблести, ловкости, вере в свои силы, но не только этому. Он был слишком велик и мудр, чтобы не знать, что сила и доблесть — это не самые высшие ценности. К несчастью, не все воспитанники сумели понять это.

Хирон погибает от руки своего любимого ученика Геракла. Геракл оказался слепым орудием судьбы. Он вовсе не хотел погубить друга и учителя. Но так ли уж мала его вина? Обезумев от выпитого вина, он стал пускать направо и налево свои отравленные стрелы и, опьяненный собственной мощью, убивает, не ведая, что творит...

С Олимпа в бездну

Фигура Геракла — это одновременно вершина, предел и начало кризиса олимпийских ценностей. Это самый великий герой Греции, богоравный сын Зевса, для которого, кажется, нет ничего невозможно. И боги и титаны любят его и не могут ему ни в чем отказать, покоренные его волей, мужеством и дерзновенной верой в свое право. Гераклу надо совершить один из сверхчеловеческих подвигов — и титан Гелиос (Солнце) дает ему свой золотой челн. Дает только потому, что Геракл дерзнул его потребовать — этого не смел ни один смертный. Боги должны потесниться и впустить его на свои небеса! Да и как не впустить его, когда он может заменить Атланта, держащего на своих плечах небесный свод, и поддерживать небо своими плечами... Мощь его кажется беспредельной. Она не иссякает, а растет от подвига к подвигу. Кажется, что человек все может. Геракл непобедим. Его никто не одолел, и все же он будет сломлен. Кем? Богами, Судьбой или, может быть, самим собою?

Трагедия Еврипида «Геракл» рассказывает о едва ли не самом страшном моменте его жизни. После свершения многих великих подвигов герой-освободитель (он только и делал, что освобождал людей от чудовищ) возвращается в Фивы к заждавшимся его жене, детям и отцу. И застаёт страшную картину. В Фивах переворот. Тиран-узурпатор Лик, убивший отца и братьев жены Геракла, Мегары, собирается казнить и семью героя. Дети уже одеты в погребальные платья. В последний миг приходит спаситель — отец, муж, сын. Несбыточная надежда несчастных сбылась, Геракл убивает Лика. Семья спасена. Но... спасенные, счастливые, они все-таки погибают. Погибают от руки собственного спасителя. В припадке безумия Геракл убивает детей и жену. Безумие наслано Герой, супругой Зевса, ненавидевшей сына Зевса от смертной женщины — Алкмены. Но так ли уж случайно для Геракла его безумие? Может быть, судьба, воля богов — лишь внешняя форма, а под ней скрывается нечто другое?

Мы уже знаем, что так же случайно Геракл убил Хирона. В другой раз в припадке ярости, оскорбленного самолюбия он убьет своего друга, сына царя Эврита. Ни в чем не повинный сын умрет за вину отца. Ощущение переизбытка сил, уверенность, что силой и героизмом все решается, делают силу и героизм чудовищами, пожирающими то, что они защищали.

Геракл, пришедший в себя и увидевший трупы близких, беспредельно несчастлив. Сострадание перевешивает ужас. Он невиновен. Он сознательно хотел только добра. Виновны боги, как будет виновен Рок в трагедии Софокла «Эдип». Геракл, как Эдип, — несчастная жертва. Пусть так, но если героический миф развязывал скованные внутренние силы героя, звал его на подвиги, разрушая страх перед мистической тьмой природы, то трагедия осознала пределы героизма. Она заставила героев удариться лбом о собственные границы и почувствовать свою беспомощность. Великанская мощь героя была призывом к росту человеческого могущества. Но физический рост не бесконечен. Не все можно решить подвигами. Кроме длины и ширины есть еще одно измерение — глубина, но в глубину Геракл не спускался никогда. Он, как и олимпийцы, ничем не превосходит людей нравственно. Он не слишком красив во многих своих поступках и в борьбе со своими порывами и страстями, и при всей своей мощи — слаб и беспомощен.

Трагедия Софокла «Трахейнки» рассказывает о последних днях жизни Геракла. Вторая жена Геракла, Деянира, которую он когда-то с великими подвигами добыл, ждет ушедшего в очередной поход горячо любимого мужа. Они прожили вместе уже много лет. У них взрослые дети. Но героя настигла новая страсть к дочери царя Эврита — Иоле. Герой ведет трехлетнюю войну, осаждает и разрушает царство, чтобы овладеть молодой пленницей. Он победил. Он возвращается, приводя Иолу в свой дом. А обезумевшая от горя Деянира натирает

одежду мужа ядовитой кровью кентавра Несса. Умирая, Несс сказал ей, что его кровь — приворотное зелье, но она оказалась ядом, убившим Геракла. В страшных муках погибает герой. Гибнет и Деянира. Она кончает с собой, поняв, что убила любимого. Она не винит его ни в чем. Он, как и все смертные, заболел тяжелым недугом, насланным богами, — так считает она. Все они, и обыкновенные люди, и герои — лишь пешки в руках слепых бесчеловечных сил.

Религия Олимпа, религия обожествленной человеческой силы, расковала человека физически и умственно, но не подняла его нравственно. Человек стал владыкой природы. Он не зависит больше от ее стихийных сил. Он побеждает холод и мрак — огнем, ветры — каменными стенами, морские пространства — кораблями, капризы погоды и почвы — своим трудом. Но духовно человек зависим и беспомощен. Им распоряжаются все те же стихийные силы, беспощадные и непонятные, и он перед ними жалок и слаб. Где та нравственная сила, которая заставит людей видеть нечто более могущественное, чем смерть? Геракл о ней ничего не знает. Героизм исчерпывает себя.

Наступило время, когда Греция достигла зенита своей славы. Союз греческих городов (полисов) во главе с Афинами победил великую Персидскую державу. Искусства, науки, ремесла, система государственного устройства — все это складывается в то великое целое, которое осталось в веках, как время Перикла. Вождь афинской демократии собирает вокруг себя самые высокие умы, самых выдающихся современников. В кружок его подруги Аспазии входят философ Анаксагор, скульптор Фидий, Софокл, Эврипид и молодой Сократ. Фидий воздвигает огромную статую Афины Паллады, фигуру из слоновой кости, одетую в золото (символ небывалого богатства города). И именно тогда возникает греческая трагедия. Мы уже говорили о «Прикованном Прометее» Эсхила. Эсхилу же принадлежит трилогия «Орестея», в которую входят трагедии «Агамемнон», «Хозфоры» и «Евмениды». Все герои этих трагедий — поистине герои. Все они так или иначе воплотили греческий идеал человека. Агамемнон — вождь ахейцев — бесстрашный царь. Он не раз именуется достойнейшим из мужей. Однако этот бесстрашный достойнейший муж согласился принести свою дочь Ифигению в жертву богине Артемиде, чтобы та дала попутный ветер ахейскому флоту. Спеша отомстить за похищение Елены, главнокомандующий легко соглашается уплатить за успех военной операции кровью девушки. Но стоила ли война такой жертвы? Справедливо ли было для того, чтобы вернуть неверную жену Менелая, убивать неповинную? Чему, собственно, принесена она в жертву? Не честолюбию ли отца, думающего только о подвигах, которые его прославят и обогатят? Военные подвиги превыше всего в гомеровской Греции, и потому героя не судят. Но мать Ифигении, царица Клитемнестра, никогда не простит мужу убийства дочери. Завязывается страшный клубок. Пока рассказ идет об ужас-

ных страданиях матери, которую обманом заставили привезти дочь якобы на свадьбу, сочувствие зрителя (читателя) на стороне Клитемнестры. Доблестный Агамемнон внушает ужас. Но вот Клитемнестра со своим любовником убивает мужа, и проклятия падают на их головы. Почему? Когда Клитемнестра выходит на сцену и рассказывает хору о своих страданиях, разве месть не должна казаться грекам естественной и справедливой? Как будто бы да, но совершенная месть приводит их в ужас. Ибо нет ничего ясного и однозначного. Агамемнон то герой, то злодей. Хор может негодовать на злодея, но он оплачет героя. Все сплелось в один узел. Кто же его разрубит? Новый герой?

Сын Агамемнона Орест — сама справедливость. Это светлый и чистый юноша. Он должен поступить так, как надо. Но как надо? И как можно покарать зло, не отомстив? Значит, надо мстить. Но ведь убийца не только убийца, это — мать, к тому же когда-то страшно обиженная отцом. Как быть с этой многозначностью мира? Как разобраться в этом разуму? Как ему понять, что хорошо, что плохо? Хорошо было Гераклу отрубать голову чудовишной Лернейской гидре. Но в жизни, оказывается, гидра может быть твоей матерью. Нам кажется, что не может быть однозначного решения, что надо вырваться из порочного круга, из плоскости, и найти какое-то новое измерение, глубину, — и вот в ней обозначится выход... Но древние греки не знают его. Душа Ореста мечется. Аполлон вынуждает его действовать, мстить. Орест убивает мать. И снова то, что шире традиционного разума, больше четких, узких понятий, подымается, окружает его, как океан, и грозит поглотить. Эти внутренние голоса воплощены в образах эриний, преследующих юношу. Ему не удается спрятаться за Аполлона. Они обступают и Аполлона. Они хотят тягаться с ним. С трудом защищает он Ореста от ночных темных внутренних голосов — эриний. Эсхил устраивает суд, где обвинители — эринии, подсудимый — Орест, защитник — Аполлон, а председатель суда — сама Афина. Олимпийцы не всемогущи, они зывают к суду человеческому. И только половина голосов на их стороне. Афине удастся добиться компромисса. Она всячески задабривает эриний и их мать — темную невнятную Ночь. Они признаются не мрачными чудищами, а полноправными богами, которым люди должны приносить свои жертвы, — Евменидами. Происходит замирение и оправдание Ореста. Но читателю или зрителю ясно, что замирение это временное и непрочное, а оправдание неубедительное. Сильнее всего чувство безысходности, невозможности решить вопрос прежним однозначным путем. Злодеяния и страдания громоздятся одно на другое и вместо того, чтобы распутать узел, все туже затягивают его. Дурная бесконечность, порочный круг. Что же такое добро и что зло? Боги не дают на это ответа. Герой теряет ориентиры.

Через много веков другой герой, дитя другой культуры, наследовавшей греческой, будет находиться в сходной ситуации — шекспиров-

ский Гамлет. Его мать, жена убийцы, психологическая соучастница убийства отца. Тень убитого вызывает к отмщению. Но как осложнилась постановка вопроса! Нерешительность Гамлета противостоит решительности Ореста и возвышается над ней. Гамлет видит перед собой не просто мать и отца, а зло и добро. Он томится любовью к добру и ненавистью ко злу. И, однако, чувствует, что слишком прямое и решительное действие, может быть, ничего не решит. Оно уже и мельче многослойной жизни. Надо не просто срезать сорняк зла, а вырвать его корни — и герой медлит перед непосильностью задачи.

Греки не привыкли еще иметь дело с глубинными корнями явлений. Они сражаются с видимым, ясным, очерченным, осязательным. А глубинные корни жизни, неизмеренное и неизмеримое подступает к ним, как неотвратимость — Рок. Отодвинутый куда-то на задний план Рок приближается. Скоро он заставит людей заговорить о себе больше, чем обо всех богах и героях.

Рождается трагедия младшего современника Эсхила, Софокла — «Царь Эдип». Сама действительность подсказала драматургу тему. Перикл — любимец народа, при котором Афины достигли такого небывалого расцвета, внезапно умирает от чумы. Мор, свирепствующий в городе, разруха, политическая неразбериха на месте стройного общественного здания — вот что было перед глазами и что надо было осмыслить. Царь Эдип был таким же любимцем и героем своего царства, как Перикл. Он избавил город от Сфинкса, пожиравшего людей, разгадав его загадку. Эта разгадка — человек. Разумный человек все может. Он идет по земле уверенным, твердым шагом... А вслед за ним крадется судьба. Когда-то Эдипу было предсказано, что он убьет отца и женится на собственной матери. Эдип пытается убежать от судьбы, уходит из родных мест и попадает в Фивы, становится освободителем Фив и царем. Но тем неотвратимее судьба настигает его. Он оказывается не сыном своих родителей, а подкидышем. Его родители — фиванский царь, убитый им в поединке на дороге, при самозащите, и царица Иокаста — его нынешняя жена... В Фивы приходит страшный мор, и оракул велит изгнать осквернителя, которым является не кто иной, как сам царь, ничего не ведавший о себе. Все гибнет. Иокаста убивает себя, Эдип выкалывает себе глаза и уходит из города.

Как бы ни осмысливать Рок, негодовать против него или склоняться перед ним, он — ветер, сорвавший плотину, построенную человеком. Это вторжение чего-то большего, чем все познанное до сих пор. Это большее приходит как разрушитель. Ограниченный маленький мир должен погибнуть или понять свою ограниченность, разрушить ее стены и принять вызов — призыв к духовному росту. Так вторгается в мир Судьба. Когда-нибудь человек научится преображать ее изнутри, и преображенная, переосмысленная судьба выступит заодно с человеком, как в бетховенских симфониях. Древние греки пока толь-

ко слышат ее удары. Когда-то они вырвались на свет из ее ночных объятий, создали своих светлых богов и героев, но Ночь была лишь отодвинута, не побеждена. Герои Греции начинают сознавать свое бессилие, свою ограниченность. Что несет в себе голос Рока? Что за новый бог родится из недр Ночи? Непонятно, неизвестно. Но старые боги умирают. Они проживут еще несколько веков. Но это уже умирающие боги, обреченные Ананкой-Необходимостью.

Живое бессмертие

Каждая подлинная культура — бессмертная культура. Что-то самое существенное остается от нее навсегда и будет составлять частицу духовной культуры человечества. Венера Милосская выпрямляет, «как смятую перчатку», душу Глеба Успенского*, а Елена Прекрасная возвращает смысл жизни Фаусту. Но боги Греции бессмертны не потому, что живут много веков, а напротив — живут столько веков потому, что крупица бессмертия — прикосновение к смыслу жизни — была в них всегда. Она чем-то сродни чувству, о котором писал Л. Н. Толстой, — ощущению такой предельной полноты жизни и внутренней осмысленности ее, при котором смерть кажется не существующей. Ум может знать, что ты умрешь, но все существо этого не знает, не понимает, не хочет и не может понять. «Скажите пятнадцатилетней девочке, что она умрет, — писал Л. Н. Толстой, — и она рассмеется и не поверит вам. Вот это молодость!»

Бессмертие греческих богов — это бессмертие молодости. Это пловодье жизни, в которой нет ни единой шелочки. По-настоящему чувствующий весну человек переживает ощущение бессмертия. Но... и почки, и цветы, и сама весна — умирают, проходят. Так что же такое бессмертие? Обман или правда? Бессмертие, как абсолютная полнота жизни, ощущается нами, оно — есть. Но его надо уметь не только ощутить, но и удержать. А удержать его можно, следуя за почкой или цветком, то есть видоизменяясь, двигаясь вместе с ними, преображаясь. Останавливаясь, желая удержать ветшающие формы жизни, человек становится внутренне мертвым. Только отдающийся потоку жизни становится причастным бессмертию. Всякое другое представление о бессмертии уводит в сторону от живой жизни, в царство теней, о котором прекрасно сказал гомеровский Ахилл: лучше быть последним поденщиком на земле, чем царем в Аиде...

Если почка — только почка, она смертна и она умирает. Но откуда берутся листья, если почка — это только почка и ничего больше? Приходит момент, переходный момент, когда ощущение полноты только

* См. очерк Г.И. Успенского «Выпрямила».

своей формы, только своей жизни исчерпывает тебя. Остается только одно: выйти за свои пределы. Ощутить, что «все во мне и я во всем» (Тютчев). Найти новые формы жизни — открытой, вселенской.

Для древних греков пришла новая переходная пора. Надо было удержать ускользающее бессмертие. Задача из прямой, видимой, ясной становилась сложной, невидимой, смутной. Прежние методы и пути исчерпывают себя. Разум уже не может ответить на новые вопросы, поставленные разумом. Боги сами здесь ничего не знают. И тогда происходит поворот к сверхразумному, выходящему за рамки всех форм, осязаемому только чутьем (интуицией целого). «Полюбить жизнь прежде смысла ее», — скажет много веков спустя герой Достоевского в ответ на неразрешимые вечные вопросы, которые встанут перед его разумом.

Сдвиги начинались медленно. Сперва они не отрицают, а только дополняют религию олимпийцев, переносят акцент на доолимпийские слои мифологии, придавая им новый смысл. Старый миф рассказывает, что некогда в Элевсин, находившийся подле Афин, пришла старая женщина, печальная и мудрая, которую царь взял воспитательницей своему сыну. Однажды ночью царица увидела, что нянька кладет мальчика в огонь, и закричала в ужасе. «Жалкие люди, — ответила на обвинения нянька, — я хотела дать мальчику бессмертие, но теперь это невозможно». И тут по дому разлились необычайное благоухание и свет, и женщина приняла свой настоящий вид. Это была богиня Деметра — богиня плодородия, нив и цветов. Она покинула Олимп, потому что Зевс отдал дочь ее Кору в жены брату своему Аиду. В бесконечной скорби искала ее мать. Между тем земля высыхала. Испуганные олимпийцы уговорили Аида на полгода отдавать Кору матери, и тогда ликующая земля снова цвела и плодоносила. Миф этот — поэтизация великой тайны умирания и прорастания зерна, замирания и расцвета жизни. Около VII века до н. э. в Элевсине складывается культ Деметры. Поклонение богине сопровождается тайными обрядами — мистериями, подобными тем, которые были у древнейших народов. Возникли целые представления, которые легли в основу театрального искусства. Установились праздники — элевсинии. То был праздник приобщения к мировой жизни, обожествления поэтического экстаза, переживания бытия как чуда.

Наряду с элевсиниями, которые охватывали сравнительно узкий круг посвященных — мистов, в Греции распространяется другое религиозное движение, захватившее широчайшие массы, — дионисизм. Дионис (Вакх), сын Зевса и Семелы, — умирающий и воскресающий бог, бог вдохновения и безумия. Казалось бы, нет ничего более противостоящего греческому духу, чем Дионис. Это — поток, который срывает плотину греческого порядка — соразмерности, симметрии, гармонии. Безмерность, стихия, разгул — вот что такое царство Диониса. Между VII и VI веками в разных областях Эллады появляются толпы

вакханок — женщин с распущенными волосами, одетых в шкуры ланей, в венках из дикого плюща. Эти менады (одержимые) разрывают голыми руками диких животных и поедают их на месте, поят их детской своей молоком, отдаются первому встречному. Оргии, разгул, крики, кровожадность, стихия. И ощущение небывалой полноты жизни. Вакханки, впадавшие в экстаз, приобретали удесяттеренную силу.

Бог Дионис — могучий бог и строго карает за неподчинение себе. Есть миф о дочерях царя Миния, которые не хотели признать власть Диониса; когда явился жрец бога звать девушек и женщин идти в леса и горы на праздник в честь Диониса, царевны не пошли за всеми, а остались дома и продолжали прясть и ткать. Но когда село солнце, во дворце начало происходить что-то невероятное: нити пряжи вдруг превратились в виноградные лозы, ткацкие станки зазеленели, обвили плющом, разлилось благоухание, раздались звуки тимпанов и флейт. Потом во дворец ворвались дикие звери — и царевны, которые пытались спрятаться от них, превратились в серых летучих мышей.

Такова была кара бога Диониса. Этот миф символичен. Сила стихии больше человеческой меры. Не так-то легко ее обуздать.

Есть только две живые силы, которые способны противостоять хаосу жизни и пустоте смерти. Это — Любовь и вдохновенная любовь Песня. На эти силы пыталось опереться новое религиозное течение, орфизм. Оно было названо по имени мифического певца Орфея. Сын музы Каллиопы, он получил от нее дар песнопения. Это он отплыл за золотым руном на корабле «Арго», и его песня победила песни сирен, околдовывавших и губивших моряков. Его песни — песни любви. Когда их вдохновительница, Эвридика, умирает, безутешный Орфей создает такую прекрасную песнь, что перед ней отступает сама смерть. Расступаются врата Аида. Трехголовый пес Кербер, адские чудовища — все стихает, усмиренное небывалым чудом. И Орфей входит в Аид, чтобы вывести из него Эвридику.

Только два раза греческая мифология говорит о воскресении, которое творит любовь. Один раз это была Алкеста, согласившаяся добровольно принять смерть вместо мужа. Высшей ценностью у греков всегда были жизнь и честь. Жизнь без чести теряла смысл. Но только два раза говорится о том, что жизнь теряет смысл без любви. Муж Алкесты, потеряв такую подругу, понимает, что его жребий хуже смерти. И боги, пораженные небывалым, не свойственным человеку подвигом, решаются добровольно нарушить свои законы и вернуть Алкесту к жизни.

Любовь Орфея также превосходит инерционные законы естества и заставляет их отступать. Новая гармония и новый свет — гармония и свет любви — побеждают мрак и хаос. Орфей воскрешает Эвридику. Но не навсегда. По условию богов, Орфей должен был не оглядываться и не видеть тени Эвридики, пока они не покинут подземное царство. Орфей же не выдержал и оглянулся. Эвридика снова умирает, а

безутешный Орфей скитается по земле и в конце концов погибает, растерзанный вакханками. Мать его, муза Каллиопа, собирает растерзанное тело сына, а голова Орфея, вынесенная волнами на остров Лесбос, пророчествует там. Таким образом, физически Орфей не победил. Наоборот, торжествуют низшие силы. Но воскресает песня. И именно это учение о неумирающей песне и неумирающем духе легло в основу орфизма.

В орфизме — в отличие от религии Олимпа — душа и дух становятся важнейшей ценностью. Дух, а не тело. Впервые духовная глубина приобретает первенствующее значение. В этой глубине живут любовь и песня, и они важнее смерти. Смерть, по учению орфиков, не властна над глубиной. Это сила, отметающая наносное, поверхностное и освобождающая глубину духа. Великий немецкий поэт XX века Рильке посвящает Орфею цикл сонетов, в которых раскрывает суть «живого бессмертия».

*Не ставьте памятника. Пусть лишь роза
Ему подарит новый свой бутон, —
Орфей — живой. Его метаморфозы
Везде, во всем, во всех названьях — он.
Где песня, там Орфей. Меж нами, с нами —
Лишь только голос, только всплеск огня...
Но разве мало, если рдеет пламя
Раскрытых роз, пусть два коротких дня?
Он дол же н умирать, чтоб мы узнать могли
Его во всем. Пусть страшно при разлуке,
Но в миг, когда напев дошел, певец — вдали.
Мы музыкой полны, но рядом нет Орфея. —
Коснувшись струн, от струн отходят руки.
Он верен лире, расставаясь с нею.*

(Перевод З. Миркиной)

Орфизм заново переосмысляет все мифы и создает новую космогонию, подымаясь к духовно-поэтическому миропониманию. Дионис орфиков — это лишь ипостась (один из обликов) Зевса, Зевса одождяющего, так же как дождь есть лишь вид единого процесса, единой силы, предстающей то в виде тучи и молнии, то в виде дождя. Мир видится как целое. Намечается новое понимание гармонии — гармонии целого, ощутить которую можно только через любовь. Орфизм различает в мире два начала: дионисийское (духовное) и титаническое — плотское. Дионис, умирающий и воскресающий дух — бродило, творческая суть; титаны — формы, не желающие изменяться. По орфической мифологии титаны растерзали Диониса, но их самих испепеляет божественная молния. И из крови Диониса, перемешанной с пеплом титанов, создаются люди. Таким образом, человек двуедин.

У него две сущности, духовная и плотская. Смысл жизни в борьбе и преодолении плотского начала, в духовном росте.

В упрощенной форме орфизм жил среди земледельцев и был там просто антиподом аристократических городских культов, поворотом от слишком далекого и недоброго Аполлона к близкому и живому Пану, от грозного и далекого Зевса к близкому Дионису. Это не столько орфизм, сколько несколько смягченный дионисизм. Собственно орфизм живет недолго и не имеет широкого распространения. Старая официальная религия олимпийцев, безразличная к нравственности и пекущаяся только о почитании авторитетов, религия — охранительница порядка продолжает господствовать в жизни городских масс. Однако сила ее внешняя, а не внутренняя. И как бы долго старые олимпийцы ни правили — победа их временная.

Последняя ставка богов. Казнь Сократа. Смерть богов

Герои Гомера и Гесиода могли сколько угодно сражаться и состязаться между собой, но у них были общие ценности — они поклонялись сходным богам. К VII—VI векам греческое общество расслаивается, появляются новые, «эзотерические» (доступные не всем) религиозные течения (орфики, пифагорейцы) и отдельные мыслители, противопоставляющие свое миропонимание господствующему, всенародному, проповедующие свой личный взгляд на жизнь. Одним из первых философов был Ксенофан. Много путешествовавший человек, насмотревшийся на религиозные обряды Египта, Ирана, Эллады, — он говорит:

*«Если б руками владели быки или львы, или кони,
Если б писать, точно люди, умели они, что угодно, —
Кони коням бы богов уподобили, образ бычачий
Дали б бессмертным быки...»*

И вдруг, точно библейский пророк, Ксенофан вещает:

*«Бог же один, между смертных и между богов величайший!
Смертному он не подобен ни видом своим, ни душою!»*

К V веку до н. э. греческая цивилизация, подобно Гераклу, достигла вершины своей мощи и начала саморазрушения. Истерзанная междуусобной войной полисы бесконечно свергали и меняли свои правительства. Демократия сменялась тиранией и наоборот. Массы разделились на яростных охранителей старых порядков и скептиков, которым вообще ничто не дорого, в том числе и сами основы

всякой порядочности и добра. Лучшие умы Греции мучительно ищут выхода из трагического тупика. В то же время множество записных мудрецов, выучившихся законам логики, объявляют себя учителями людей и берутся за деньги учить мудрости и доблести. Профессиональные мудрецы стали называться софистами, а мудрость их — софистикой.

В этой обстановке начинает свою деятельность один из величайших мудрецов Греции — Сократ. Жизнь Сократа — это ответ на вызов страшного времени, это попытка заполнить духовный вакуум, в котором жили его современники.

Сократ был сыном скульптора Софрониска. Был выучен тому же ремеслу, но не проявил к нему особой склонности. О юности его известно очень мало. Рассказывают, что он был призван в солдаты и считался хорошим солдатом, бесстрашным и надежным. И при этом — удивительно простым и естественным в обращении. Временами, однако, он глубоко задумывался и долгое время мог ничего не замечать вокруг себя. О чем он тогда думал, никто не знал. Но в 432 году, выйдя из призывного возраста, Сократ стал проводить свои дни на площадях Афин в разговорах с гражданами, и неожиданно для самого себя был признан великим мыслителем.

Сократ ничего не писал, и мы знаем о нем только то, что запомнили или, может быть, выдумали его ученики. Самым талантливым и красноречивым из них был Платон. В своем философском трактате-диалоге «Пир» он вкладывает в уста юноши Алкивиада слова о Сократе, полные удивления и любви. Каким образом этот сатир (Сократ был некрасив, с отвислым животом, курносый и лысый) смог заставить его забыть всех красавиц и красавцев и сделать так, что самый звук его голоса волновал юношу сильнее, чем любовное свидание, — это было для Алкивиада непостижимо, но это было так. Алкивиада поражало, насколько не действовало на Сократа то, что казалось соблазнительным для обыкновенных людей — телесная красота, телесные наслаждения. Сократ дал ему почувствовать, что **только** телесные наслаждения мелки, что они заставляют ради малой частицы забыть о большом целом. Эта целостная, ни от чего не зависящая, свободная душа глядела на Алкивиада глазами Сократа и заставляла ощущать свои прежние привычные желания ничтожными.

Есть восточная легенда о двух мудрецах: один провел линию на бумаге и попросил второго уменьшить эту линию, не прикасаясь к ней. Второй подумал и провел рядом с ней вторую — более длинную. Это и была линия поведения и метода обучения Сократа. Он был этой более длинной линией, рядом с которой другие видели свои настоящие размеры и свои мелкие ценности в их подлинном виде. Он обладал той спокойной мудростью, которая вовсе не бичевала и не рубила недостойное, а просто вырастала над ним.

Неприхотливость и выносливость Сократа изумляли людей. Он на себя тратил меньше, чем последний поденщик. Зимой и летом ходил в одном неизменном плаще. Одному софисту он сказал: «Ты лучше согласишься бы умереть, чем жить так, как я живу, а я думаю, что не нуждаться ни в чем свойственно только богам, а иметь потребности в самом малом близко к божественным свойствам». Ему ничего не надо было подавлять в себе. Сами естественные потребности его были иными, чем у других людей. Внутренние духовные ценности были настолько важнее других ценностей, что выбирать не приходилось. Хвалить Сократа за его скромный образ жизни, за то, что он не прельстился тем или иным благом — все равно, что хвалить честного человека за то, что он, будучи в богатом доме, ничего не украл. У него была иная шкала ценностей, чем у большинства. В душе его жила высшая красота, и потому красота низшая была перед ним бессильна, непривлекательна. «Неужели ты думаешь, — говорил Сократ, — что человек, устремивший к ней (высшей красоте. — *Авт.*) взгляд... и с ней неразлучный, может жить жалкой жизнью?»

Что же это была за высшая красота и как Сократ учил видеть ее? Прежде всего надо было вытряхнуть из сознания современников те ложные знания и представления о добре и зле, о прекрасном и безобразном, которыми оно было полно. И самое первое и основное — разбить самоуверенность, привести к сознанию собственной недостаточности. В диспуте со знаменитым софистом Протагором Сократ подводит самодовольного мудреца к признанию того, что жизнь бесконечно сложнее простой логики и что мудрости, доблести и добру нельзя научить, как арифметике или физике. Манера говорить у Сократа была такова, что собеседник вначале испытывал превосходство перед этим «простачком» и начинал поучать его и только потом понимал, что попал в ловушку и оказался глупцом сам. «Ты, Протагор, утверждаешь, что можешь научить доблести и мужеству и даже берешь за эту науку деньги, — так, примерно, начинает свою речь Сократ. — Я бы с удовольствием у тебя поучился. Я-то ведь совсем не мудр...»

Да, Сократ вовсе не считает себя мудрецом, и тут кроется причина его превосходства. Один из его учеников спросил дельфийского оракула*, кто самый мудрый человек в Греции? «Сократ», — был ответ. Рассказывая об этом, Сократ сказал, что очень удивился, так как мудрецом себя вовсе не считал. И он стал обходить множество людей, желая проверить слова оракула. Он был уверен, что найдет не одного человека, более мудрого, чем он сам. Но, оказалось, что люди или уже вовсе не мудры, или если мудры в чем-то (как, например, знатоки своего дела), то настолько проникаются чувством своего превосходства над всеми, настолько уверены, что мудрее их во всем и всех могут учить, что стано-

* Предсказателя, говорившего в Дельфийском храме от имени Аполлона.

вятся глупы. Вышло так, что он один только знал, что не мудр, и этим был мудрее всех. «Я знаю только то, что ничего не знаю», — сказал Сократ. Он обладал реальным взглядом на себя, пониманием собственной ограниченности, без которого нельзя было двигаться дальше. Лишь это делало ум и душу свежими, гибкими, способными воспринимать новое, большее, чем мы сами. Сократ называл себя оводом, жалившим своих современников, не дающим им успокоиться в губительном самодовольстве, не дающим им омертветь.

Сократ не провозглашал и никому не навязывал каких-то новых истин. Он хотел помочь каждому найти свой подход к истине, помочь ученикам стать ее самостоятельными искателями, родить истину и таким образом стать сопричастными ей.

Афиняне не признали Сократа. Этот «овод» слишком беспокоил их сонное благополучие. Они обвиняли его в непочтительном отношении к богам, в развращении умов молодежи и осудили его на смерть. На суде Сократ произносит свою знаменитую защитительную речь — «апологию». Он припирает своих обвинителей к стене, показывает полную незаконность, противоречивость и бездоказательность их обвинений. Но еще важнее того, **что** говорил Сократ, то, **как** он это говорил. Ни на минуту угроза смерти не заставила его задрожать или изменить себе. «Если уж принимать за верное что-либо, — говорил он, — то это то, что с человеком хорошим не может случиться ничего плохого ни при жизни, ни после смерти». Главнейшее не то, что происходит во внешнем мире, а то, что происходит в душе человека. И с этой точки зрения он считает свой жребий наилучшим. Смерть вовсе не кажется ему таким уж злом. Она не может повредить душе, значит, она нейтральна. «Я, афиняне, этим, пожалуй, и отличаюсь от большинства людей, и если я и кажусь мудрее других, то разве только тем, что недостаточно зная об Аиде, я так и считаю, что не знаю. А что нарушать закон и не повиноваться тому, кто лучше меня, будь то человек или бог, нехорошо и постыдно, это я знаю». И Сократ, руководствуясь тем, что знает, хочет одного — чистой совести. Это благо безусловное, и оно важнее для души, чем жизнь или смерть. «Избегнуть смерти, афиняне, не так уж трудно. А вот что гораздо труднее — избежать нравственной порчи: она настигает стремительней смерти...» «Я ухожу отсюда, приговоренный вами к смерти, а они (обвинители. — *Авт.*) уходят, уличенные правдою в злодействе и несправедливости. И я остаюсь при своем наказании, а они при своем».

Сократа обвиняют в том, что он безбожник. И он на самом деле чувствует себя независимым по отношению к тем внешним богам, которым поклоняются его сограждане. Но у него есть свой Бог. Он — внутри. Его голос раздается из глубины сердца. И только к нему Сократ прислушивается. Он противопоставляет внутреннее внешнему, живое осмысление — слепому послушанию, творчество — привычке.

Нет, не нужен такой «овод» афинянам. И приговоренный к смерти Сократ предсказывает им: «Я утверждаю, афиняне, меня умертвившие, что тотчас за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня покарали. Теперь, совершив это, вы думаете избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, обратное: больше появится у вас обличителей — я до сих пор их сдерживал. Они будут тем тягостнее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что умерщвляя людей, вы заставите их не порицать вас за то, что вы живете неправильно — то вы заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не вполне надежен и нехорош, а вот вам способ и самый хороший и самый легкий: не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Предсказав это вам, тем, кто меня осудил, я покидаю вас».

Предсказание Сократа исполнилось. Афины теряют свое духовное первенство. Ученики Сократа рассеиваются по всей Элладе. Самый значительный из них, Платон, всю жизнь будет носить в себе образ учителя, писать о нем и развивать его учение. Он разовьет мысли Сократа о высшей Красоте и Любви. Эта «небесная», «платоническая» любовь и красота впоследствии сольются с христианскими представлениями. Философское движение не могло остановить надвигающуюся гибель греческих богов и всей культуры, основанной на их почитании. Оно только помогло торжеству новой религии.

Чем более властными становились боги, владевшие умами толпы, тем более проступала их обреченность. Старое силой пыталось подчинить себе живой человеческий дух. Но река прорвала плотины и проложила себе новое русло.

Глава третья

Суший (вера древних евреев)

Книга книг*

Древняя Эллада оставила нам огромное количество книг и статуй. Древние евреи все свое творчество вложили в одну книгу — Библию. Правда, называть ее одной книгой неправильно. Это книги, а не книга (что и означает точный перевод греческого слова). Это множество повестей, сложенных разными людьми на протяжении столетий (с VIII по II век до н. э.). Но все они затем были объединены в одну книгу, священную для иудаизма и христианства и до сих пор живую.

Нельзя по-настоящему знать европейскую культуру, не зная Библии. Из этого источника черпали сюжеты, мысли и образы художники и писатели, философы и композиторы на протяжении многих сотен лет. Вечные темы — проблемы добра и зла, смысла жизни, смысла любви и страдания — в большинстве случаев развивались на материале библейских сюжетов с библейскими персонажами. Их принимали или не принимали, переосмысливали, углубляли, делали более тонкими и символичными или огрубляли и примитивизировали, — но так или иначе ими жили. Крестьянские восстания средних веков не раз происходили под знаменами, на которых были написаны слова библейских пророков. И с той же Библией связаны мракобесие, фанатизм, борьба против науки и гуманизма. Костры, на которых сжигались еретики, тоже были санкционированы авторитетом Библии.

В то давнее время, когда Библия слагалась, в нее вливалось все — эпос и лирика, история и философия (в той форме, в которой она была тогда), нравственность и право, и то, что впоследствии стало называться собственно религией. Много веков спустя все эти потоки зажили своей самостоятельной жизнью. Но нельзя забывать, что все они вышли из единого общего источника. Нельзя думать, что Библия — источник только религиозный; это источник общекультурный.

Образ не имеющего образа

Первая книга Библии, «Бытие», начинается с картины создания мира. На первый взгляд здесь много похожего на древнегреческие космогонические мифы. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». Тот же хаос, и небо и земля, возникшие прежде всего. Но у греков небо и земля — обожествляемые родители всего живого; от них произошли сами боги. В Библии же Бог творит небо и землю, и не так, как древнейшие племенные боги, из какого-то материала, а духовно, словом. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Это знаменитое библейское «да будет!» станет потом на долгие века символом творческого акта. Сам по себе миф о шестидневном сотворении мира ничуть не менее наивен, чем все другие мифы древности. Но в центре мифа — всемогущий творец. Он поражает своей вездесущей одухотворенностью. Зевс — всего только самое могущественное из созданий мира. Он по-своему телесен. Библейский Бог — создатель мира. Он создает его из ничего, силой духа. Зевс был подвластен Року, библейский Бог — никому.

Далекая смутная первопричина жизни находилась у греков как бы за сценой видимых явлений. Рок не олицетворяется. Неведомое врывается в жизнь и хозяйничало в ней как хотело. Перед ним трепетали, о нем старались не говорить, пока оно само не говорило о себе. И именно ему — этому неведомому, этой скрытой от глаз первопричине всех явлений и стали поклоняться древние евреи (хотя, может быть, это случилось и не так сразу, как рассказывает Библия). Неведомое не казалось им чем-то чуждым и внешним. Они старались постичь его законы, его нравственные требования, предъявляемые человеку, старались постичь Единое, сущее, как нравственный закон. И Бога своего называли Сущим. Имя библейского Бога Яхве (в другой транскрипции — Иегова) в переводе означает Сущий. Религия Библии — это религия единобожия — монотеизм.

О легендарном праотце монотеизма Аврааме (которого два народа — евреи и арабы считают своим родоначальником) сохранилось такое предание: однажды, взглянув на звезду, пораженный ее красотой, Авраам воскликнул: «Вот Бог мой!». Но взошла Луна и затмила звезду, и Авраам Луну назвал Богом. Когда взошло Солнце и не стало Луны, он поклонился Солнцу, сильнейшему и прекраснейшему. Но Солнце тоже зашло, и тогда Авраам понял, что ничему видимому не будет поклоняться. Если обожествить каждый отдельный предмет, предметы столкнутся между собой в споре о первенстве. Есть нечто более важное, чем каждый из них в отдельности — их связь, единство законов жизни, сверкающий, как молния, невидимый смысл всего видимого.

Такова поэтическая легенда о возникновении монотеизма. Ученый построил бы более сложную конструкцию. С его точки зрения, путь к монотеизму был гораздо более трудным. Вера в «того, который наверху», в туманный образ творца мира есть у многих племен; но она совмещается у них с верой в других небожителей, пониже. Так было, по-видимому, и у древнейших евреев. Остальное додела-ла история, — то, что в Библии называется «египетским рабством», «вавилонским пленом» и т. д. Начиная со II тысячелетия до н. э. судьба несколько раз забрасывала евреев далеко от родной земли. На новых местах боги были чужие — египетские, вавилонские. Покориться им — значило отдать победителю не только тело, но и душу. А свои боги до чужбины не доставали. Они были связаны с полями и горами, оставшимися в земле отцов; и люди, теряя зем-лю, вместе с ней теряли часть своих святынь. Живым и действующим оставался только «тот, который наверху». Можно предполагать, что именно обстановка изгнания сделала туманного, невидимого верховного Бога таким интимно близким, единственно близким евреям. Ухватившись за эту уцелевшую национальную святыню, развивая и очищая ее, духовные вожди народа, пророки, возвыси-ли маленькое племя в его собственных глазах, внушив ему веру в свое превосходство над великими цивилизациями древности, дали ему силу выстоять. В неравной борьбе с империями Средиземноморья постепенно утвердился образ единственного, самодержавного, всемогущего Бога, не имеющего никаких соперников (только на такого Бога мог надеяться народ, неоднократно отрываемый от зем-ли и от богов земли).

Путь от племенной религии к последовательному монотеизму, религии единого Бога и единого человечества был очень долгим, исторически сложным и противоречивым. В Китае и в Индии он так и не был завершен. Там выработались иные формы религиозного сознания. Но чисто логически становление монотеизма просто и естествен-но — не менее, чем становление политеизма, только **менее вероятно**. Раз найденная и развитая, идея монотеизма делается такой же «очевидностью», как идея политеизма. Если избрать символом примитивной (племенной) культуры шаманское «мировое дерево», то можно указать, что это дерево греки и другие народы Средиземноморья увидели как множество ветвей и листьев, прекрасных, пахучих, ощутимых — и не связанных друг с другом. Древние евреи пронесли и развили противоположную идею — единого ствола, мирового стержня. Их Бог — миродержец. Он же и «дух, веющий над водами», не только и не столько ствол, сколько (если развить тот же образ) сок дерева, делающий и ствол, и ветви живыми. Он — смысл предметов, одухотворяющий их. Представить его предме-том — значит убить его, сделать из бесконечного, не имеющего очер-

таний — конечным, очерченным. Такая тенденция окончить бесконечность была очень сильна у всех народов, в том числе и у еврейского. Но библейские пророки ведут с этой тенденцией яростную борьбу.

«Все, что сделал человек, — это дело рук его, это не Бог», — говорили пророки. Бог невидим, непредставим. Изображений его делать нельзя, чтобы не умалить и не унижить его жалким подобием.

В Иерусалимском храме была «Святая святых» — огороженное место храма, куда не имел права входить никто, кроме первосвященника в особый день года. Когда римляне завоевали город, римский полководец захотел узнать, что евреи прячут за своей завесой, чему поклоняются. Столько слухов ходило об этом среди соседних народов! Что там? Статуя быка или ослиная голова? Но римские солдаты не нашли там ничего. Только выход в небо.

Живое чувство бесконечности ближе всего к образу неба. И надо полагать, что люди, создавшие образ библейского Бога, долго глядели на небо или в бескрайние, ничем не загроможденные пустыни... Понемногу веками складывается высший образ. В нем все вечно, все крупно. Это грозный и справедливый владыка мира. Он воплощение добра — но он же грозный отец, беспощадно суровый к своим детям. Действия его не всегда понятны, но надо любить его, доверять ему, как дети верят отцу. Он — даятель, давший все: жизнь, землю, дыхание, пищу, и он вправе отнять их. Преклонение перед ним — благоговейное преклонение перед даром жизни, благодарность за чудо бытия. Позднее, уже в христианской религиозной традиции, которая не запрещала делать изображения Бога, Яхве глядит с потолка Сикстинской капеллы могучим седовласым старцем, микеланджеловским Богом-Отцом*. Самое захватывающее здесь не в очертаниях корпуса или лица, а во внутреннем ритме, которым пронизан летящий гигант. Его поддерживают сонмы малюток-ангелов. Но зритель чувствует за этим лишь аллегория особого состояния. Совершенно ясно, что не эти малютки держат его, они скорее олицетворяют исходящую от него самодержащую силу. Он — как застывшая волна творческого духа, могучий ветер вдохновения, который сдувает все мелкое.

Неопалимая купина

Несколько раз Бог Библии является верующим в виде огня. Огненный столб, горящий и не сгорающий куст, блеск остановившегося солнца. «Вид же славы Господней был как огонь, пламенеющий на

* Это один и тот же Бог, только названный разными именами.

вершине горы». Этот огонь виделся пророкам, ясновидцам, как образ их собственного внутреннего горения. Так явился пушкинскому пророку шестикрылый серафим. Таким огненным видением предстает он и величайшему библейскому пророку — Моисею, которому приписываются первые пять книг Библии, так называемое Пятикнижие Моисеево. Согласно Библии, Моисей вывел когда-то свой народ из земли рабства в свободную землю Ханаан. Моисей и его ученики напоминают героев греческих мифов. Но героизм у них особый. Бог Моисея — это прежде всего Бог правды и справедливости, а потом уже и славы. Он учит, что победа — не прихоть нравственно слепых сил, а следствие верности ему — Богу правды. Этим героика Библии отличается от подвигов Геракла^{*}.

Яхве впервые явился Моисею на горе Хорив в середине пылающего тернового куста. Куст горел и не сгорал, как душа пророка. Это и была неопалимая купина, которая на долгие века стала символом крещения огнем, символом несгорающего вдохновения. Пламя, сжигающее все, что тленно, оставляет нетронутым только вечное, нетленное. И перенасыщенный внутренним огнем пророк встает, чтобы «глаголом жечь сердца людей». Он становится чудотворцем. Вместо бессильных слов — всесильный глагол, вместо бессильных увещаний — власть над сердцами. «Как заставлю я людей поверить, что Ты сам явился мне?» — спрашивает Моисей у Бога. «Возьми жезл свой и брось на землю», — отвечает Бог. Моисей бросил жезл, и жезл превращается в змея. «Поймай змея за хвост», — говорит Бог. И в руке у Моисея — снова жезл. Моисей повелевает сердцами и природой. И неважно, что он косноязычен — огненный Бог обещает ему говорить через его уста. Моисей творит чудо за чудом. Море по его слову расступается перед верными и топит их преследователей; скала источает воду, в пустыне выпадает с неба манна, питающая голодных.

Чудеса эти могут трактоваться по-разному. Некоторые историки находят вполне естественные объяснения сверхъестественным событиям. Море, расступившееся перед беглецами, могло быть дельтой Нила, обмелевшей в часы отлива; выпадение манны — это сладковатый, засохший крупичами сок, который и сейчас собирают бедуины на некоторых кустах полупустыни. Но мы относимся ко всему сказанному, как к мифу, и нам кажется гораздо более важным и интересным для понимания сути библейских текстов не буквальный, а иносказательный, внутренний смысл чуда. Сам Моисей говорит, что манна была образом духовной пищи. Огненное слово пророка

^{*} Это произошло не сразу, и в древних книгах Библии есть эпизоды, которые производят отталкивающее впечатление. Но от книги к книге нравственная идея Библии становится яснее.

было главной пищей скитальцев пустыни. «И томил тебя (народ. — *Авт.*) Бог голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и отцы твои, чтобы показать тебе, что не единым хлебом живет человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божиих». Много надо чудес — творческой силы, порыва, воли, горения, чтобы поддержать в людях веру в победу духовного огня. Люди идут за ним от чуда к чуду, покоренные, удивленные, но поминутно готовые предпочесть обеспеченное рабство свободе, поминутно отчаивающиеся, слабодушные.

Около высокой горы Моисей сделал привал. Он взошел на гору и сорок дней был там один. Там явился ему снова Бог и продиктовал десять заповедей. И Моисей записал их на больших каменных плитах — скрижалях. С этими скрижалями, на которых был записан первый закон, первый завет — условия союза человека с Богом — спускался Моисей с горы. Но люди, его народ, устав от одиночества, вдалеке от своего невидимого Бога и истолкователя Его воли, отступили от всего, чему он учил их. Народ сделал себе золотого тельца и плясал вокруг него, называя его своим богом.

В великом гневе разбивает Моисей каменные скрижали. Происходит первое трагическое столкновение пророка с народом. В этот героический период библейской истории оно оканчивается победой пророка. Впоследствии пророки не раз будут побиваемы камнями. Политическое поражение только задним числом, в веках, превратится в духовную победу. Но сейчас еще «земное» и «небесное» не разделились. Духовные идеалы народа, его нравственная мощь, его внутренняя правота сосредоточены в духовном вожде-пророке, и ему же вверил народ свою судьбу. Это угнетенный, малочисленный, слабый народ, которому нечего терять. Его решимость идти за Моисеем — решимость отчаянья. Нет ничего, что могли бы люди противопоставить Моисееву подвигу, кроме страха и малодушного желания вернуться в состояние рабства. Поэтому пророк не только правее толпы народной, он еще и сильнее ее.

Однако трудно было людям поддерживать в себе веру в Моисеева Бога. Как представить себе то, что говорит пророк? Вот он говорит, что видел Бога, и он же говорит, что человек не может видеть Бога. Как это увязать? Инертный ум требует зримости, буквально, а не пророческих метафор. Если не руки, то мысль должна осязать предмет. А Моисей разрушает предметные представления, поистине водит их по пустыне мысли. Уводит от мертвых, застывших истин к незастывающему, живому, хочет, чтобы они не получали из его рук готовое, а соучаствовали бы в духовном творчестве. И как трудно понять странные слова, которые говорит Моисей от имени Бога: «...стань на скале. Когда же будет проходить слава моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе

не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь след Мой, а лицо Мое не будет видимо». Это не что иное, как сильное поэтическое описание экстаза, величайшей перенасыщенности чувств, в котором жизнь встает, как некое огненное чудо, полное смысла и потрясающего значения. «Покрытый рукою» — указание на смутность, неясность виденья, из которого выступает только след, а не четко очерченное лицо. Тем, кто не испытал этого переживания полноты жизни, нужно что-то внешнее, перед чем можно было бы преклоняться. Пусть будет изваяние, перед которым можно совершать обряды и ожидать помощи. «Как у всех». Но пророк, разбивший скрижали, «стал в воротах стана и сказал: кто за Господа, ко мне!». После кровопролитного сражения Моисей победил. И тогда были заново написаны 10 заповедей. Вот они: 1. Да не будет у тебя других богов кроме Сущего. 2. Не сотвори себе кумира. 3. Не произноси имя Бога всуе (напрасно, попусту). 4. Чти день субботний. 5. Почитай отца и мать. 6. Не убий. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не укради. 9. Не лжесвидетельствуй. 10. Не пожелай жены ближнего своего, ни дома его, ни вола (то есть не завидуй).

Некоторые из этих заповедей стары. Моисей только заново отредактировал их. Но в целом, как система, 10 заповедей были неслыханным новшеством. В примитивных и архаических системах религий на первом месте — соблюдение обряда. Так это и в народной религии греков. А по Моисею, главное, что требуется от человека, — это внутренняя верность своему идеалу, верность нравственной правде. Человек служит Богу тем, что соблюдает нравственный закон. Не нужно кумиров — самодельных богов, созданных из жажды преклониться перед чем-либо внешним. Каждая заповедь имеет четкий нравственный смысл. Это уже не табу.

С течением веков в Моисеев закон были включены и другие нравственные предписания. Смысл их сводится к милосердию, справедливости, бескорыстию. «Не суди превратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог». «Когда будешь жать в поле твоём, оставляй сноп пришельцу и сироте и вдове». «Когда обобьешь маслину твою, то не пересматривай за веткой ветвь — пусть останется пришельцу, сироте, вдове». «Надо прощать долги, особенно бедным. Надо возвращать бедному залог его еще до захода солнца, чтобы он лег спать, благословляя тебя». Часто повторяются слова: «Не выдавай раба и не притесняй его и помни, что сам ты был рабом в Египте». Надо соблюдать чистоту и благолепие, потому что невидимый Бог как бы присутствует всюду, и ты должен чувствовать это и не осквернять землю, по которой ходишь. Эти представления складывались постепенно, кодифицированы они уже в послебиблейский период, в Талмуде, но в памяти народа они слились с Моисеем.

С именем Моисея связаны и другие законы, которые нам кажутся сейчас жестокими. «Око за око», «зуб за зуб» — так тогда понимали справедливость. Ты выбил зуб и тебе его выбьют. На этом конец мести. Но как совместить с заповедью «не убий» разрешение на «священную войну»? Видимо, заповедь ограничивала действия личности, но государство сохраняло право защищаться оружием. Государство сохранило право и на смертную казнь. При этом закон совести и закон, по которому судят в судах, одинаково сознавались как божьи установления.

И противоречия Моисеева законодательства отчасти сводятся к несовпадению между гуманными нравственными идеалами и государственными законами, которые были скроены по мерке времени. И все-таки многие из уставов Моисеева законодательства нас сегодня поражают и отталкивают. Общий тон их очень суров: «Блудницу надо побивать камнями, ибо она сделала срамное дело... И так истреби зло из среды себя».

Законы Моисея, быть может, строже законов окружающих племен. В них есть какая-то преувеличенная строгость и непреклонность, охраняющая чистоту новой идеи. «Чтобы, когда будешь есть и насытишься, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, не сделалось бы надменным сердце твое и не забыл бы ты Бога своего...» Моисей часто напоминает народу его несправедливость и жестокость и то, как он отливал себе тельца и боролся с пророком и Богом, и то, каким он бывал слабодушным. Народ не должен возгордиться. «Не за праведность твою Господь тебе дает овладеть этою землею... Помни, как ты раздражал Бога в пустыне...» Сила человека не в нем самом, а в его верности Богу.

Цари и пророки

Победа Яхве над многочисленными богами окружающих народов, полное воцарение его в умах было в чем-то подобно победе Зевса над божествами природы. Огненный столп Яхве и молния разума Зевса освобождали разум от множества табу, от массы призраков, созданных воображением. Но нравственно Зевс ничуть не был выше нимф и сатиров, Атланта и Пана, которых он победил (скорее даже наоборот). Раскрепостив разум, религия Олимпа сделала человека царем природы. Но этот царь оставался с ног до головы природным существом, задержавшимся в своем нравственном развитии. Победа Яхве означала нечто другое: она стала началом нравственного перерождения.

Когда евреи, вышедшие из земли фараонов, пришли в Ханаан, они столкнулись с довольно высокой культурой местных жителей, хананеев. У них учились они обрабатывать землю, ковать оружие,

изготавливать одежду, получать оливковое масло, строить города. Верования хананеев были гораздо более похожи на египетские и греческие, чем на Моисеев завет. Каждая местность у них имела своего господина, Ваала, который требовал постоянных жертв. Без жертв земля не даст плодов, небо — дождя. Если не совершать многочисленных обрядов в честь бога Таммуза, не придет весна. Богиня любви Астарта тоже требовала жертв. Жертвы были чисто торговыми сделками людей с богами, нравственный элемент в них едва намечался.

И вот опять, как когда-то во время скитаний, евреи начинают перенимать более легкие верования соседей. И только верная заветам Моисея горстка людей неистово борется с этим. Появляется община, называющая своих членов «сынами пророческими». Они бродили по стране, распевая воинственные песни и проповедуя против чужих богов. Их пение сопровождалось бубнами, флейтами и кимвалами.

Это было духовно-политическое движение. Борьба за духовные идеалы совмещалась с политической борьбой, борьбой за объединение народа и создание сильного государства. Евреи, придя в Ханаан, соперничали с несколькими племенами, претендовавшими на господство в этой земле (с юга — кочевники пустыни, уцелевшие ханаанские племена, с запада — колесницы филистимлян). Пророкам, как и Моисею, удастся снова объединить народ. Они начинают священную войну с филистимлянами, и около 1000 года до н. э. образуют свое царство.

Пророки верили, что победа их будет победой правды, и Бог правды был их знаменем. Однако очень скоро выяснилось, что гораздо легче победить врагов в боях, создать сильное государство, чем установить господство правды и воплотить и удержать в чистоте духовные идеалы. Оказалось, что победителям, сильным, это еще труднее, чем угнетенным, побежденным. И тогда облик пророка начинает меняться, «глагол» его речей начинает жечь новое зло.

Со времен Моисея во главе народа стояли судьи и пророки. Они как-то ладили друг с другом. Однако глубокие противоречия возникают при создании сильной власти, единого государства с царем во главе. Когда народ обратился к пророку Самуилу с просьбой выбрать им царя («Пусть будет у нас царь, как у всех народов, чтобы вести нас на войну»), Самуил воспринял эту просьбу, как нарушение заветов Яхве. Они хотят царя, чтобы был земной бог, которому они бы поклонялись и которого бы слушались — одного Бога правды им мало! Самуил чувствует, что он, как пророк Яхве, оскорблен и отвержен. Однако сам Яхве (пророк постоянно беседует с Ним) говорит ему: «Послушай голоса народа во всем, что скажут тебе, ибо не тебя они отвергли, а Меня отвергли от царства

над ними... Как они оставили Меня и служили чужим богам, так же поступают и с тобою».

И вот Самуил выходит к народу и говорит, что выберет им царя, но предостерегает их — они не будут больше свободными. «Царь возьмет себе ваших сыновей и ваших дочерей в услужение и самые лучшие поля ваши и виноградники ваши... И возопиете тогда из-за царя вашего, которого выбрали вы себе, но не услышит вас Господь тогда». Царя все-таки выбирают. Начинается разделение власти на мирскую и духовную. Пророки постепенно превращаются в безоружную, незащищенную совесть народа.

Вначале им многое удается. Царь не сразу становится тем божественным существом, поступки которого выше закона. Библия рассказывает, как однажды легендарный герой, царь Давид, поддался человеческой слабости, довольно обычной для царей земных. Ему понравилась жена военачальника Урии, Вирсавия. Он услали Урию в самое опасное место сражения, где Урия был убит, а на вдове убитого женился. К Давиду явился пророк Нафан и рассказал ему притчу о богаче, отнявшем у бедняка последнюю любимую овечку. «Что делать с этим жестоким человеком?» — спросил пророк. — «Смерти достоин этот человек» — воскликнул возмущенный царь. — «Этот человек ты», — ответил пророк. И такова была сила пророческого авторитета, что царь не только не приказал немедленно казнить дерзкого, но даже не разгневался, а, опустив голову, сказал: «Согрешил я перед Яхве».

Из пророков древнего периода особенно знаменит легендарный Илья (ок. 800 года до н. э.), тот самый, чье имя до сих пор упоминают в народе, когда гремит гром («Илья-пророк на колеснице едет»). Само имя (Элияху) означает — «мой бог подлинно суций». На позднейших христианских фресках и иконах* Илью часто изображают на багровом фоне, как бы напоминающем о грозе. Это соответствует библейскому образу. Илья — молниевержец правды, защитник обиженных, мгновенно карающая и торжествующая справедливость.

Илья жил во времена царя Ахава и царицы Иезавели, финикийки, насаждавшей в Израиле свою веру. Царь был послушен жене, а она преследовала Илью и его сторонников. Однажды царю понравился виноградник крестьянина Навуфея и он захотел купить его. Крестьянин отказался продать землю своих отцов и дедов. Тогда по совету жены царь выдвинул против Навуфея ложное обвинение, и тот был казнен. Но едва царь вступил в виноградник, хозяином которого он теперь стал, как перед ним как из-под земли вырос Илья и призвал на его голову проклятия за невинную кровь. Он предрек Ахаву и его династии гибель.

* Еврейская религия (а впоследствии также ислам) запрещает человеческие изображения.

Есть легенда о состязании Ильи с жрецами других богов. Он собрал народ и сказал, чтобы жрецы ваалов приготовили костры у своих жертвенников, но огня не подносили. Чей жертвенник зажжется сам от небесного огня, тот Бог истинный. Как ни колдовали жрецы, какие магические заклинания ни произносили они, их костры оставались грудой поленьев. Лишь по слову Ильи сверкнула молния на небе и зажгла его жертвенник. Так Библия рисует образ духовного огня, не воспламеняющегося ни от каких стараний и ухищрений, кроме вдохновения правды.

Не единым хлебом

И все-таки, как ни могучи и вдохновенны пророки, им не удается установить царство правды на земле. Цари становятся все независимее от них. Зло торжествует в мире. Героическое время Библии — время свершения, воплощения идеалов — кончилось. Маленькое племя стало народом со своей цивилизацией, своими дворцами и храмом. Царство силы и богатства достигнуто. А царство правды? Оно было так же далеко, как и когда-то. И его нельзя было достигнуть воинскими подвигами. Как же завоевать его? Все точные, однозначные законы, заповеданные Моисеем, не дают ответа на такой вопрос. И вместо конкретного руководства к действию, вместо жестких и точных правил на первый план выступают туманные слова, написанные якобы состарившимся Моисеем: «Не единым хлебом будет жив человек...». Начинаются новые духовные поиски. Складывается новое учение пророков, новое осмысление добра и зла, и торжество добра преподносится не как немедленная победа, а как медленный процесс преображения человеческих душ. Говорится о горстке избранных, «верных правде», через которых Яхве приведет мир к своему завершению, к «царству Божию». Это будет день торжества, день победы Добра над Злом, день Яхве. Пророки говорят израильтянам, что они народ избранный постольку, поскольку сами избирают правду. Но если они перестают избирать правду, Бог правды перестает избирать их.

Летом 763 года до н. э. израильтяне справляли праздник. Под открытым небом клубятся волны фимиама, жрецы поют гимны, а весь народ вторит им. Царь Иеровоам II победил соседние племена, сады и виноградники дали богатый урожай. Жрецам и правителям кажется, что день Яхве близок. И вдруг в толпе появляется человек в простой пастушеской одежде с посохом. И во внезапной тишине раздается его голос: «Вы ждете дня Яхве?! Он придет, но он будет для вас гибелью, ибо Яхве есть бог справедливости, а где справедливость в Израиле?!». Это — пророк Амос. Он не считает себя пророком. Он

простой пастух, но он слышит такой властный внутренний призыв, что молчать не может. «Лев рычит, кто не содрогнется?! Господь говорит, кто не станет пророчествовать?» — сказал он. Он говорит от лица самого Яхве: «Ненавижу праздники ваши и не приму их. Шум песен ваших не буду слушать. Пусть лучше течет, как вода, правосудие, и правда, как неиссякающий поток...» «Слушайте вы, алчущие проглотить бедных и погубить нищих! Поистине не буду помнить все дела ваши...»

Вскоре после этого праздника в народе начинают распространяться кожаные свитки, на которых Амос записал свои речи. Так возникает плеяда пророков, речи которых были записаны и дошли до нас. Всех их объединяет мужество одиночек, борющихся за свое внутреннее видение истины, и готовность противостоять целому миру, опираясь только на внутренний голос. Сам Яхве говорит их устами. Они готовы быть побиты камнями, но не отступить от своего Бога. Правда — против лжи, внутреннее — против внешнего.

Необычайно сильна и интересна книга Исаии. Пушкинский «Пророк» навеян строками из этой книги: «Тогда... прилетел ко мне один из серафимов с горящим углем в руке своей... и прикоснулся к устам моим и сказал: вот это прикоснулось к устам твоим и беззаконие удалено и грех твой прощен. И слышал я голос Господа, говорящего: кого пошлю и кто пойдет для нас? Тогда я сказал: вот я. Пошли меня».

Исаия начинает свою проповедь с обличения внешнего, мертвого культа. Но, может быть, самое главное в книге Исаии — тот новый облик праведника, идеального человека, который видится ему. Он первый начинает пророчествовать о Мессии, спасителе, «царе иудейском», в котором добро полностью восторжествует над злом. «Этот человек будет светом, во тьме светящим. Он будет одной радостью, его ничто не будет тяготить. Когда он придет в мир, не надо будет ни войн, ни оружия — все же это будет сожжено, пожрано огнем».

Исаия трактует образ нового «царя» глубоко духовно. Только нравственно будет он царить над всеми. И не будет у него «ни вида, ни красоты, чтобы мы смотрели на него, и не будет у него благообразия, которое бы нас влекло к нему», «он презрен и отвергнут людьми, страдалец, испытавший болезнь... человек, от которого отвращаем мы лицо. Он презрен, ни во что ставим мы его». Новая истина должна родиться в унижении и в горе. Народ должен очиститься и возвыситься, и тогда, как следствие, придет справедливость и умиротворение. «И волк будет жить вместе с агнцем и леопард с козленком вместе и малое дитя поведет их», «и грудное дитя будет играть над норкою аспиды», «не будут делать ни зла, ни вреда по всей святой горе моей,

потому что вся земля будет так наполнена знанием Бога, как морское дно покрыто водою».

К тем, кто сегодня унижен и оскорблен, обращается Исаия от имени Яхве: «Я живу на высоте небес, в святилище близ сокрушенного сердцем и смиренного духом, чтобы оживить дух смиренных и утешить сердце угнетенных». Эти слова, которые могут восприниматься сейчас как церковные штампы, в свое время были смелыми и новыми. Сомещение высоты небес, святилища с сокрушенным сердцем означало внутреннее, живое понимание идеала, умение не привязывать его, как определенный предмет, к месту (небеса или храм). Это было такое же свободомыслие для своего времени, как восклицание Моисея: «Нет Бога, кроме Сущего!» — сметающее все множество мелких божков.

Жрецы, хотя и следовали формально традиции и не делали изображений Яхве, успели сделать таким мертвым и конечным понятие Яхве, что он стал невидимым идолом. Идол может быть и словесным. От этого ничего не меняется. А новые пророки продолжали мучиться «проклятыми вопросами» и всей своей жизнью пытались ответить на них.

Перед нами проходят углубленный Исаия, грозный Софония, трагический Иеремия. Все они так или иначе понимали, что суровые, однозначные и ясные законы Моисея не могут решить задач, поставленных эпохой. Как мечом или камнями решить вопрос об истине? Убивать неверных? Но кто верные и кто неверные? Побивать камнями блудниц? Но кто чист? Убивать грешника? Но кто безгрешен? И можно ли достичь чистоты, безгрешности этими мерами?..

В ясный, четкий мир разума вторгается огненный смерч — разрушитель, подобный греческому Року. Но в Библии неведомое воспринимается иначе — не как внешняя, а как внутренняя сила, осмысленная, разумная, с которой возможен диалог, спор. Все страдание земли поднимается, как вал, и вопрошает. Если жизнь нельзя осмыслить, придется признать ее бессмысленной. Если Бог не ответит, он не Бог. Неужели в мире нет справедливости? Куда же смотрит Яхве? Может быть, «правды нет и выше»?

Иов и Прометей (за что?)

Какое бы бедствие ни случилось с народом, верующие говорят, что это Бог наказал за грехи. Но почему так часто Бог карает самых праведных, а злые и грешные процветают? Да вправду ли Бог — грозный, но справедливый отец? Не видно этого. В Библии начинают раздаваться богоборческие голоса. И самый сильный и глубокий из них — голос Иова.

Книга Иова — величайшая книга древности. Это философская поэма, преодолевшая поверхностные богословские толкования своего времени и задавшая общечеловеческие вопросы о смысле и правде жизни. Герой ее — праведник, человек, который был для «голодного — хлебом, для слепого — глазами, для хромого — ногами, для сироты — отцом». И вот к такому-то человеку приходит в жизни все беды, которые только мыслимы на земле. Где справедливость? Где же Бог? Бог, оказывается, обо всем знает. Сатана похвастался перед Ним, что больше нет добра на земле, что никто не чтит и не любит Бога. «А Иов?» — спросил Бог. «Он только потому предан Тебе, — ответил Сатана, — что Ты дал ему много добра. Он богат и благополучен. Дозволь отнять у него все, и он проклянет тебя». И Бог дозволяет.

Это с самого начала вызывает недоумение читателя. Как же Бог, если он воплощение добра и правды, отдает праведника в руки Сатане только для того, чтобы похвастать его преданностью? Но если мы посмотрим поглубже, то увидим в аллегорических фигурах Бога, Сатаны и Иова другой внутренний смысл. Иов — прекрасный человек. Но может быть, он только потому и прекрасен, что ему хорошо живется? А вот каким он будет в беде? Сумеет ли он любить жизнь и людей, когда ему будет плохо? Может быть, в жизни есть более глубокий духовный смысл, который нельзя отнять никакими страданиями? Может быть, есть внутренний смысл страдания, до которого надо дорасти?

Итак, Сатана приходит к Иову и насыляет бурю, которая губит все его стада и все богатства. Иов принял это мужественно. Он преклонил колени и сказал: «Все от Бога. Бог дал, Бог и взял». Тогда буря обрушила дом, в котором находились все дети Иова — семеро сыновей и три дочери. Узнав об этом, Иов разодрал на себе одежды и посыпал голову пеплом. Страшное испытание! Но и убитый горем Иов не изменил себе и своему Богу. И сейчас он сказал, как и раньше: «Бог дал, Бог и взял. Все — от Бога». Он по-прежнему любил и благословлял добро и жизнь. Но Сатана не успокаивается. Он насыляет на Иова проказу. Лишенный богатств и детей, пораженный страшной болезнью, сидит Иов «на гноище своем». Те, кто были когда-то счастливы видеть его улыбку, отворачиваются от него, его слуги обходят его стороной, и жене стал тяжел его запах. И жена говорит ему: прокляни Бога и умри. Разве можно терпеть столько? Но Иов отвечает: «Я принял счастье от Бога, приму и беду».

И вот приходят к Иову друзья и начинаются длинные диалоги, полные драматизма. Сначала они не узнали Иова, а когда узнали, долго сидели молча, не в силах произнести ни слова. И тогда, наконец, не выдержал Иов. И проклял ночь, в которую был зачат, и день, в который родился. Как только этот бесконечно страдающий чело-

век проклял корень и исток жизни, молчавшие друзья заговорили, закричали, ужаснулись. «Если ты наказан, значит, грешен. Покайся, и Бог простит тебя» — таков был смысл их речей. И голос Иова, голос подлинного горя восстает и сметает эти зауценные, не прошедшие через собственный душевный опыт рассуждения. Вся их логика, вся их божественная бухгалтерия жалка и преступна перед величием горя. «Неужели мало вам моего страдания, что вы хотите найти на мне еще и вину?! — говорит им Иов. — Друзья мои, неужели вы не можете пожалеть меня и помолчать?»

Но друзья не унимаются. Довод за доводом, одно соображение за другим выставляют они против Иова. И вот вся эта гора логически безупречных фраз рассыпается от грома живого божьего голоса. Сам Бог отвечает Иову из бури, и все смолкают: «Из вас нет ни одного, равного Иову, — говорит им Бог. — И хотя Иов говорил против Меня, а вы все за Меня, он правее вас всех. И не с вами, а с Иовом буду говорить Я!» — гремит Яхве из бури. Так сама Жизнь, сам ее вечный огонь ворвался в этот спор, отшел, отбросил как мелкое и недостойное все представления маленьких людей о высших законах, как о своих счетоводческих книгах, и обратился к подлинному отчаянию, чтобы вызвать его на своеобразное состязание.

«Кто этот помрачающий промысел речами без смысла? Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай Мне... Где ты был, когда я основал землю, скажи, если обладаешь ведением?... Дошел ли ты до источников моря и по дну морскому ходил ли? Открывались ли для тебя врата смерти... Где дорога к жилищу света? Скажи, если знаешь все это».

Не похож ли этот голос на внутренний голос Сократа, голос, повелевший ему познать свою ограниченность, чтобы почувствовать живую безграничность жизни? Тот самый голос, который велел ему сказать: я знаю только то, что я ничего не знаю?

Потрясающую картину величия мироздания разворачивает Бог, и каждый раз спрашивает: Можешь ли вместить все это?! Если отвергаешь и проклинаешь, значит не понял смысла всех вещей, смысла самой жизни до конца. Другими словами, голос Бога, гремящий из бури, хочет, чтобы человек никогда не терял интуитивное доверие к жизни, знал бы, что жизнь больше, значительнее любых страданий. Живая любовь и доверие к жизни должны вырасти в тебе, углубиться вместе с ростом твоего страдания. Душа должна быть достойна своего страдания, должна перерастать его.

Разве не таков ответ Бетховена слепой Судьбе, лишившей его слуха? Он ответил ей бесконечным ростом и углублением своей души, ответил глубочайшими сонатами и гимном радости — Девятой симфонией. Ответил светом на боль. Такого ответа ждал от Иова громовый Бог. Он ворвался в душу Иова в вихре и буре, потряс эту душу величием и красотой, — и вот Иов признал себя побежденным. Это то поражение, кото-

рое выше победы, которое открывает простор для преображения души. Так можно быть побежденным красотой, музыкой, любовью и только вырастать и обогащаться от этого поражения. В тебе побеждено мелкое — великим, тленное — вечным.

Это вечная тема. Она не умерла и в XX веке. Стихотворение Рильке глубоко созвучно книге Иова:

*Как мелки с жизнью наши споры!
Как крупно все, что против нас!
Когда б мы поддались напору
стихии, жаждущей простора,
мы выросли бы во сто раз.
Все, что мы побеждаем — малость.
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
зовет борцов совсем не тех!
Так ангел Ветхого Завета
нашел соперника под стать —
как арфу он сжимал атлета,
которого любая жила
струною ангелу служила,
чтоб схваткой гимн на ней сыграть.
Кого тот ангел победил,
тот правым, не гордясь собою,
выходит из любого боя
в сознаны и расцвете сил.
Не станет он искать побед —
он ждет, чтоб высшее начало
его все чаще побеждало,
чтобы расти ему в ответ.*

(Перевод Б. Пастернака)

Итак, богоборчество Иова кончается новым осмыслением божества, углублением и ростом образа Яхве. Иов похож на пытаемого, на терзаемого коршуном Прометей. Прометей был, как и Иов, добрейшим и лучшим, и так же, как Иов, страшно был вознагражден за это. Но его богоборчество кончилось полным поражением его бога. Человеческий разум и чувство справедливости осудили Зевса. Яхве богословов и жрецов тоже осужден разумом. Но Яхве духовидцев и поэтов потряхнул оковы человеческих представлений о Себе и появился во всем величии Своей бесконечности.

Если Яхве познан и изучен, если он окончен, Иов может и должен его судить. Но если Иову предстоит понять, что кумир, принятый им за бога, вовсе не Бог, если Иов должен узнать, что он ничего

не знает, тогда перед ним открываются бесконечные горизонты. Не судить, а учиться и расти надо ему. Яхве предстает как безмерность, многоплановость, глубина жизни.

Можно ли проклинать жизнь за то, что в ней много страданий? Это основной нравственный вопрос, который во все времена ставит перед собой человечество. С огромной силой звучит он у Достоевского в устах Ивана Карамазова. Иван не находит ответа. Рационально, взвешивая и измеряя «эвклидовым умом», его найти нельзя. Его можно найти только любовью, душевной интуицией. Можно сердцем принять жизнь, которая больше и прекраснее «эвклидова ума» и достойна доверия. Достоевский отвечает на этот вопрос примерно так же, как и Иов, недаром он так любил эту книгу. Его Иван «возвращает билет» на вечную гармонию, как Иов проклинает ночь, в которую был зачат, и день, в который родился. Однако голос самой жизни, голос красоты, любви, «клейкие листочки», его собственная совесть, — все это, как раскаты приближающейся грозы, которая должна будет перевернуть и потрясти эту душу. До того, что он «полюбит жизнь прежде смысла ее»^{*}.

Сюжетную схему книги Иова взял и Гёте для своего «Фауста». Там тоже Бог и Сатана спорят за душу человека, которая сама должна выбирать, с кем она. И даже если мятущаяся душа оказывается временно в плену у зла, она правее тех праведников, которые знают только рассудочное, измеренное добро и не подозревают о безмерности и глубине жизни.

По-разному, несхожими путями эллины и евреи подходили к одному и тому же. Пережив кризис героизма, народы эти дали новых мудрецов, в чем-то близких друг другу. Христианство, которое впоследствии родилось из новой волны пророческого движения, смогло поэтому объединить на какое-то время весь средиземноморский мир.

Но перед тем как родить это новое учение, религия Яхве пройдет через новые кризисы. Вавилонский царь разрушит Иерусалим. И рассыпанные по всему древнему Востоку, пригнанные в Вавилон, евреи создадут свои песни-плачи, полные тоски по родине.

Предшественником этих песен, запечатленных на страницах Библии, был плач Иеремии на развалинах Иерусалима. Великий мудрец, вдохновенный пророк Иеремия предсказывал гибель своему любимому городу, в котором слишком много появилось расчетливых политиканов. Он хотел духовного, а не политического величия своего народа. Но его обвинили в измене и бросили в тюрьму. Только разрушивший город враг освободил его. Эта свобода была для него страшнее смерти. Это была свобода плача.

^{*} Внутренняя сложность героя Достоевского в данном случае выносится за скобки.

Плач был записан, стал книгой — одной из прекраснейших книг Библии. А люди остались такими, какими были. Большинство даже было склонно вернуться назад, к подчеркнутой национальной обособленности. Когда евреи возвращаются в Иерусалим и начинают восстанавливать свой город и храм, Яхве в умах толпы превращается в Бога, отгораживающего евреев от всех других народов. Появляется энергичный знаток писания Ездра. Он дополняет свод законов, приписанный Моисею, и убеждает евреев выполнять все предписания до малейших подробностей. Выступая перед народным собранием, Ездра сумел так настроить его, что многие поклялись разойтись с женами-язычницами и до гроба оставаться верными закону Моисееву. Под влиянием страха утратить свою самобытность создаются бесчисленные запреты, пепел обрядности скрывает пламя пророков, некогда столь могучее.

Влияние Ездры надолго определило характер иудаизма. Оно было поддержано обстановкой, сложившейся после изгнания евреев из Палестины (II в.). Диаспора (рассеяние) заставляет искать в жестких рамках веры что-то вроде государственной границы нации. Однако иудаизм и в средние века, в обстановке преследований со стороны фанатиков новых мировых религий, нельзя свести к одной застылости, преклонению перед буквой, благоговейному переписыванию без изменений даже очевидных, объясненных в примечаниях грамматических ошибок и описок Библии (такой обычай был у евреев). Во всякой долговечной религии за тысячи лет ее развития были и смелые мыслители, и вдохновенные поэты, и талантливые музыканты, создатели искренних и глубоко человеческих обрядовых песнопений. Иудаизм не составляет здесь исключения*. Наиболее замечательные вспышки его творческих сил — каббала и хасидизм. Хасидские легенды, собранные и переведенные Мартином Бубером, — одно из сокровищ мировой культуры.

Каббала была своего рода мистической философией, попыткой разумно ответить на вечные вопросы: каким образом возможен бренный мир, если Бог вечен; несовершенство и зло, если Бог совершен и благ? Ответ заключался в том, что Бог — сердцевина бытия. Эту сердцевину окружает ряд сфер, подобных слоям луковицы. Обыденное незнание живет среди шелухи; мудрый вглядывается в глубину, открывает слои, все более совершенные, созерцает искры Божьего огня и в конце концов прозревает чистое благо. Эта идея восходит к неоплатонизму, в христианском богословии ее развивал Августин. Каббала внесла в гнозис разработку системы сфер, вложенных одна в другую.

* Можно вспомнить имена поэта Иегуды бен Галеви, философа Маймонида, Ибн Габироля (в латинской транскрипции Авицеброна) и др.

Хасидизм принял эту философию или теософию, но превратил интеллектуальное познание глубины и интеллектуальную любовь к Богу в простое, непосредственное, сердечное чувство. Начал это движение рабби Израэль бен Элиезер, прозванный Баал Шем Тов (владыка имен, чудотворец). Он жил в начале XVIII века. Еще не изгладилась тогда память о волне погромов, унесших сотни тысяч жизней, и об обманутой вере в Бен Цви, лжемессию, кончившего свою авантюру переходом в ислам. Баалшем переломил настроение еврейских общин, открыл источник внутренней радости, свободы от страха и ненависти, источник веселия духа. Хасидизм породил тысячи легенд и напевов о практических мудрецах, без всякой философии приходивших к истине.

О Зусе (ученике Бер Дова — ученика Баалшема) рассказывают, что он не мог учиться: первое упоминание слова «Бог» приводило его в экстаз, учителю приходилось выгонять юродивого на улицу. Он забирался в хлев и там продолжал вопить: «и сказал Господь!». Над ним смеялись. Но однажды Бер Дов сказал: «Если бы вы поняли одно слово Писания так, как Зуся, — не было бы нужды учить вас». В другой раз к Бер Дову пришли с вопросом: «Как это в Писании сказано, что надо принимать кислое как сладкое?». Бер Дов ответил: «Спросите Зуся». Зуся сидел на ступеньках синагоги (вечно больной, бедняк бедняком). Выслушав вопрос, он сказал: «Вы напрасно ко мне обратились. Я в жизни не встречал ничего худого».

По хасидской легенде, Зуся обладал даром видеть грехи ближних. Но его огорчало, что он своими внезапными обличениями обижал людей. Бер Дов, по его просьбе, помолился, чтобы освободить его от бремени дара; однако дар только изменил свое направление: с этих пор Зуся видел грехи ближних как свои собственные и с плачем исповедывался в них.

Спутники религиозного рвения — легковерие и фантазия. Хасидизм не избежал их. Но традиция Баалшема не умерла. Она выдержала испытание гитлеровских лагерей смерти. В одном из них, Дахау, была найдена молитва безвестного еврея, видимо хасида, написанная на клочке оберточной бумаги:

«Да престанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников...

Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе... Прими во внимание добро, а не зло. Пусть мы останемся в памяти наших врагов не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе

за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего больше мы не хотим от них».

Эту молитву, напечатанную в «Зюддойче цайтунг», несколько раз вспоминал в своих проповедях вл. Антоний Сурожский. Оттуда мы и берем текст ее.

Бог есть любовь (христианство)

Новый Адам

Все религии начинаются с призыва внутренней непостижимой глубины; но распространяются они в условиях, подготовленных историей. Это можно сказать и о христианстве.

К началу нашей эры духовный кризис охватил все Средиземноморье — народы большие и малые, великий Рим и покоренную Иудею. Греко-римские боги давно уже были духовно немощны. Религия Яхве также встала перед вопросами, на которые у нее не было ответа.

Пророки предсказывали пришествие спасителя (мессии), избавителя от всех страданий. Иудея ждала своего мессию с огромным духовным напряжением. О том, каким он должен быть, как и откуда появиться, спорили различные религиозные секты. Еще не появившись, он успел стать не только легендой, но и идолом. А время требовало рождения нового живого духовного идеала.

В огромной Римской империи сложилась взаимозависимость нескольких десятков миллионов людей, но не было прочного чувства солидарности между ними, общего идеала, общепринятой морали. То, что почитали одни, презирали другие, и таких несводимых вместе систем были десятки. Можно себе представить, какой из этого получался хаос, как падало уважение ко всяким нормам и правилам. Древние историки в один голос жалуется на упадок нравов. Нужна была объединяющая всех мировая религия, которая могла бы заполнить духовный вакуум.

Такой религией стало христианство. Христиане приняли эстафету пророков и утверждали, что основатель их учения Иисус Христос — тот самый мессия (греческое слово «христос» соответствует древнееврейскому «мессия» — спаситель), который может избавить мир от страданий и даже от смерти. И они обращаются не только к евреям, среди которых родилось учение, но ко всем людям мира, называя всех своими братьями и провозглашая: «Несть во Христе ни эллина, ни иудея» (апостол Павел). Перед лицом единого Бога все нации, все общественные состояния были равны. Христиане создают Новый Завет, сравнительно с которым старая еврейская Библия

стала называться Ветхим Заветом. В случае, если Ветхий Завет противоречил Новому, новое отменяло старое. И самое важное в этих отменах — не обрядовые изменения (вместо субботы стало праздноваться воскресенье, вместо обрезания младенцев было введено крещение), а общий поворот: новое оказывалось лучше старого. «Новый Адам», то есть новый человек, противопоставляется в Евангелиях старому, «ветхому», новое вино — старым мехам («Не вливайте вино новое в мехи старые...»).

Во всех примитивных и архаических религиях старое лучше нового (сравните: «старое доброе время»). В еврейском мессианизме, в головах странников, оторванных от земли предков, торжество добра переместилось в будущее. Но только в христианстве идея лучшего будущего (для всех племен и народов) слилась с идеей нового, преображенного человека, человека, которого прежде не было, которым христианин должен стать по примеру Христа.

Даже мысли о движении к «светлому будущему» — отголосок Евангелия. Из мифологии греков или индусов эта идея не могла бы родиться.

Евангелие означает «благая весть» (весть о спасителе). В Новый Завет, канонизированный церковью, входят четыре Евангелия, написанные учениками Иисуса или учениками его учеников (Матфея и Иоанна, Марка и Луки). О чем же говорили Евангелия? Каков новый идеал, провозглашенный ими? О чем без слов говорит иконография, церковная музыка и все остальное духовное наследие христианской культуры?

Не человек для субботы, а суббота для человека

Четыре Евангелия — это четыре рассказа об Иисусе Христе и четыре изложения его проповедей и притч. Евангелия варьируют события, дополняют друг друга, авторы придают описаниям индивидуальную окраску, рассказы совпадают или не совпадают, но так или иначе они создают единый и цельный образ.

Что же в этом образе необыкновенного, так выделяющего его из всей череды библейских пророков?

Прежде всего, никто из них не обладал той степенью духовной свободы, которая присуща Иисусу. Подлинная свобода начинается там, где прерывается инерция. Образ Бога — родоначальника всякой религии — это образ того, кто разрушает инерцию, выходит из подчинения старым законам, отменяет старые запреты, табу. Все новые боги были такими дерзновенными победителями, зачинателями, которые не шли по проторенной колее, а прокладывали ее сами, не слушались

авторитетов, а сами были авторитетами, дерзали безраздельно доверять самим себе — без оглядки на кого бы то ни было.

Таким был и евангельский Учитель. Однако есть в Нем и что-то такое, чего в других новых богах не было. Он утверждает не только личную свою божественность, а общую всем людям способность к обожению (теозису). Называя себя «сыном человеческим», он говорит, что каждый человек может достичь божественной высоты, свободы в Боге*. Дух человеческий ставит он выше всех авторитетов, вековых установлений, законов. Он напоминает людям о том, что законы творились духом, который внутри них самих, и призывает людей к высокой творческой свободе.

Пророки обличали лицемеров, людей мертвой обрядности, оставшихся в душе жестокими и лживыми. Но ни один пророк не дерзнул пренебречь обрядом, установленным Моисеем, поставить новое вдохновенное чувство истины выше вековых предписаний. Это сделал только Иисус.

Одна из важнейших заповедей моисеевых гласила: «Чти день субботний». Первоначальный смысл заповеди — необходимость прервать череду будней, необходимость внутреннего праздника — благоговейного и углубленного отношения к жизни. Но этот смысл потускнел. Оставались незыблемыми строжайшие правила, запрещавшие в субботу заниматься какими бы то ни было делами, в том числе лечением больных. Иисус перешагнул через букву закона. Он исцелял, не считаясь с днями недели. В ответ на упрек он сказал: «Не человек для субботы, а суббота для человека». Это не значит, что Иисус отменил закон. Но он отменил буквальность закона. Он говорил, что закон пишется главным образом не в книге, а в человеческом сердце. В человеческом сердце записана потребность в благоговейной праздничности. А в субботу она читается или в другой день — не важно. Важно, что сегодняшнее непосредственное чувство истины выше вчерашнего, воплощенного в слове, в законе. Важно, что человек перестает быть рабом созданий своего собственного ума.

Установка на внутреннее чувство, на интуицию помогла впоследствии христианству преодолеть «буквы» традиции разных народов, впитать в себя «дух» традиций не только еврейских, но также греческих, египетских, сирийских, стать великим синтезом средиземноморской культуры.

* Августин различал две ступени свободы: свободу поисков Бога и свободу в Боге, когда нет никакого выбора и человек творит волю Бога, совпадающую с его волей; отсюда его известное изречение: «Полюби Бога и делай, что хочешь».

Внутри нас

Идеалом древних греков была соразмерность, гармония видимая и выявленная, гармония отдельного предмета. Идеалом древних иудеев была безмерность — нечто невыявленное, не воплотившееся ни в чем предметном. Безмерность, которая проявляется невидимо в сердце человека, как нравственный порыв, говорит с ним, как совесть. Идеал греков эстетически закончен; идеал иудеев — непредставим, пластически не оформлен. В одном случае — красота, довольно безразличная к нравственности; в другом — нравственность, совесть, довольно глухая к внешней красоте. Христианский идеал включал в себя и зримую красоту и нравственный порыв, безмерное и соразмерное. Только это не было механическим соединением того и другого, а чем-то новым, преображенным, третьим. Красота в прежнем смысле — гармония отдельного предмета — нарушена. Но невидимая, невыявленная, только угадываемая прежде безмерность, пугавшая греков (рок, судьба) и притягивавшая иудеев (Сущий), выявляется и ощущается как новая красота, новая гармония — гармония человека, вместившего в свою душу безмерность.

Древние евреи запрещали делать священные изображения. Священное бесконечно, непредставимо, неизобразимо. А греки делали прекрасные изображения своих богов и не понимали, как можно чтить бога без образа. Апостолы примирили еврейское чувство Бога с греческим: «Бога не видел никогда и никто. Единородный Сын, сущий в недрах Отчих — Он явил». Христа видели толпы, и после его смерти верующие видели его образ. Христа можно было изобразить. Но христианин поклоняется не изображению, а сквозь него — невидимому Богу. Икона — не портрет и не идол; это символ священного, это сосуд, форма, в которую вместились бесконечное, превосходящее всякую форму, — подобно тому как Сын сделал зримым незримого Отца. Икона — это окно в небо, дверь в бесконечность. Такое понимание иконы установилось не сразу; в Византии были иконоборческие движения, но в конце концов почитание икон утвердилось.

Попробуем взглянуться в «Троицу» Андрея Рублева. Просто взглянуться, ничего не думая о сюжете, «вслушаться» в ритм линий и красок, как в музыку. Можно ничего не знать о христианской символике Троицы и все же почувствовать какое-то светлое спокойствие. Радостна картина или печальна? Ни то, ни другое. Она больше радости, глубже печали. Она полна глубокого внутреннего света. И в свете как бы рождаются другие мерилы и становятся иными сами наши чувства. Они расправляются и вырастают, как вырастает горизонт, когда выходишь из тесной улицы в поле.

Три ангела, зашедшие к библейскому Аврааму и его жене Сарре, осознаны были иконописью как символ трех ипостасей (аспектов, «лиц») единого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Невозможно твердо «привязать» рублевских ангелов к той или иной ипостаси, настолько они внутренне едины. Отец — творческое начало, первопричина жизни; Сын — воплощение деятельной любви; Святой Дух, «веющий, где хочет», — их «вездесущность», разлитость во всем мире. Образ Троицы говорит о духовной гармонии, о божественной любви, связывающей все со всем. И эта внутренняя связь каждой души с другой воплощена в ритме линий и красок, «подключающих» нас к этой гармонии.

Иные иконы с первого взгляда кажутся застывшими, мертвыми. Но взгляните — и вы увидите, что внешнее движение уступило место внутреннему, углубленной, перенасыщенной духовной жизни. Покой иконы — это символ духовного равновесия, незыблемости внутреннего мира. Это так и в изображении Христа, и святых, и в иконах Богоматери. Дева Мария стала образом одухотворенной женственности, образом вечного целомудрия, приносящего великий духовный плод, рождающего Истину, Бога-Слово. Главное в иконе — глаза и руки, особенно глаза. Они возвышают и просветляют душу, размыывают границы личности и уводят за ее горизонт — к безграничной любви и нежности, которая способна, кажется, залечить собою все раны мира...

Идеал христианства — ощущение внутренней связи всех со всеми, ощущение бесконечности, как своей опоры. Отдельные предметы теряют свою законченность, уходят в бесконечность, чтобы завершиться в чем-то большем, чем они сами, — в мировом целом. И человек ощущает эту цельность, выходя из узких рамок личности, — в любви. Христианство формулирует свой идеал так: Бог есть любовь. Любовь — единственная сила, которая способна сплавить расколовшийся на осколки мир. Человек любящий гораздо больше присутствует в том, что он любит, чем в себе самом. И по мере возрастания любви возрастает чувство слияния со всем, что любишь, до того, что каждую боль и радость человеческую чувствуешь как свою собственную боль и радость. Тогда, при таком накале любви, человек теряет свою предметность, отдельность (отделенность), «смертность» и становится безмерным, вездесущим, бессмертным. Вот те метафоры, которыми пользуется Евангелие, рисуя образ нового Учителя. Он существует не только в Себе самом, а во всех и во всем. Он говорит ученикам своим, что когда они кормят голодного, они Его кормят, когда помогают больному — помогают Ему, своему Учителю. Зло — разделенность, дисгармония мира. Евангелие верит в возможность преодоления зла любовью.

Евреи ждали Мессию — все сильного спасителя, который установит на земле справедливость. Были тысячи примет, откуда и как дол-

жен был появиться Мессия. И вот человек, назвавший себя Мессией, пришел из Галилеи, о которой было сказано в Писании, что из нее ничего доброго не выходит. И человек этот назвал все внешние приметы и знамения игрушками ума. Он сказал: «Не придет царствие Божие приметным способом, и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо царствие Божие внутри нас». Христос увидел бесконечность внутри, как некое ему самому присущее свойство. Он перевернул мир извне вовнутрь, из внешней пустоты к внутренним источникам, от кризиса и исчерпанности к неисчерпаемости целостного переживания жизни. Бог древних иудеев был смутно ощутимым огнем жизни, далеким и непонятым, настигающим пророков, как вдохновение. Иисус почувствовал этот огонь близким внутренним светом, светом собственной души. И тогда произнес слова, которые до него никто не произносил: «Я и Отец — одно».

Большинство современных Иисусу иудеев восприняли эти слова как величайшее кощунство. Большинство позднейших христиан — как единственное и неповторимое чудо. На самом деле это был переворот в человеческом сознании, смысл которого именно в возможности повторять его. Слова Иисуса значат: произошло воссоединение. Если в ветхом Адаме человек отпал от Бога, то теперь, в новом Адаме, он воссоединился с Ним. Грех уничтожен. Человек из грешного стал безгрешным.

В чем заключался грех ветхого Адама? Если смотреть извне, то это понять трудно. Что сделал человек? Нарушил запрет Бога. Съел запретный плод. Если Бог — высшая сила, чуждая нам, повелевающая нам извне, то грех Адама и не грех вовсе, а пустяковая провинность. Но если понимать Бога как нашего внутреннего творца — того, кто создал нас и ежеминутно поддерживает нас в жизни, то нарушить Божье повеление, отпасть от Бога, значит быть в раздоре с законом твоей жизни, в конце концов — в разделении, в раздоре с самим собой.

После грехопадения Адама человеческая природа стала грешной, все люди пребывают в большей или меньшей степени в раздоре с самими собой, со своей глубиной, в отчуждении от мира и от своего Творца. Можно понимать это состояние отпадения как единственно возможное для человека. Но Иисус Христос утверждает, что это не так. Человек может и должен быть безгрешным. В нем не должно быть ничего, что разделяло бы его со своим Творцом. Человек — только сосуд. И сосуд этот может быть совершенно чистым, до краев наполненным любовью. Эта Любовь — все. Сам сосуд — ничто.

То, что извне кажется самовозвеличением, при взгляде изнутри оказывается предельным смирением и самоумалением. «Ничего не творю от Себя. Исполняю волю пославшего Меня». Иными словами: меня нет, есть только Бог, заполнивший меня. «Я умер, жив во мне Христос», — скажет впоследствии апостол Павел. Это и есть возмож-

ность повторить за Христом: «Я и Отец — одно». Христос вытеснил из Павла Павла, как Бог вытеснил из Христа человека. Этот человек есть, но его как бы и нет. Он до краев заполнен Богом.

Это и есть состояние безгрешности. Пока что Он один безгрешен. Но Он призывает всех быть подобными Ему. Он полагает в этом смысл человеческой жизни.

Он называет себя сыном человеческим. И в то же время знает, что Он сын Божий. Этот сын человеческий во всем подобен всем прочим людям, кроме одного: греха. Но если Он может быть безгрешен, то вся человеческая природа может очиститься. Она уже очистилась в Нем. Он явил собой, что такое человек. Человек создан по образу и подобию Божью и может воплотить в себе Бога. Хотя быть единым с Богом не значит быть равным Ему. «Отец мой более Меня», — говорит Иисус. Капля моря не равна морю, но она едина с ним. Цель Человека — стать единым со своим Истоком, быть не лужицей на морском берегу, а Морем.

Небеса не разверзлись при появлении Мессии, но требование раскрыться было предъявлено каждой человеческой душе. Внешний мир остается внешним до тех пор, пока нет подлинной любви к нему. Для любящего нет ничего внешнего — весь мир внутри него.

Спаситель, Мессия — не тот, кто исполнит все чаяния грешного мира, а тот, кто сможет сделать этот мир безгрешным. Но это невозможно одному. Мир должен поверить Мессии, полюбить его и сотрудничать с ним, точно так, как Он сам сотрудничает с Богом.

Чудо

Поэтические напряженные минуты, в которые Моисей и другие пророки «видели» огненное чудо (Бога), приходили и проходили, оставляя горящий след в душе. Тот, о ком говорят Евангелия, жил в чуде, как в чем-то простом и обычном. Чудо для Него не было чем-то сверхъестественным. Чудо это норма. Его норма. Это и есть жизнь. Надо только иметь незамутненное свежее сознание, незамутненную душу — и будет видно, что жизнь есть чудо. Не надо ходить далеко, надо только отмыть глазной хрусталик души, чтобы он ясно видел. «Ищите царствия небесного, а все остальное приложится вам», — говорил Он. Царствие небесное — духовный мир, то, что внутри. Надо искать, раскрывать в себе ту глубину или высоту внутреннюю, с которой виден мир в своей цельности, в своей истинности, без искажений.

Научиться видеть и слышать — вот основной постоянный призыв, проходящий через все Евангелия. «Имеющий уши, чтоб слышать, да слышит». «И видя, не видите, не разумеете, слыша». Второй же, не менее настойчивый призыв — верить. Вера и внутреннее духовное

видение — это собственно одно и то же. В обоих случаях речь идет о том, чтобы увидеть, почувствовать жизнь как единое целое, а не как набор разрозненных, противоречивых фактов, каждый из которых подступает к человеку со своими требованиями и угрозами. Доглядеть мир до его невидимой Сути, до Сущего. Праздник наступит, если верить, что он возможен и что все заботы могут быть отодвинуты в сторону. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут! Не трудятся, не прядут. Говорю же вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как любая из них». Это — та полнота жизни, поэтического чувства, та целостность видения, в которой тонут будни, раскалывающие мир на тысячи дел, и мир воскресает как праздничное ликование: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, малoverы!».

Человек, видящий лишь частности, как бы последовательно ощупывает мир. Человек, обладающий целостным видением, подобен имеющему глаза, которыми охватывается сразу огромное пространство. Противопоставление духовной зрячести слепоте не раз повторяется в Евангелии. И чудо отверзания очей слепорожденным, которое творит Христос, — это чудо нового зрения, которое он дает людям. Легенда обретает смысл только в контексте, из которого ясно, насколько больше значения придавал Иисус зрению духовному, чем физическому.

Толкование евангельских текстов, толкование слов Христа всегда оказывается перед выбором: дух или буква? Слова или их смысл? Есть легенда, рассказывающая о том, как Иисус однажды накормил двенадцатью хлебами 5 тысяч человек. Большинство христиан, для которых вера есть доверие к буквальному смыслу евангельских слов, принимают на веру и это сообщение. Кстати сказать, оно тоже вполне вероятно. Какой-нибудь сильный гипнотезер и сегодня может внушить группе людей, что она ест хлеб, пьет вино и т. д. Но в чем внутренний смысл легенды? «Заботьтесь о пище духовной, а не тленной», — говорит Иисус. «Те, кто едят хлеб, умрут, а я дам вам такой хлеб, который будете есть и не умрете». Совершенно ясно, что речь здесь идет о духовной пище, так же как о духовной, а не о физической жизни. Свое слово Иисус называл пищей, дающей вечную жизнь. Все эти иносказания ставили в тупик и его современников, и потомков.

Притча — не просто способ разьяснять мысль Христа; это сама форма его мысли. Он думает притчами, как поэт думает стихами.

Один из фарисеев, Никодим, ставший впоследствии учеником Христа, пришел к нему однажды ночью с просьбой разьяснить ему смысл слов: «Ты сказал — никто не войдет в царствие небесное, если не родится вновь. Как же так? Неужели мы можем войти второй раз во чрево матери и родиться снова?». И Христос объяснял одно иносказание другим: «Только безумный может так понять. Плоть от плоти родится, а дух

от духа». Смысл того, что Ему нужно сказать, не может быть высказан в лоб, как научное сообщение. Каждая притча — намек. Притчу поймет только тот, кто переживет ее, откроет в самом себе. И тогда произойдет чудо узнавания.

Христос в Евангелии часто творит чудеса. Но он никогда не творит чуда один, навязывая человеку свою волю, хотя бы и добрую. Человек должен быть сотворцом чуда. Только вера творит чудеса. Поэтому в одних случаях Христос идет по волнам как посуху, останавливает ветер и волны, исцеляет и воскрешает людей, а в других не может совершить ничего. Так было в его родном Назарете*, где люди отказались «сотрудничать» с Ним. Им казалось невероятным, чтобы их родственник и сосед был чудотворцем, и для них он никогда и не стал им. Отсюда пословица, взятая из Евангелия: «Несть пророка в своем отечестве». Для людей, неспособных увидеть чудо в глубине обыденного, повседневного — чуда действительно нет.

Одна из самых ярких, глубоких и в то же время приводящих многих в недоумение страниц Евангелия — рассказ о воскрешении Лазаря. Лазарь был одним из любимых учеников Иисуса. И вот он умер. Иисус подходит к его дому. Его встречает плачущая сестра умершего Марфа со словами: «Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус сам заплакал, но сказал ей странные слова: «Веришь ли, что брат твой воскреснет?».

Вера в воскресение мертвых была распространена среди фарисеев и в некоторых других иудейских сектах. Поэтому нет ничего удивительного, что Марфа ответила: «Верую, Господи, знаю, что воскреснет в последний день». На это Иисус говорит ей завораживающие, но не вмещающиеся в сознание слова: «Я есмь воскресение и жизнь вечная. Верующий в меня если и умрет — оживет, а живущий и верующий в меня не умрет вовек».

Можно ли принять эти слова буквально? Как понять тогда «живущий и верующий в меня не умрет вовек»? Апостолы, безусловно веровавшие в Христа, умерли. Очевидно, мы опять имеем дело с многоплановым иносказанием. Можно представить себе Лазаря, физически воскресшего, но духовно пустого (такой рассказ написал Леонид Андреев). Тогда это будет «тот хлеб, который едят и умрут». Иисус же все время говорит о хлебе бессмертия, то есть о новом ощущении жизни, в которой нет места для смерти, — о жизни вечно творящей, бьющей из глубины внутреннего источника, наполненной, переполненной. Жизнь вечная — это жизнь без страха, без пустоты, живое бессмертие. Сам Иисус и есть такая жизнь. И все, что нужно этой жизни, — возможно. Собрав в себе весь свет, он становится духовным

* Мы отвлекаемся от того, что фактически Назарета в начале нашей эры, возможно, не было. В Евангелии этот город есть, и мы анализируем легенду.

солнцем, творящим жизнь прямо на глазах. «Встань, Лазарь!» — и Лазарь встает. Надо поверить, что перед тобою духовное солнце, остальное приложится. И евангельскому Лазарю, восставшему из своего гроба, и всем остальным Лазарям, духовно мертвым еще при жизни. Есть иерархия в понимании чуда. Главное — воскресение духа*.

Кесарево — Кесарю, а божие — Богу

Часто говорят о противоречиях в Евангелиях. Противоречия там, действительно, есть. Христос ничего не писал. Запомнилось то, что Он говорил в разное время, в разных обстоятельствах, — каждый раз то, что нужно было здесь и теперь. Целостность Евангелий не в системе (ее нет), а только в личности Христа. Никаких рецептов и прямых указаний евангелисты, видимо, и не хотели дать. Скорее они хотели дать живой нравственный пример, «заразить» Христом. Поэтому Евангелия написаны не в виде догматов или рассуждений, а в виде рассказов из жизни Учителя, часто противоречивых, если брать их вне контекста, вне отношения к данному случаю.

Как быть с грешниками? Как искоренить зло? Иисус нигде не дает рецептов на все случаи, но Он знает, как в каждом случае поступить, и хочет передать эту способность **знать самому**. Это нечто прямо противоположное тому, что внедряли фарисеи, книжники.

И опять разгорелась та же древняя борьба внутреннего и внешнего, что и во времена пророков, только еще более напряженная. Фарисеи без конца проверяют, «искушают» Христа, по евангельской терминологии, хотя пытаются поймать Его на незнании или нарушении закона. Но Он все время уходит от любых ответов, ускользает из расставленных ловушек, обладая как бы иным способом рассуждения, не только логическим, а еще и интуитивным — умением подняться над противоречием, обратить вопросы извне вовнутрь.

Однажды фарисеи привели к нему женщину и сказали, что застали ее в прелюбодеянии. «Что с нею делать? Моисей велел побивать таких камнями, а ты что скажешь?» Христос сидел на земле, глядя вниз, и что-то задумчиво чертил на песке пальцем. Потом он поднял голову, посмотрел на женщину и ее обличителей и сказал: «Кто сам без греха, первый брось в нее камень». И снова стал чертить что-то на песке. Когда он поднял голову, рядом с женщиной никого не было. «Ну что, женщина, обличители твои ушли? — сказал Он. — И я не брошу в тебя камень. Иди и не грехи больше».

* Все сказанное не отвергает возможности физического воскресения Лазаря. Духовная сила Христа воистину безгранична и творит чудеса. Но есть иерархия в понимании чуда. Прежде воскресение Духа, а потом человека.

Другой раз фарисеи подступили к Нему с вопросом — надо ли платить подать кесарю. Вопрос был явно провокационный. Если Он ответит «нет», он покажет этим свою гражданскую нелояльность; если «да», то какой же он Учитель справедливости? Иисус обманул их ожидания. Он попросил дать Ему динарий. Ему дали. «Чье на нем изображение?» — спросил Иисус. На монете был изображен кесарь. «Так отдайте кесарю кесарево, а Богу Божье», — сказал Он.

Что означает этот ответ? Видимо, Иисус хотел сказать, что Он все не призван разрешать социальные проблемы. Он не дает частных тактических советов. Он занят вопросами духовными. Он — учитель нравственности. Он хочет, чтобы каждая человеческая душа исполнила свой долг по отношению к целому, к миру, приобрела бы внутреннюю собранность и способность самостоятельно ориентироваться. Он не хотел, чтобы люди механически следовали Его советам, иначе человечество будет на протяжении всей истории разыгрывать сказку об Иванушке-дурачке, который говорит на похоронах «таскать вам не перетаскать», а на свадьбе плачет.

Человек должен отдавать Богу Божье (то есть не забывать о глубочайших пластах своей души) и одновременно уметь выполнять конкретные жизненные задачи так, чтобы они не вставали поперек его основной духовно-нравственной задачи. Если «кесарево» задушит «Божье» (духовно-нравственное), если их нельзя будет совмещать, если «кесарь» потребует от человека попрания святынь, отказа от человеческого достоинства, то очевидно, он потребовал не своего, а «Божьего», и тогда кесарю надо отказать, всей жизнью своей стать поперек его требований.

Духовная бескомпромиссность — одна из важнейших добродетелей, заповеданных Иисусом. Таков внутренний смысл слов: «Я принес вам не мир, но меч. Разделяю отца с сыном и мать с дочерью». Как совместить эти слова с другими: «Блаженны миротворцы»? Или со словами, сказанными Петру, пытавшемуся защитить своего Учителя мечом: «Взявший меч от меча и погибнет»? «Меч» в случае разделения отца с сыном — чисто метафорический, духовный, а не материальный. Это призыв к духовной бескомпромиссности. Духовный спор нельзя растворять и сглаживать. Идеал должен оставаться живым и чистым. И в то же время спор нельзя решать оружием. Все, кто отвечает ударом на удар, так или иначе плодят зло.

В центре Евангелий от Матфея, Луки и Марка находится знаменитая Нагорная проповедь (проповедь, произнесенная на горе), где изложены все основы христианской нравственности. Проповедь необычна не только по сути своей, но и по форме. Учитель противопоставляет свое понимание нравственной нормы, долга и счастья всему, что было до Него. Однако Он не отменяет, не уничтожает старое, а как бы углубляет и развивает его. Именно чувствуя свою связь со всей многовеко-

вой традицией, свою верность ее духу, Он мыслит себя самого, как ее продолжателя, творца, а не слепого раба, и выступает от имени всего лучшего, что охраняет традиция, от имени ее святыни, ее Бога. Верность этой святыне дает Ему внутреннее право отождествлять себя с ней. И Он решительно противопоставляет себя букве закона. Через всю проповедь проходит, как рефрен: «Сказано в законе, а Я говорю вам...».

Фольклорное сознание, фольклорная религия основаны на господстве памяти, на господстве прошлого. Новое приходит скорее нечаянно, чем нарочно. Старое забывается и вспоминается с ошибками. В ошибки вступает новое. Потом человек осмысляет то, что задержала память, сознает себя, как защитника и толкователя священной древней истины. Появляются пророки. Они пишут книги, на которых лежит отпечаток личности. Но только в Нагорной проповеди Христа слышится голос личности, совершенно осознавшей свое авторское право, внутреннее право создавать новое.

«Сказано: “не убивай”, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Какому суду? Какой суд в истории судил за гневные мысли? Никакой. Но не внешняя, судебно-правовая сторона важна евангельскому Учителю; Он отделяет от права нравственность. Ему важен внутренний суд, суд совести. Системы наказаний он не предусматривает. В тех случаях, в которых это зависит от Него, Он ее бесконечно ослабляет («иди и не греши больше» — вот и все наказание). Но внутренние нравственные требования человека к самому себе он увеличивает бесконечно.

«Сказано: “не прелюбодействуй”». А я говорю вам: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Что это значит? Женщину, которую застали «на месте преступления», наказывать не захотел, а того, кто только мысленно совершает подобное, Учитель осуждает? Но с точки зрения внутренней мысли или поступок неразличимы (или почти неразличимы). Если есть любовь в душе и в поступках — это прекрасно. Но если вместо любви одна голая чувственность, то это плохо, независимо от того, дошло до каких-то поступков или нет.

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противьтесь злему, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего своего и ненавидь врага своего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте обижающих вас... Ибо если будете любить только любящих вас, то какая вам награда? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники?» Эти последние заповеди вызвали более всего недоумений и возражений. Осмыслить их не так-то легко. Для этого надо дойти до очень большой высоты, до

такого духовного равновесия и духовной неуязвимости, при которых никакое оскорбление не может тебя оскорбить — просто не достанет до тебя. Вспомним, как князь Мышкин (в романе Достоевского «Идиот») получает пощечину от Гани Иволгина. Князь потрясен, пристыжен, но... за Ганю, не за себя. И разве может прийти ему в голову ответить Гане тем же?

Только этот новый, поднявшийся до небывалой нравственной высоты человек смог бы сдвинуть горы предрассудков, горы окаменелой межнациональной и религиозной ненависти и подойти к общечеловеческим задачам, начать духовное объединение всех людей.

Заповеди Христа станут просто смешными, как только их понимают как внешнее предписание, как закон. **Соблюдать** можно заповеди Моисея (не воруй, не лги и т. д.). Заповеди Христа невыполнимы. Это, собственно, не заповеди в обычном смысле слова, а описание «нового Адама», нового идеального характера, которому никакие заповеди не нужны.

Нагорная проповедь — это, по существу, словесная икона, не норма, а идеал. Начинается она с «заповедей блаженства». Достигнув блаженства оказывается вовсе не тот, кто достиг «благ земных», а скорее совсем наоборот: тот, кто понял их незначительность, недостаточность и полюбил нечто большее. «Блаженны плачущие и неудовлетворенные», «блаженны алчущие и жаждущие правды», «блаженны миротворцы, блаженны милостивые, чистые сердцем, изгнанные за правду»... «Радуйтесь и веселитесь — так гнали и пророков, бывших прежде вас». Если подставить на место такого блаженного среднего человека, то для него все это неправда, но это правда для библейских пророков и для Сократа, предпочитавшего казнь участи палача или равнодушного. Это «блаженство» насыщает душу, а не тело, и поэтому нищий способен почувствовать его гораздо скорее, чем пресытившийся.

Первая заповедь блаженства звучит на наш слух весьма странно: «Блаженны нищие духом». Однако это парадокс, который полон внутреннего смысла. Духовно богатый человек чувствует себя, как дома, в мире идей, символов, обрядов. Он великолепный знаток своего дела, вполне удовлетворенный тем, что делает, что знает. Он имеет свою законченную систему взглядов и закрыт для живого потока Духа, который веет, где хочет, и часто совсем не там, где Его ждали люди. Во все не духовно нищие, а богатые духом книжники и фарисеи, имевшие свои четкие представления о грядущем Мессии, отвергли живого Мессию.

Быть нищим духом значит быть готовым всегда воспринять всюду веющий и никогда не застывающий в окончательную форму Дух. Предстать перед Бесконечностью, как нагой Адам перед Богом. Никакой защиты. Никакого укрытия.

Богатство — то, что накапливают, что является твоей собственностью. Но Дух нельзя накопить и присвоить. Нельзя «накопить», остановить Дыхание. Дух — не мой. Он — ничей и всех. Он тот, кто проходит сквозь всех и единит всех.

Человек — это колодец, который может быть заполнен только Богом, — сказал Антоний Блум. Но Бог — это нечто неисповедимое, не представимое нами. Мы должны быть готовы на Тайну. На незнание. И на живое причастие Тайне. Так ребенок причащается каждому новому утру, как первому утру; поэт — каждой новой весне, как первой. Ничего до этого мгновения не было. Мир не принадлежит мне. Я принадлежу Миру. Нищий духом тот, кто не имеет никакой опоры вовне. Только внутри. У него ничего нельзя отнять. У него уже все отнято. Он ничего не имеет. Он ЕСТЬ.

Скоро Иисусу пришлось доказать, что можно быть блаженным, будучи униженным, избитым, изгнанным за правду. Он все более и более мешал законникам Иудеи, как овод Сократ — Афинам. Кто Он такой? Появился новый бог, новый авторитет, перекрывающий прежние? Его надо слушаться или, наоборот, восстать против нарушителя законов? Любопытная толпа, захваченная силою и необычностью Его личности, не знала, в какую сторону склониться. Люди приветствовали Его, удивлялись Ему. Но их отпугивали новые непривычные нравственные требования и новые формы мысли. Когда богатый юноша спросил Иисуса, как ему достичь царства Божьего, Иисус ответил: «Раздай все богатство свое нищим и иди за Мной». Юноша понурившись отошел, а Учитель сказал ему вслед: «Легче верблюду* пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное». Он звал к трудному жизненному подвигу, и чем больше люди осознавали это, тем больше были недовольны Им.

И для израильских законников, и для толпы любопытных Иисус был либо обещанным Мессией — абсолютным Владыкой, про которого было все заранее известно, либо самозванцем, присвоившим себе права этой сверхличности. Он не был ни тем, ни другим. Он нес новое представление о Мессии и новое представление о человеке, как помощнике, сотруднике Бога. Без веры в Мессию, без любви к Нему Он был бессилен сдвинуть что-либо в душах людей, а только это одно и было Ему надо. Не внешняя власть над людьми, а преображение их душ, внутреннее единение с ними.

Все это было вызовом, ересью — и еретик не мог уцелеть.

Евангельские события быстро подходят к своей развязке. Христа схватывают ночью (один из учеников, предатель Иуда, указывает на

* Верблюд, по-видимому, недоразумение, — вместо «велбрюд» (корабельный канат). Таким же образом Назарет, по мнению некоторых исследователей, возник из непонятного «назорей» — член секты назореев.

него страже) и судят за самозванство, за то, что он провозгласил себя Мессией. Дело Иисуса попадает в руки римского наместника Понтия Пилата. Римлянин, далекий от внутренних религиозных споров иудеев и от духовных проблем, смотрит на Иисуса беспристрастно, скорее с удивлением. Ему представили арестованного как самозванца, бунтаря, угрозу Риму, назвавшего себя царем иудейским. «Ты — царь иудейский?» — спрашивает Пилат. «Царство мое не от мира сего, — отвечает Иисус. — Я пришел свидетельствовать миру об истине». Этот неожиданный ответ заинтересовывает Пилата. Он с любопытством спрашивает Его: «Что есть истина?». Знаменитый вопрос, на который следует еще более прославленный ответ — молчание. Христос отвечает на вопрос, КТО есть истина, он говорит: Я есмь истина. А вопрос «что есть истина» для Него ложен в самой своей основе. Никакая отдельная мысль, правило — не истина. Истина — только целостность бытия личности, которая в каждом случае найдет верное решение. Пилат предлагает отпустить Христа (был обычай отпускать какого-либо осужденного на Пасху). Но когда первосвященник сказал: «Распи его, или ты не друг кесарю», наместник отстранился (дonoс был страшен и ему). Он не хотел рисковать своей карьерой и проиизнес знаменитую, ставшую впоследствии пословицей фразу: «Я умываю руки». Христа распяли.

Смерть смерти

В Евангелии запечатлен единственный момент духовного смятения учителя — это его «моление о чаше» в Гефсиманском саду. Он знает, что ему предстоит страшная казнь, и «скорбит смертельно». В уединении ночного сада происходит драматический диалог со своей глубиной, с Отцом. Он просит Отца о милости: «Пронеси Мимо Меня чашу сию». «Но, — добавляет Он, — да будет воля Твоя, а не Моя». Если люди не принимают его истины, если она кажется им враждебной, пусть они убьют его. Когда однажды Петр предложил Ему бежать из Иудеи, чтобы спастись, Он сказал на это: «О земном думаешь, а не о небесном». Он должен добиться не спасения своей жизни, а торжества своей истины. Семена его учения должны прорасти в еще полусуспелых людских сердцах, даже если для этого придется удобрить почву своей кровью. Смерть Учителя так потрясет учеников, что в них откроется, наконец, глубина и они воспримут истину так, как не могли воспринять ее раньше. И тогда вместо одного носителя истины появится много. «Если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то много, много плода принесет», — так наставляет Иисус, подготавливая учеников к трагическим событиям. «Вы восплачете и взрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша

обратится в радость. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости».

Ученики слушали, как обычно, и не понимали. Но теперь Он в самом деле умирает. Он уверял их, что смерть — не конец. Он обещал им, что смерть будет побеждена. А ученики снимают его безжизненный труп с креста и растерянные, убитые горем, хоронят свою надежду на бессмертие. Последний взрыв муки — прощание, безнадежность. Проходит три дня. Дни первого погружения в горе, слияния со смертью. И когда после этих трех дней ученики приходят ко гробу Учителя, они застают его пустым. Христос воскрес.

Это грандиозное событие перевернуло души учеников и легло в основу новой религии. Однако что таит Воскресение Христа?

Ученики Иисуса свидетельствовали, что их Учитель в течение сорока дней после смерти являлся им в разных местах, а затем вознесся на небо и воссел «одесную (т. е. по правую руку) Отца». Но перед смертью Иисус сказал такие слова: «Мир не увидит Меня, но вы увидите Меня». И вот ученики видят Его, но как необычно... Первая из свидетельствующих о воскресении, Мария Магдалина, сначала не узнала Его и приняла за садовника. Здесь еще могло быть смятение всех чувств от невероятности события. Но когда Христос явился ученикам по дороге в Эмаус, Он долго шел рядом с ними, разговаривал и был не узнан. Только постепенно по горению сердец догадались они, Кто идет рядом. Допустить, что любимого Учителя, так горько оплакиваемого несколько дней назад, можно не узнать, трудно. Вероятно, речь здесь идет не о буквальном физическом явлении, а о чем-то ином.

Если говорить о воскресении, как о физическом факте, то мы этого не оспариваем и не подтверждаем. Богу все возможно. Вся жизнь основана на чуде и есть чудо, только люди привыкли к чуду жизни и не удивляются ему. Есть факты, напоминающие воскресение. Йоги, пролежавшие в гробе гораздо более трех дней, вставали. Однако факты эти не стали началом новой религии. Когда Иисус явился Фоме и тот уверовал, Христос сказал ему: «Ты уверовал, потому что увидел, но блаженны не видящие и верующие». Вот о таких блаженных нам и хочется сказать — о тех, кто поверил не потому, что получил какие-то материальные (всегда внешние) доказательства, а по каким-то иным, внутренним причинам.

Потрясающим, перевернувшим души событием для учеников стало то, что они **увидели сердцем** сущность Христа, увидели так полно, как не видели до Его смерти. Христос до смерти был **около** них. Христос воскресший явился **внутри** них. Он изменил и преобразил их изнутри. И если бы не это, то сам по себе факт Воскресения забылся бы.

До смерти Иисуса все двенадцать были хорошими, но слабыми людьми, оставившими своего Учителя в Его страшные часы. Три самых близких заснули, когда единственный раз в жизни Он попросил

их помочь, побыть с Ним, пободрствовать. Петр отрекся от Учителя, и все разбежались, когда Его схватили. И вот эти-то слабые люди превратились в столпов веры — в апостолов, большинство из которых повторились потом крестный путь Христа.

Вот это и было тем вторым рождением, о котором недоуменно спрашивал Христа Никодим. «Если не родитесь второй раз, не увидите Божьего царства», — говорит Христос. Когда Никодим понял это буквально — войти в чрево матери и заново родиться, — он услышал в ответ — «только безумный так понимает. Плоть от плоти рождается, а дух от Духа». И нет ничего более чудесного, более невероятного и редкого в жизни, чем это рождение от Духа. Именно это и произошло после смерти Иисуса.

Увидеть не физическими глазами, а всем сердцем, значит причаститься, стать единым с тем, кого видишь. Так Иисус увидел при жизни своей Бога — Того, кого нельзя увидеть глазами, — и причастился Ему — стал с Ним Одно. Так ученики после смерти Иисуса увидели Его самого. Это видение они засвидетельствовали всей своей жизнью. Они увидели, вместили внутрь Воскресение и жизнь вечную — некую Таинственную суть, основу и смысл жизни, определению не поддающуюся.

Бог жив. Бог есть. Вот что ясно увидели ученики. Такие свидетельства не прекращались в течение двадцати веков. Святые подвижники встречали живого Бога, видели Его своим сердцем и преображались.

Когда Антоний Блум вошел в комнату, где лежал мертвым его горячо любимый отец, его обдала великая торжественная тишина. И он сказал почти вслух: «И говорят, смерть есть. Какая чепуха». В тишине у гроба раскрылась таинственная полнота жизни. И это лишь одно из бесчисленных свидетельств, живой опыт сердца, увидевшего Бога.

Все споры о фактах, которые можно увидеть глазами или объяснить разумом, — «не про то», как говорит у Достоевского князь Мышкин. «Про то» — действие Духа, чудо преображения. Вот такое чудо и стало изображаться на иконах. Христианское искусство явило новую, не понятную грекам и римлянам красоту — красоту духовную, которая была одновременно и добром и высшей мудростью. Лучшие иконы чудотворны по сути своей — вглядывание в них может преобразить душу. Павел Флоренский «доказательством» бытия Божия считал Троицу Рублева. «Есть Троица Рублева, — писал он, — следовательно, есть Бог».

Логическая форма доказательства здесь парадоксальна. Бог — не факт, который либо есть, либо не есть. Бог — целостность, объемлющая все факты, она ни из чего не следует, ибо все причины и следствия уже содержатся в Нем самом. Но эту целостность можно почувствовать, увидев то, что видел Рублев и что он сумел передать своей кистью. Тот, у кого открыты «духовные глаза», может увидеть Бога и без

Рублева, но люди духовно слепы и полуслепы. Воскресение Христа отверзло глаза Его ученикам, пробудило их полусонные сердца.

Жизнь вечная или будущая

После распятия Иисуса учение его распространяется как в самой Иудее, так и за ее пределами, среди евреев, живших в рассеянии (диаспоре). Первые христианские общины создаются в Иерусалиме, Риме, Коринфе, Эфесе и других городах Средиземноморья. Несмотря на все гонения, которым подвергаются христиане, влияние христианства растет. Вселенский пафос учения, обращенного ко всем людям без различия наций и социального положения, привлекает к себе угнетенных, обездоленных, рабов. Да и многие знатные люди не остаются глухими к призыву, выведившему из духовного кризиса. В обществе равнодушных, вяло принимавших все, христиане шли на пытки, на смерть, отказываясь принести жертву перед статуей императора. Это поражало, захватывало. Символом христианства становится крест (виселица, на которой повесили Иисуса)*. И эта виселица, напоминание о позорной казни, постепенно стала символом внутренней духовной свободы, раскрепощения от страха. Все больше и больше людей становятся христианами.

В начале IV века император Константин отменил законы против христиан. В конце того же века, при Феодосии, христианство становится государственной религией.

Ближайшие века были исключительно важными для формирования христианского мировоззрения, культуры и искусства. В IV—V веках из синтеза евангельских учений и греческой философской традиции складывается тот духовный облик христианства, который оно сохранит на века, канонизировав писания отцов церкви. В V веке неизвестный автор, называвший себя Дионисием Ареопагитом, теоретически обосновал возможность иконы как материального подобия духовной сущности. В VI—VII веках сложился иконописный образ Христа, к которому мы привыкли. Начиная с IV века, литургия (богослужение) заменяет античный театр. Возникает новый праздник взамен старых, утративших свой внутренний смысл. Вокруг литургии, соединяясь с ней, развиваются поэзия, музыка, живопись (иконы, мозаика), скульптура, вместе создававшие впечатление огромной силы, захватывавшей толпу невольно, помимо сознания. Христианство стало религий, нашедшей доступ и к образованным верхам, и к неграмотным массам, религией, объединившей общество единой системой символов.

* Сперва (пока крест оставался орудием казни) общим символом христиан была рыба. Но уже Тертуллиан (II в.) говорит о поклонении кресту.

Однако средние века — время не только единой веры, но и бесчисленных ересей. Каждый слой общества понимал одни и те же символы по-разному, и социальная борьба продолжалась в форме религиозной борьбы. В ходе этой борьбы шел неуклонный нравственный упадок официального христианства. Исторических условий для преодоления общественного неравенства, победы над нищетой, войнами в мире не было. И Иисус вовсе не указывал путей социально-экономического развития мира. Евангельские принципы не имеют ничего общего с практической целесообразностью. Они скорее противоположны ей. Принцип: «Если хотят взять у тебя рубашку — отдай и верхнюю одежду» — вряд ли помогает экономическому процветанию. Заповедь: «Любите врагов своих» не помогает укреплению государственности. Христос дал новый нравственный идеал, и каждый человек, руководствуясь им, должен был искать пути для воплощения его в жизнь. Первые христианские общины, еще гонимые, прятавшиеся в катакомбах, усиленно старались воплощать этот идеал. Христианерабовладельцы часто отпускали на волю своих рабов, а богатые отдавали в общину имущество, чтобы накормить голодных. Все это, однако, быстро исчезло, когда христиане-энтузиасты растворились в массе новых христиан.

Церковь приспосабливается к миру и становится стражем общественного порядка. Люди, пытавшиеся возродить нравственный пафос раннего христианства, сталкиваются теперь с самой церковью. Чем дальше, тем реже искренние и талантливые проповедники становились епископами и патриархами. Когда один из первых патриархов — бескомпромиссный Иоанн Златоуст — стал обличать нравы императорского двора, он был низложен и умер по дороге в ссылку.

В средние века «златоусты» — чаще рядовые священники и монахи. При жизни их обуздывали, ограничивали, иногда ссылали и заточали; а после смерти некоторых объявляли святыми. В XIII веке в Италии жил знаменитый Франциск Ассизский (т. е. из Ассизи), организовавший движение людей, следовавших за образом Христа. Франциск вовсе не был угрюмым аскетом. Это был человек радостного мировоззрения, влюбленный в жизнь поэт, воспринимавший все в природе как чудо, как божественную поэзию. Любовь ко всему живому так переполняла его, что ему было радостно оставить свой дух вечно свободным, отказаться от отяжеляющего и сковывающего душу богатства, полнее отдаться служению людям и жизни. Кроткий, светлый Франциск был после смерти канонизирован церковью, признан святым. Однако слишком уж ревностных его учеников сжигали, и движение добровольной бедности приняло удобную для церкви форму нового монашеского ордена францисканцев (вполне respectable и достаточно богатого).

В истории Церкви борются два подхода к жизни и два типа людей, государственного и нравственного. Первый господствует, второй поддается. Можно показать это на примере двух современников русского царя Ивана III — Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Для Нила главное — человеческий облик христианина; для Иосифа Волоцкого — обряд. Старцы, игуменом которых был Нил, выступали за нестяжательство (т. е. против монастырского владения землями и крепостными крестьянами). Иосиф же горячо защищал монастырские богатства. Сторонники Нила Сорского выступали против казней еретиков; игумен Иосиф призывал Ивана III, «по примеру гишпанского кесаря», ловить и жечь еретиков. Победил Иосиф Волоцкий. Несколько еретиков сожгли.

Тут мы подходим к самой черной странице в истории средневекового христианства. Каким образом христиане, бывшие мученики римских кесарей, сами стали мучителями? Каким образом они стали не только поддерживать жестокие действия власти, а прямо вдохновлять и подталкивать власть на насилие в вопросах веры, на сожжение еретиков, вырезание языков и т. п.? Какую-то роль здесь сыграло общее одичание Европы в так называемые «темные века» (V—X века н. э.). Интеллектуальный уровень руководителей церкви в это время также упал. Простая грамотность стала редкостью, и церковь опустилась до грубых варварских суеверий. В варварском суде невиновность доказывалась поединком, испытанием раскаленным железом и тому подобными способами. И церковь шла тем же путем.

Однако это объяснение недостаточно. Надо учесть еще внутреннюю логику развития христианской церкви. Еще первые последователи Иисуса, горячо Его любившие и старавшиеся выполнять все его заветы, понимали учение слишком уж буквально. Христианские мученики первых веков остались в памяти человечества как люди необычайной нравственной высоты, мужества и стойкости. Они стали образцом человеческого поведения на тысячелетия вперед. А. И. Герцен в Крутицких казармах, под арестом, с восхищением перечитывал Четьи Минеи (жития святых). У аскетов и мучеников был живой идеал, и они доказали, насколько для человека важнее осмысленность жизни, чем сама жизнь. И, однако, уже тогда начали проявляться некоторые опасные тенденции. Появилась не просто готовность принять муку (как это было у Христа), а жажда мученичества, искание мученичества, как главного дела жизни. Между тем смысл жизни можно отстоять, отдавая жизнь, но его нельзя приобрести даже за жизнь. Смерть и страдания не прибавят ничего к ценностям души. Сами они — отнюдь не ценность. Но историческая трагедия христианства была в том, что главным постепенно становится не «жизнь вечная» — т. е. внутренняя глубина жизни, а некая будущая потусторонняя жизнь, которая должна компенсировать страдания в этой.

Мукой и смертью можно «заработать» царство божье. Если Иисус предупреждал против поисков материализованного царства божьего («не говорите: вот оно здесь или вот оно там, ибо царствие Божие — внутри вас»), то последователи Его искали свой идеал именно «где-то» и «когда-то», вне себя самих. «Царствие Божие» обретает предметный смысл. Оно становится загробным царством — местом, куда люди попадают после смерти.

Мы чувствуем, что не на пустом месте возникли и уйдем не в пустоту. Жизнь, таинственная целостная жизнь была до нашей земной жизни и будет длиться после. Но как? В какой форме? Мы так же не знаем достоверно о жизни будущей, как и о прошлой, предшествовавшей нашему рождению. Об этом душа наша не знает ничего и в то же время она может знать **все** о жизни вечной. Вечная жизнь присутствует в **этой**, земной, как и в **той**, загробной. И если душа открыла в себе свою собственную последнюю глубину, она причастилась жизни вечной, — тому самому царству, которое не «там» и не «здесь».

Здесь — это слишком здесь,

Там — это слишком там, — писала Цветаева.

Вечность не там и не здесь — и присутствует всюду.

Для чего выносить страдание? Почему Христос пошел на крест и не поддался уговорам Петра избежать крестных мук? «Отойди от меня, сатана, — сказал Он ему, — не о небесном думаешь, а о земном». Что означают эти слова? Что такое — награда на небесах? Что-то, что нам подарят **потом**, или прежде всего то, что мы можем ощутить сейчас и здесь? То ни с чем не сравнимое душевное состояние, та благодать, которая **сама по себе награда** и высший смысл и ничего другого не ждет?

Симеон Новый Богослов говорил: «Кто не увидел Бога в этой жизни, не найдет Его и в той». Смысл и цель жизни — открытие Царства Божьего, которое внутри нас. И открывший его принимает смерть с чувством доверия к вечному, которому он причастился.

Распространенным настроением средних веков было ожидание конца света. Позже оно заменяется ожиданием личной смерти, которая, наконец, приведет к желанному берегу. Временами совершенно исчезает естественное отношение к страданию, и тогда сходит на нет также и сострадание. Если пострадать — благо, то становится благом заставить страдать других. И в средние века людей уговорят, что можно сжигать их на костре для их же спасения, что можно убивать и мучить, оставаясь последователями Христа, постепенно превратившись из короткого учителя — в грозного небесного царя, «Вседержителя», посылающего грешников в ад.

Связующим звеном между христианином-мучеником и христианином-мучителем стали монахи. Бывают времена, когда монастырь — единственное убежище для людей, неспособных жить в гниющем обществе. Некоторые монастыри стали очагами глубокой духовной жизни.

ни и культуры. Но монастырская жизнь располагает не только к созерцанию и чтению, а также к изуверству. Отшельники, уходившие в египетскую пустыню (движение началось именно здесь, в начале IV века), сами себя мучили голодом и жаждой, сами себя бичевали, и настолько привыкли к мучениям, что им не страшны были императорские палачи. Однако оборотной стороной этого был фанатизм. Уже в IV—V веках толпы египетских монахов, призываемых в случае нужды в города, играли роль штурмовиков христианства. Они разрушили библиотеку Серапиона в Александрии, разбивали вдребезги античные статуи... Впоследствии в монашеской среде возникла идея инквизиции. Из монахов вышел знаменитый инквизитор Торквемада, при котором аутодафе («дело веры» — публичное сожжение на костре) стало таким же повседневным развлечением испанцев, как бой быков.

Другой фигурой, характерной для «церкви торжествующей», был «деловой человек», превративший «царство не от мира сего» в доходное предприятие. Деловые люди учили, что в «этой» жизни можно и погрешить: всякий грех искупается щедрыми дарами, подносимыми церкви, оплатой молебнов за здоровье, за упокой и прочее. В конце средних веков развернулась крупная рыночная торговля отпущениями грехов — индульгенциями с подписью главы церкви, папы римского. Душевная чистота была заменена справкой, купленной за деньги.

В конце концов это вызвало взрыв. С одной стороны, возникло мощное антикатолическое движение, создавшее в Западной Европе несколько новых церквей (лютеранство, кальвинизм и пр.). С другой стороны, началось движение умов, которое получило название Возрождения (Ренессанса). Ренессанс — возрождение естественности, любви к живой жизни, к чувственно осязаемому. Гуманизм противопоставляет себя церкви. Философия и искусство выделились из материнского лона религии и стали самостоятельными областями. И пока окаменевшая религия стоит на одном месте — развиваются вопреки ей. Вырвавшийся на волю человеческий дух смеется над ханжеством, лицемерием, фанатизмом церкви. Под удар попадает и Евангелие, и связанное с ним средневековое искусство. Буквально понятное Евангелие воспринимается теперь как мертвая, ненужная книга. В течение ряда веков (XVIII—XIX) икона кажется мертвой, застылой, и в России искусство иконописи приходит в упадок. Только в XX веке, когда светское мировоззрение само оказалось в кризисе, начало заново проступать то подлинно живое, вечное, что составляло суть христианской культуры.

И снова возникает вопрос: как очистить это подлинное от напластований времени, как найти современный подступ к вечному Слову — и не смешать снова Божье и кесарево, внутреннее и внешнее.

Пророк пустыни (ислам)

Потомки Измаила

К юго-востоку от Палестины, в Аравийской пустыне, кочевали арабские племена. К VI—VII векам они находились примерно на той же стадии развития, что и в эпоху Моисея. Из рода в род переходил старинный обычай кровной мести. Практиковалось убийство новорожденных девочек (чтобы уравновесить убыль мужчин в боях). Только в течение четырех священных месяцев вражда прекращалась, и в городе Мекка устраивалась ярмарка.

Вера арабов походила на веру многих других племен: они признавали верховного бога Аллаха, стоящего над отдельными людьми и народами. В то же время почиталось множество духов и богов природы. Как правило, один из богов средней руки становился покровителем племени (а отдельный человек мог обладать еще и особым духом-покровителем). Этим богам приносились жертвы, от них ждали спасения в беде, а к верховному Богу — Аллаху, слишком высокому и туманному, почти не обращались.

Корень слова «Аллах» — «ал» — тот же, что в древнееврейском «эль» — бог. И в еврейской древности этот бог не был единственным. Только со временем пророки заставили народ отказаться от почитания других богов, кроме Сушего, Яхве. Праотца Авраама (Ибрагима), легендарного основателя монотеизма, арабское предание считало и своим предком (через его сына Измаила). На арабской почве легенда обросла новыми подробностями. Рассказывали, что Земзем, протекавший в Мекке, — тот самый источник, из которого ангел напоил Измаила, изгнанного вместе со своей матерью, служанкой Агарью, из дома Авраама. А обломок скалы неподалеку — «место Авраамово» («макам Ибрагим»); там Авраам, пришедший навестить старшего сына, учил его молиться Богу.

С III—IV веков в Аравию с двух сторон проникает христианское влияние (из Сирии и из Эфиопии). Еще раньше, по-видимому, начал распространяться иудаизм. Однако только отдельные племена переходили в новую веру. Законы и обряды Ветхого и Нового Заветов были слишком сложны для жителей пустыни. К тому же их смущали разли-

чия между «народами Книги», как арабы называли евреев и христиан. Некоторые арабы становились монотеистами, не принимая никакого Завета — ни Моисеева, ни христианского. Их называли ханифами. Ханифы призывали отказаться от племенных богов и поклоняться единому Аллаху. Но их пророчица были очень смутны, неопределенны. Из веры в туманного Аллаха не вытекало никакого закона, никакого порядка. «О, Аллах, если бы я только мог знать, какой образ угоден тебе, я сейчас же принял бы его. Но я этого не знаю!» — восклицал один из предшественников Мухаммеда Зейд. Народ продолжал держаться традиционной веры, хотя уважение к ней сильно поколебалось.

Нет Бога, кроме Бога!

В этих условиях и начал действовать Мухаммед, основатель ислама. Мухаммед принадлежал к роду Хашим из торгового племени курейшитов, владевшего Меккой. Он рано осиротел, не получил никакого наследства и служил каравановожатым, а потом приказчиком. Двадцати пяти лет Мухаммед женился на своей хозяйке, богатой вдове Хадидже. Брак был счастливым. Мухаммед любил Хадиджу. У них росла дочь Фатима. Жизнь как будто сложилась благополучно. Но Мухаммеда влекло к чему-то еще. Каждый год он уходил на месяц в пустынные ущелья и там в одиночестве погружался в глубокое созерцание. Суровая красота аравийской природы переполняла его. Он смутно сознавал в себе призвание к огромному делу, к великому открытию. Однажды, когда ему было уже сорок лет, после долгого жаркого дня, проведенного в ущелье Хиры, ему приснился сон. Кто-то приблизился и велел: «Читай!», но Мухаммед не мог. Тогда неизвестный сдал его со страшной силой, почти насмерть, и повторил: «Читай!». Проснувшись, Мухаммед почувствовал, что слова, которые от него требовали прочесть, записаны в сердце. Он испытал небывалый прилив сил и понял это как веление Бога: читать книгу мироздания и рассказывать о ней людям, дать арабам новую книгу, сравнимую с Книгой соседних народов. «Коран» и значит — «чтение», «книга».

Пушкин, прочитав Коран, воскликнул: «Плохая физика, но зато какая смелая поэзия!». Коран — книга, продиктованная человеком, грамотой не владевшим или владевшим очень плохо, но это книга великого вдохновения. Первые пророчества Мухаммеда захватывают своей внутренней открытостью красоте мира, обостренным восприятием, превращающим весь мир в чудо.

У русского художника Николая Рериха есть картина, изображающая Мухаммеда в ущелье Хиры в тот момент, когда замысел Корана вошел в его душу. Напряженная по краскам картина дает ощущение

такой перенасыщенности чувств, которая уже сама по себе есть чудо. Рерих написал звенящий и пылающий мир, увиденный глазами Мухаммеда.

Первое, что понял Мухаммед, — это истина о единстве мира. Так еще раз было сделано открытие, которое уже делалось легендарным Авраамом, и греком Ксенофаном, и другими, о ком мы еще будем говорить. Еще раз «увиделось», что Вселенная — единое целое, и все люди в ней — братья. Коран ярко и поэтично пересказывает легенду о том, как Авраам искал Бога^{*}. «Я не причастен к поклонению вашим божествам, — воскликнул Авраам—Ибрагим, когда его последний кумир, солнце, закатился. — Я поднимаю лицо мое к Создателю неба и земли, почитайте Его единственного! Я не с теми, кто причисляет богов к Богу!»

Боги стихий, боги племен одним махом были отброшены. За отдельными явлениями выступил общий ритм, общий закон жизни — единое, которое сильнее всего частного, всего видимого, проявляющегося — даже самого высокого, как солнце, самого таинственного, как звезды. «Если бы во Вселенной было много богов, ее разрушение было бы близко», — говорит Коран. В этом, может быть, еще наивном по форме высказывании скрывается очень глубокая мысль. Разница между одним и многими богами не количественная, а качественная. В четком символе осознается связь всего со всем. И в поле этой связи отдельные боги, божки и демоны падают с престолов^{**}. Это шаг человеческого ума, сделавший возможным нравственный сдвиг, переход от морали племен, враждующих друг с другом, к единой нравственности, к выходу за рамки не только личного, но и племенного эгоизма. Единый Бог означал (в понимании Мухаммеда и его первых последователей) единый нравственный закон, прекращение вражды, сознание всеобщего братства, конец распря, мир.

О, если бы вы знали...

Мухаммед, почувствовав себя посланником Божиим, не пытался перечеркнуть прежние пророчества. Напротив, на первых порах в Мекке он с большим уважением отзывался о «народах Книги» — христианах и иудеях. Последователи Мухаммеда молились, повернувшись

^{*} Этой легенды нет в Библии. Мы находим ее только в более поздних агадах (сказаниях).

^{**} Разумеется, монотеизм не всегда и не в равной степени использует возможность «расколдовывания мира» (как выразился немецкий социолог М. Вебер). Но такая возможность в нем есть, и она осуществилась в многочисленных рационалистических течениях, подготовивших почву современной науке. Рационалисты средневекового ислама (Аверроэс, Авиценна) и рационалисты XVII века (Декарт, Ньютон) верили в Бога, но не верили в чертей и домовых.

лицом к Иерусалиму. Различие между отдельными формами монотеизма (единобожия) казалось несущественным. У каждого народа, считал Мухаммед, есть свой пророк, «читающий» и возвещающий книгу жизни, но суть их учения — одна и та же: «Бог всех нас создал из одного человека». «Первоначально все люди имели одну веру, потом они предались религиозным спорам». Каким именно — ранний Мухаммед не хотел в это вникать, он не видел в этом смысла. «Те, — говорил он, — которые, восставая против Бога и посланников Его, полагают между ними различия, веря одному и не веря другому, создают себе произвольную веру».

На самого себя Мухаммед смотрел очень трезво: «Я такой же человек, как вы, я только получил откровение, что Бог наш есть Бог единый». На иронические призывы совершить чудо (опустить свод небесный и показать Бога и ангелов или взойти на небо по лестнице и т. п.) Мухаммед отвечал: «Если бы они видели свод небесный, обрушивающийся на их головы, они сказали бы: это скученные облака...». Мухаммед пытался просто убедить своих земляков, заразить их своим чувством жизни. Но мекканские купцы были нечувствительны к проповеди. «Покинем ли мы наших богов, — говорили они, — ради безумного поэта?» Однако Мухаммед не мог замолчать. Как и прежние пророки, он вместе с новым религиозным чувством открыл в себе новое нравственное чувство, совершил переход от обрядовой морали к внутренней, от верности традиции, закону — к голосу совести, и это открытие он не мог хранить про себя.

Высшее для родовой и племенной нравственности — благо рода и племени. Представления о добре и зле еще не отделились от представлений о выгоде (не личной, но родовой, племенной). Чужестранец, если он гость, находится под защитой, но общего представления о святости человеческой жизни нет. Внутри племени нельзя убивать, нельзя грабить, но чужаков — не только можно, а даже следует. И в отношениях с родичами важно только не нарушать закон, обычай. Если обычай не предусматривает каких-то новых требований (например, прощать своим должникам), то это блажь, чудачество. Если обычай требует побивать грешников камнями, то жалость к ним, с племенной точки зрения, даже преступна.

Всему этому резко противостоит мораль, основанная на голосе совести. У пророков этой морали возникает сознание, что вредить кому бы то ни было, любому другому — значит вредить самому себе, своей душе, т. е. разрушать какой-то пласт духовной жизни, самый глубокий, в котором ощутима всеобщая связь, неотделимость всех живых

* Несмотря на такие ясные высказывания, средневековые мусульманские легенды превращают Мухаммеда в чудотворца.

друг от друга. Это чувство всеобщей связанности, братства людей заставляет ощутить добро не как количество домов, скота и оружия, а как душевную чистоту и полноту, отзывчивость, готовность поделиться, открытость.

Вера в ранних сурах (главах) Корана совершенно неотделима от добра, от властного нравственного порыва: «Он не уверовал в Бога великого, он не заботился о пище бедного!». Та же идея, что и в раннем христианстве: «вера без дел мертва». Важнейшая заповедь Аллаха — милосердие. «Знаешь ли ты, что есть вершина? Выкупить пленного, накормить в день голода сироту ближнего и нищего безвестного...» Тем, кто выполняет эту заповедь добра, Мухаммед обещает вечное блаженство. Ослушникам он грозит адским огнем.

У Мухаммеда были яркие сны (об одном из них мы уже рассказывали) и видения, связанные с потерей сознания. Образы, возникавшие в мозгу в момент высшего напряжения всех его чувств, ощущались им как свидетельства о какой-то небесной реальности, куда Бог разрешил ему заглянуть. В живом воображении Мухаммеда старые мифы разрастались и расцветали новыми подробностями. Так, в раю появились гурии (девы с огромными прекрасными глазами). Ад приобрел геометрическую форму, с разделением грешников по ярусам в зависимости от тяжести грехов. Впоследствии этот образ попал на Запад, захватил Данте и был воплощен и развит в его «Божественной комедии».

Выбор между раем и адом выражал (пусть несколько слишком просто, в «лоб») идею свободы человека и ответственности за его поступки. А это очень важно. Вот как понимание ответственности звучит в Коране: «Мы предложили истинную веру небесам, земле, горам. Они не посмели принять ее. Они трепетали перед этим бременем. Человек принял ее и стал неправедным и бессмысленным...» Так говорит Аллах. Человек разумен и поэтому отвечает за все. Ты ощутил в себе разум, а это означает ответственность. Ты осознал мир, ты принял на себя ответственность за мир, — так отвечай!

Вот, примерно, то, что Мухаммед проповедовал жителям Мекки. Истина, открытая им, во многом совпадала с учениями других пророков. Задача, стоявшая перед Мухаммедом, была довольно близка к задаче Моисея. Века развития еще не разделили этику и политику, преобразование личности — и объединение племен. Мухаммед хочет и нравственного переворота, и могучего арабского государства, которое будет живым царством справедливости. Далекие всходы в будущем ему не достаточны. Он жаждет победы скорой и явной.

Пророк становится повелителем

Хадиджа и ближайшие родственники стали первыми сподвижниками Мухаммеда. Но большинство жителей Мекки встречали нового пророка насмешками. Мухаммед с трудом собрал несколько десятков последователей, главным образом из бедняков и рабов. Хозяева их преследовали. Некоторым Мухаммед разрешил наружно отказаться от него. Часть рабов сумел выкупить богатый Абу Бекр, один из немногих знатных курейшитов, поверивших пророку. Однако положение рабов, даже выкупленных на волю, было таким шатким, что большинство мусульман дважды спасалось бегством в христианскую Эфиопию (напомним, что в этот период Мухаммед еще считал христиан и иудеев почти единоверцами).

Практический разум купца толкал Мухаммеда к компромиссу, к сделке с земляками. В минуту слабости он признал трех почитаемых богинь «дочерьми Аллаха», «небесными лебедями» и заступницами смертных. Но в мекканский период голос совести был сильнее делового расчета. «Чуть было неверные не заставили тебя покинуть наше учение и выдумать нечто другое от нашего имени. Уступчивостью своей ты купил бы дружбу их...» — сказал Мухаммеду внутренний голос, который он ощущал голосом Аллаха. Сделка была расторгнута. Положение непризнанного пророка было очень трудным. Но по большей части Мухаммед держал себя с большим достоинством. Предание рассказывает, как однажды один знатный курейшит стал осыпать Мухаммеда насмешками. Мухаммед молчал. В это время мимо проезжал дядя его Хамза, возвращавшийся с охоты. Оскорбленный за племянника, он ударил обидчика и сгоряча сказал, что сам он той же веры. Так Мухаммед, не вступая в спор, приобрел нового последователя. Эта история хорошо характеризует Мухаммеда в первый, мекканский период его деятельности.

Год за годом Мухаммед пытался обратить своих земляков терпением, выдержкой и страстным убеждением. В ответ мекканцы объявили бойкот последователям Мухаммеда: их перестали допускать к Каабе (общему святилищу), ничего им не продавали и не покупали у них. Если их не убивали, то только потому, что Мухаммеда, его ближайших сподвижников (Абу Бекра, Омара) и других мусульман-курейшитов защищал закон кровной мести. За Мухаммеда, кем бы он ни был, вступился бы весь род Хашим. Родовая солидарность в старой Аравии стояла в общем выше религиозных распрей. Положение, однако, ухудшилось, когда умер глава рода Хашим, дядя Мухаммеда Абу Талиб, и господство в роде перешло к врагам Мухаммеда. Это означало, что при каком-нибудь новом конфликте род мог отказаться от своего непокорного члена, и он оказался бы вне закона. Мухаммед понял, что «нет пророка в своем отечестве» (эта евангельская поговорка явно

оправдывалась по отношению к нему). Надо было переходить к проповеди среди других племен.

Умерла, так и не увидев торжества Мухаммеда, Хадиджа. В душе пророка что-то надломилось. Он ожесточился на неверных и, видимо, уже тогда замыслил новый план: объединить племена, враждебные Мекке, и заставить непокорных слушать себя. В Мухаммеде разворачивается рядом с пророком другой человек: государственный деятель, полководец, дипломат. И политические цели начинают оправдывать обычные в тот век средства.

Первая попытка проповеди вне Мекки окончилась провалом: горожане Таифа высмеяли Мухаммеда и чуть не избили его. Мухаммед начал думать о Ясрибе. Там соседство с племенами, исповедовавшими иудаизм, подготовило почву для единобожия. Среди богомольцев, шедших в Мекку, он встретил людей ясрибского племени Хазрадж. Проповедь увлекла шестерых, и они обещали на другой год привести с собой еще шесть мусульман.

На следующий год, в самом деле, явилось 12 человек из хазраджей и из соседнего ясрибского племени Аус. Мухаммед взял с них клятву: не признавать другого бога, кроме единого; не воровать, не прелюбодействовать, не убивать своих детей, не клеветать — и быть покорными посланнику божьему.

В отсутствие Мухаммеда ясрибская община быстро росла: через год пришло 75 мусульман. Позвав своего дядю, Мухаммед совершил торжественный обряд выхода из племени курейшитов и вступления в ясрибскую мусульманскую общину. Ясрибцы дали при этом новую клятву: защищать Мухаммеда с оружием в руках, как защищают своих жен и детей (это вошло в историю как «клятва мужей»).

Так ислам превратился в общину верующих, организованную наподобие племени. Чувство связи всего живого, открывшееся Мухаммеду в ущелье Хира, уступило место связи всех верных против неверных.

Мусульмане Мекки переселились в Ясриб. Бегство Мухаммеда (хиджра) стало началом нового мусульманского летосчисления (с 622 года н. э.).

Ясриб получил новое имя — Медина (буквально — город, город пророка). Там построен был первый дом мусульманской молитвы (мечеть) и написан устав, положивший начало исламу как религиозному, политическому и общественному строю. По уставу все верующие составляют единый народ. Между верными должны быть забыты все раздоры. Кровная месть отменяется. Правоверные защищают друг друга (как прежде соплеменников) с оружием в руках. Решение всех спорных вопросов предоставляется Мухаммеду. С местными арабами, не принявшими ислам, и с племенами, исповедовавшими иудаизм, был заключен особый договор о союзе.

Таким образом, возникло маленькое теократическое государство*. Во главе его стоял посланник божий — Мухаммед и два его помощника: Абу Бекр и Омар, замещавшие его в случае нужды и на молитве, и в делах государственных. После смерти Мухаммеда они стали первыми халифами — заместителями**. В их руках сосредоточилась и политическая, и военная власть, и собственно духовные дела, забота о воспитании людей, распространение новой веры и новой нравственности. Учение Мухаммеда получило авторитет, которого ему так не хватало раньше. Пример пророка (или халифа) стал законом. Но зато сам властитель все меньше и меньше мог служить примером. Чем большей становилась его власть, тем больше делалась ее тяжесть.

В Коране сказано: «Идолопоклонство хуже убийства». Из этого непосредственно не вытекает, что идолопоклонников надо убивать, напротив, речь просто идет об осуждении обрядов, требовавших человеческих жертвоприношений, ритуальных убийств. Узаконенное, освященное убийство (входившее, как мы помним, в примитивные и архаические культуры) внушало Мухаммеду величайшее отвращение...

Но слова имеют свою судьбу, свою логику, независимо от первоначальных намерений автора. И была в этих словах Мухаммеда еще одна опасная возможность: поставить идолопоклонников вне закона, вне круговой поруки добра. Прошло немного времени, и возможность эта превратилась в действительность.

На следующий год после хиджры Мухаммед послал несколько мусульман на разведку в Мекку. Они встретили караван, шедший под охраной четырех курейшитов. Дело было в месяце Раджаб, одном из четырех священных месяцев мира. Но мусульманам не страшны были языческие запреты. Они напали на караван, одного курейшита убили, двух взяли в плен и привезли в Медину богатую добычу. Мухаммед был очень разгневан. Он признавал только оборонительную войну и учил: «Не нападайте первыми. Бог ненавидит нападающих». Это было чрезвычайно важным принципом новой веры. Однако чутье политика подсказало пророку, что нельзя охлаждать ревность воинов. И Мухаммед сделал шаг, быть может, решающий для быстрого успеха ислама (ни одна мировая религия не распространялась с такой быстротой): он согласился примирить покорность единому Богу с верностью традиционной страсти к добыче. Принцип: «идолопоклонство хуже убийства» был истолкован по-новому...

Награбленное поделили между мусульманами, и с этих пор воины, отправляясь в поход, могли рассчитывать не только на райское бла-

* Теократия — форма правления, при которой высшая власть принадлежит священнослужителям.

** Сперва Абу Бекр, потом Омар. Большинство мусульман считает их «праведными халифами» в противоположность позднейшим, развращенным властью.

женство (в случае гибели в бою), но и на некоторое земное предвосхищение рая: добычу, рабов, наложниц.

Чем могущественнее делался Мухаммед, тем ревнивее относился он к своему авторитету. Его личный авторитет сливался с авторитетом государства, стал осью, на которой держалась вся система ислама. В Мекке Мухаммед терпеливо переносил насмешки, в Медине насмешка превратилась в оскорбление величества, в политическое преступление.

По этому пути шли все мировые религии, став религиями государственными. В христианской Испании сжигали на костре за небрежное отношение к причастию. И Мухаммед следует общей логике государственной религии, когда истребляет или изгоняет иудейские племена Ясриба, своих бывших союзников. Монотеизм средних веков стремится создать единое стадо с единым пастырем.

Когда-то мусульмане спасались от преследований в христианской Эфиопии; в конце жизни Мухаммеда ислам, окрепнув, уже вел войну против христианских княжеств северной Аравии и готовился к вторжению в Сирию и Палестину. Место единого Бога занимает единственный, обязательный для всех пророк. Слово «муслим» («верный») изменило свое значение. Оно больше не включает последователей прежних пророков единого Бога, а только последователей Мухаммеда. Кибла (направление, в котором поворачивались молящиеся) была изменена. «Мы переменяем место молитвенного обращения, чтобы отличить тех, кто следует за посланником божьим, от возвращающихся к неверию». Таким образом, христиане и иудеи были разжалованы в «возвращающихся к неверию».

Призывы к единству и миру уступают место призывам к священной войне — джихаду: «Если встретите неверных, сражайтесь с ними, пока не произведете великого избиения. На пленных наложите цепи... О, верующие! Защищайте дело божье!». «Убивайте врагов наших везде, где найдете их, изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгоняли. Отступничество хуже убийства».

С течением времени, когда ислам распался на отдельные секты, крайние сектанты рассматривали и мусульман других направлений как неверных и беспощадно убивали их. Разумеется, цель остается «святой»; но она остается такой в головах верующих, а раны, нанесенные их саблями, ничем не отличаются от ран, нанесенных с целью грабежа.

В сурах, сочиненных в Медине, бледнеет и гаснет поэтическое вдохновение, бескорыстный нравственный порыв уступает место политическому расчету. Власть, которой Мухаммед добивался и добился, понемногу превращала пророка в умного, трезвого, волевого государя, считавшегося с нравственным уровнем своих подданных порою больше, чем с голосом сердца.

Однако нечто от прежнего Мухаммеда осталось и в новом повелителе Медины (а потом и всей Аравии). Он жил довольно скромно, не стремился к титулам, избегал роскоши и свою долю награбленного раздавал бедным. Он был верен слову: обещав амнистию старым врагам (за исключением десяти человек), не обманул мекканцев, открывших ему ворота. Как политик, Мухаммед стоит очень высоко. Он создал из вчерашних кочевников новую мировую державу. И в этой державе установилось строгое единобожие.

Мухаммед меньше поддавался соблазнам власти, чем большинство других правителей. Но по большому счету — по тому счету, который он сам предъявил человечеству в Мекке, — пророк в нем в чем-то уступил мирскому попечению.

В этот тупик попадают все религиозные движения. Либо пророков побивают камнями, либо они захватывают власть (или их последователи примыкают к власти) и не столько убеждают, сколько побеждают. С этого момента новая идея распространяется так, как Добрыня и Путяга крестили новгородцев — огнем и мечом. Люди покоряются новым словам, новым обрядам, но рутина только внешне терпит поражение.

Вместо племени складывается «мировая» религиозная община. Это важный шаг вперед, самый большой, который практически можно было сделать в средние века. Но «мировая» община почти так же враждует с другими общинами, как и прежние племена. Христианин относится к нехристям, «верный» (мусульманин) — к «неверным», мусульманин-суннит к мусульманину-шииту* порою ничуть не лучше, чем людоеды из двух враждующих племен Новой Гвинеи...

Возникнув в отсталом районе, ислам первоначально был формой приобщения кочевых племен к духовной культуре, созданной соседними народами. Но очень скоро ислам приспособился к нравам кочевников и стал формой объединения кочевых племен для совместного штурма и грабежа цивилизаций Средиземноморья. Прекратив внутренние распри между арабами, ислам выполнил задачу, сравнимую с подготовительной работой, проделанной Чингисханом перед походом в Китай, среднюю Азию и Европу, но гораздо полнее и основательнее, обеспечив не только политическое и военное единство, но еще и единство духовное, способное подчинить себе и побежденных (по крайней мере, частично), — тогда как монголы, непобедимые на поле боя, духовно подчинялись завоеванным народам и растворялись среди них. Коран (который было запрещено переводить), наряду с арабским языком администрации, сильно содействовал тому, что ряд

* Шиты — сторонники халифата потомков Мухаммеда. Сунниты — сторонники выборности халифов, практически — сторонники сильного, захватившего власть. Большинство мусульман принадлежит к суннитам.

стран, завоеванных арабами, превратились в арабские страны. Даже остатки христианского населения Ближнего Востока говорят теперь по-арабски.

В течение пятидесяти лет, пока арабы сохраняли единство, они завоевывали одну страну за другой. Потом начались религиозные споры и войны между приверженцами ислама. Вскоре на арену истории вышли новые завоеватели — турки. Однако и они, и часть монголов, попав в сферу ислама, усваивали эту религию и становились ревностными мусульманами.

Сила ислама — в его близости к племенному сознанию. Начиная с бегства Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину, ислам требует только повиновения. Он заменяет племенной закон другим, но так же устроенным, так же охватывающим всю жизнь простой системой предписаний: пять раз в день молись, делай то-то, не делай того-то... Именно эта простота облегчала распространение ислама среди кочевников в средние века и дает ему важное преимущество перед христианством в современной Африке.

Однако в странах древней культуры, завоеванных арабами, такая простая религия не всем оказалась по сердцу. Потомки завоевателей, познакомившиеся с богатыми традициями Сирии, Палестины, Ирана, и некоторые новообращенные мусульмане, сирийцы и персы, — стали вкладывать в ислам более богатое содержание, развивать то, что было намечено в мекканских сурах Корана, а потом отодвинуто в сторону политическими заботами. Традиции Корана, сливаясь с традициями местных культур и с наследием античной философии, дали философский рационализм (гораздо более близкий к Платону и Аристотелю, чем к Мухаммеду) и суфизм (мусульманский мистицизм, развивавший поэтическое ощущение целостности бытия, испытанное Мухаммедом в ущелье Хира). То сталкиваясь, то перекрещиваясь и сливаясь, поэтическое и философское течения средних веков и создали, в сущности, то, что иногда называют культурой ислама, — этот широкий синтез культур Средиземноморья, Ирана и в какой-то мере Индии.

Мы не имеем возможности рассказать об этой великой средневековой культуре, вышедшей далеко за рамки религии. Скажем только немного о суфизме. Термин «суфизм» происходит от слова «суф» — грубая одежда из верблюжьей шерсти. Вероятно, первые суфии испытали влияние христианских монахов Сирии (а может быть, и аскетов Индии). Однако суфизм никого не копирует. Это мощное духовное движение, одно из глубочайших в истории религии, и его главный корень — в чувстве вечности, а не в том, что приносит и уносит время. В таких случаях если и было влияние, то оно играет роль вызова, подталкивает развитие, идущее изнутри. Суфизм развил начатки, заложенные уже в Коране, но не выявившиеся сразу после хиджры.

Когда бряцает оружие — музы молчат (и призыв в глубину также не находит слушателей). Только в VIII веке, в относительном покое, могла привлечь внимание не замечательная никакими подвигами женщина, рабыня-танцовщица Рабийя, знавшая высокие экстатические состояния, очень близкие к первым откровениям пророка. Она стала одним из зачинателей суфизма. Подобных людей просто не замечали в шуме битв. Теперь же вокруг учителей собирались ученики, тосковавшие по личному переживанию вечного. Начала складываться особая мусульманская мистика, мистика Единого. «Что ты видела в раю?» — спросили Рабийю после того, как она вышла из состояния транса. «Когда заходят в дом, — отвечала она, — смотрят на хозяина, а не на утварь». Эту же идею выражает легенда о суфии, достигшем совершенной близости к Богу. «Что ты хочешь?» — спросил его Бог. «Ничего, — отвечал подвижник. — Мне довольно того, что Ты есть». Ощущение реальности Высшего переполняло блаженством, превосходившим все земные мерки. Богатство, власть, слава — все это суфию не нужно. Ему достаточно самой обывденной жизни, но освещенной изнутри. Об этом тоже есть легенда. Шейха (учителя) спросили, что он думает о подвижнике, который в экстазе взлетел над землей. «Птицы летят еще выше», — ответил шейх. «А такой-то, — говорят, — был сразу в двух местах». — «Дьявол может явиться сразу в тысяче мест». — «Что же считать вершиной?» — «Встать поутру, пойти на базар, купить провизию, приготовить обед — и не забывать Бога».

Казалось бы, всякая религия может только радоваться такой вере. Но мистики, непосредственно переживавшие дух учения, становятся равнодушными к букве, к догме, к закону. И все хранители догмы чувствуют в мистицизме опасность. Это относится и к иудаизму, и к христианству, и к исламу.

Судьба одного из величайших суфиев, ал Халладжа, напоминает судьбу Христа. Пережив чувство единства с Богом, он открыто об этом говорил. Хранители закона сочли это кощунством. Халладж был казнен в Багдаде в 922 году. Его публично бичевали, отсекали кисти рук, повесили вниз головой, побили камнями, а в заключение отрубили ему голову и сожгли тело (чтобы оно не могло воскреснуть в день Страшного суда). Ярость охранителей правоверия вызвало то, что ал Халладж открыто пренебрегал обрядами, правилами, установленными Кораном. Когда его спрашивали, надо ли совершить паломничество в Мекку, он отвечал: «Обойди вокруг меня, во мне тоже есть Бог». Иногда, в состоянии экстаза, он говорил слова, напоминавшие евангельские: «Я — истина». Для религии страха божьего это — невыносимое кощунство.

Однако наряду с крайним суфизмом существовал умеренный суфизм, не отвергавший строгого соблюдения мусульманского закона, но старавшийся одухотворить его, претворить «делание [обряда] чле-

нами тела» в «деяние сердца». В XI веке крупнейший мыслитель ислама аль Газали превратил умеренный суфизм в строгую философскую систему, получившую общее признание. Возник, таким образом, официальный суфизм, и суфийские полумонашеские объединения* повсеместно вошли в быт. Вместе с ними вошел в общий обиход ислама особый язык, выработанный ранним суфизмом, — язык притч-парадоксов и поэтических метафор. Внешним побуждением создать его была необходимость избегать прямого разговора о предметах веры, раз навсегда закрепленных в Писании. Но была и внутренняя необходимость в парадоксе и метафоре. Невозможно прямо описывать то, что выходит за рамки обыденного опыта; для этого нет готовых слов; а если их выработать, то все равно они непонятны новичку. Невозможно описать, чем вкус меда отличается от вкуса сахарного тростника. «Надо попробовать мед», — говорил один из великих суфиев, ал Хамдани. Парадокс, по крайней мере, указывает на трудность, заставляет напрячь ум. Подлинный Ходжа Насреддин был суфием, и странные притчи его были средством подвести к духовной задаче. В профаническом сознании он остался как шутник и стал героем бесчисленных анекдотов.

Однако самым замечательным вкладом в культуру ислама и в мировую культуру была суфийская поэзия. Суфии примкнули к традиции древнеарабского племени узритов, воспевавших любовь, сильную, как смерть (вспомните слова, на которые написал романс П. И. Чайковский: «Я из рода бедных Азра; полюбив, мы умираем»). Другой подобной метафорой были стихи об опьянении вином (они вдохновили Н. Гумилёва на его стихотворение «Пьяный дервиш»). Посвященные понимали, что Лейла и Зюлейка — это образы той глубины, где душа сливается со своим божественным возлюбленным — самим Аллахом; а опьянение — мистический экстаз. Но это не было простым иносказанием. Есть какая-то реальная переключка между влюбленностью в женщину и во всецелость бытия. Как писал об этом Рембо: «В вселенную, как в женщину, влюбленный».

Вл. Соловьев в своей статье «Смысл любви» писал, что в любви есть только один грех: неспособность любить целое, неделимость души и тела, поработченность частным, внешним, «изгибчиком», как назвал это Митя Карамазов. Любовь к целостному существу, до глубины его бессмертной души, безгрешна и свята и в конце концов сливается с любовью к Богу. В белом накале любви сгорало все тленное, и просвечивал тайный смысл мира:

* Мусульманские полумонахи, дервиши, имеют право оставить послушание у старца (пира, шейха) и вернуться к семье. Иногда суфии совмещают семейную жизнь и сектантские радения (пение духовных песен, хороводы, повторение одних и тех же слов и жестов и т. п.).

*Глаза поили душу красотой.
О, мирозданья кубок золотой!
И я пьянел от сполоха огней,
От звона чаш и радости друзей.
Чтоб охмелеть, не надо мне вина
Я напоен сверканьем допьяна.*

Это слова великого суфийского поэта Ибн аль Фарида. Отрывок из его касыды «Путь странника» (о пути души, о пути к вершинам духа). Этот труднейший путь — путь любви. Только влюбленный может прийти к Богу. Но мало одной силы чувства. Нужна чистота от всякого себя-любия, от самого сознания «я». Слияние в одно с возлюбленным (с возлюбленной) означает отказ от двойственности. Не я и ты, а только ты. Я — отдано, растворено в любви. В стихах Джелаледдина Руми путник не может достучаться к Богу, пока есть Бог и он. Вход к Богу — вход внутрь, выход из двойственности. Об этом же все песнопения Ибн аль Фарида:

*Для любящих племен и званий нет.
Влюбленный ближе к небу, чем аскет,
И чем мудрец, что знаньем нагружен,
Хранит ревниво груз былых времен.
Сними с него его бесценный хлам,
И он немного будет весить сам*.*

Это очень близко к христианской «нишете духа». Только нищий духом, сбросивший все оболочки, провидит внутреннее — то, что сбросить нельзя. И тогда он понимает, что все явленное подобно листьям одного Дерева, имеющего единый тайный корень:

*Так не стремись определить, замкнуть
Всецелость в клетку, в проявление — суть.
В бесчисленных формах мира разлита
Единая живая красота, —
То в том, то в этом, но всегда одна, —
Сто тысяч лиц, но все они — она.
Она мелькнула ланью среди трав,
Меджнуну нежной Лейлою представ.
Любой влюбленный слышал тайный зов
И рвался к ней, закутанной в покров.
Но лишь покров, лишь образ видел он
И думал сам, что в образ был влюблен.
Она приходит, спрятавшись в предмет,*

* Все стихи Ибн аль Фарида даны в переводе З. Миркиной.

*Одевшись в звуки, линии и цвет,
Пленяя очи, грезится сердцам,
И Еву зрит разбуженный Адам.
И всей душой, всем телом к ней влеком,
Познав ее, становится отцом.
С начала мира это было так
До той поры, пока лукавый враг
Не разлучил смутившихся людей
С душой, с любимой, с сущностью своей.
И ненависть с далеких этих пор
Ведет с любовью бесконечный спор.
И в каждый век отыскивает вновь
Живую вечность вечная любовь.*

Божий лик — не предмет среди предметов, а Суть всех предметов. И узнавание этой Суты есть высшая полнота бытия, чудо любви, открытие родства всех со всеми. Только великому духовному опьянению можно уподобить это чудо:

*О, вино, что древнее, чем сам виноград,
Нас зовет его блеск, нас пьянит аромат!
Только брызги одни может видеть наш глаз,
А напиток сокрыт где-то в сердце у нас.*

И далее:

*«В чем природа вина?» — раз спросили меня.
Что же, слушайте все: это свет без огня,
Это взгляд без очей и дыханье без уст,
Полный жизни простор, что таинственно пуст,
То, что было до всех и пребудет всегда...*

Это несказанное, о котором можно говорить только парадоксами. Это заново хлынувший переизбыток Духа, которым захлебнулся Мухаммед и оборвал свою речь одним восклицанием:

«О, если бы вы знали!»

Поэзия суфиев сплетает и расплетает высокое и низкое, земное и небесное, опьянение вином и опьянение чувством единства мира, любовь к Богу и к женщине. В стихотворениях персидских классиков любовь соловья к розе имеет правоверное религиозное толкование (отношение мусульман к Аллаху), но оно имеет и более отвлеченный философский смысл (стремление постичь единство мира), и сохраняет простое народное понимание символа: любовь юноши к девушке. Все эти оттенки, переплетаясь, делают стихи суфиев неповторимыми по богатству душевной жизни. Даже поэты, не склонные к мистицизму, писали стихи в той же манере.

Самостоятельно создавая метафоры и зная им цену, многие суфии отказались от буквального понимания рая, ада и других картин, нарисованных в Коране. Замечательный поэт-суфий Джелаледдин Руми называл рай и ад игрушками для детей. На самом деле, по его словам, рай — это образ просветления души, ад — образ темных страстей и невежества. Некоторые суфии отвергали идеи о превосходстве ислама над другими религиями и считали, что иудаизм, христианство и ислам отличаются друг от друга только внешне, а не внутренне, словами и обрядами, а не духом.

Сравнивая ислам с христианством, можно заметить, что начинались они по-разному. Но затем в каждой религии постепенно складывается свой «ислам» (строгие правила поведения для масс, основанные на страхе ада), свой «монастырь» (убежище аскетов, беглецов из мира, в котором царит зло), свой «джихад» — священная война: в средневековом христианстве — крестовые походы, рыцарские ордена и т. п. Повсюду религия дробится на секты и течения, проклиняющие друг друга. Повсюду господствует буквальное понимание священных книг (Евангелия, Корана). Повсюду только немногие пробиваются к поэзии и философии этих книг, к их духу, не давая поработить себя букве.

Золотая суть (Древняя Индия. Религия Вед и упанишад)

Тогда расширялись небеса и удлинялись рассветы

Истоки современного индуизма — религии сегодняшней Индии — уходят в очень глубокую древность. Первые священные книги Индии не похожи ни на библейский рассказ о сотворении мира, ни на греческие мифы. Это сборники гимнов, из которых необычайно трудно создать какую бы то ни было систему. Образы в них еще текучи, подвижны. Больше восторга, неожиданных ходов чувства и слова, чем определенности мысли. Больше удивления перед миром, чем веры в его порядок, установленный свыше. Эта религия, хотя ее нередко использовали как опиум для народа, не всегда была такой, — писал Р. Тагор* в предисловии к изданию избранных индийских священных текстов. «Быть может, самое сильное впечатление, охватывающее читателя собранных здесь гимнов, это то, что они совсем не похожи на заповеди... Скорее, это поэтическое свидетельство коллективного отклика народа на чудо и трепет бытия. Народ с сильным и нерафинированным воображением пробудился на самой заре цивилизации с чувством неисчерпаемой тайны, заложенной в жизни. Это была простая вера, приписывающая божественность каждой силе природы, но в то же время вера мужественная и радостная, в которой страх перед богами был уравновешен доверием к ним, в которой чувство тайны только прибавляло очарования жизни, не придавливая ее своей тяжестью...»

Однако отклик поэта на поэзию Вед не исчерпывает их сущности. Вспомним слова Тейяр де Шардена о двух путях к глубинам «Божественной Среды»: через радость жизни и через скорбь жизни. В Ригведе (сборник гимнов) есть и углубление бытия через экстаз радости и углубление через борьбу с тоской небытия, через вечно нерешенные вопросы о судьбе единичной жизни в бесконечности. От одной мандалы

* Великий индийский поэт XIX—XX вв.

(части сборника) к другой нарастает чувство смертности и порыв преодолеть смерть, выйти по ту сторону смерти. В десятой мандале воля к бессмертию достигает огромной силы и в постановке философских вопросов, и во взрывах мистической интуиции по ту сторону логики. В Ригведе рассыпаны зерна, из которых выросли все течения позднейшего индуизма. И вместе с тем, веды как целое сохраняют то детское сорадование миру, то ликование твари вместе с Творцом, о котором писал Тагор.

Достаточно оказаться в море, под солнцем — и поэту Васиште грезится, что в челне, рядом с ним, сам бог неба и вод Варуна (греч. Уран). Небо опоило его восторгом, и все стало священным — челн, море, свет, песня: «На челне среди Великого океана Варуна и я. Мы счастливы в волнах, счастливы, рассекая волны, счастливы, качаясь на них; Варуна посадил Васишту в свой челн. Варуна превратил его в риши. Когда они сияли блеском, Мудрый сделал его певцом. Тогда расширились небеса и удлинялись рассветы...» (Ригведа).

Януш Корчак в своей книге о детях «Когда я снова стану маленьким» говорит о том, что взрослому надо вовсе не снисходить до ребенка, а встать на цыпочки, чтобы дотянуться до него, — до его необычайной яркости чувств, остроты и полноты мировосприятия. Эти слова применимы и к детству человечества, к его священной поэзии. Люди, умевшие так взглянуть на мир, чтобы увидеть «расширяющиеся небеса» и «удлиняющиеся рассветы», обладали секретом восстанавливать «вечное мгновение». Они по праву считали себя обладателями высшей мудрости — ведением. Отсюда и название книг — «веды» (корень общий, индоевропейский).

«Пробуждая мир пурпурными конями, на своей стройной колеснице приближается Заря. Открывает свой лик, входит, посылая вперед свой блеск.

Последняя из бесчисленных, уже отгоревших и снова первая — занялась Заря! Вставай! Дыхание, жизнь вновь нас достигли!.. Открылась дорога Солнцу! Открылся мир, в котором жив человек! Вознося хвалу сияющему утру пенем гимна, встает священник — поэт» (Ригведа).

«Древнейшие песнопения возникли в то время, — пишет известный русский индолог И. П. Минаев, — когда жертвоприношения совершались очень просто, без сложной запутанной обрядности, были актом простой благодарности великому неизвестному, прямо и непосредственно внушенной сердцем. Поэт, славословящий бога, был в то же время вождем и священнодействующим в своей семье или роде. Его словам внимали с верой, и толпа, повторяя все изречения и песни, видела в нем существо необыкновенное, высшее и более близкое к богам».

Каких же богов призывал и чтил он?

Истина одна, мудрецы называют ее разными именами

Ведический пантеон на первый взгляд очень напоминает греческий. Громовержец Индра похож на Зевса, Сурья и Савитар — на Гелиоса (солнце), Ушас (заря) на — Эос, Агни (бог огня) — на Гефеста, а Сом (бог опьяняющего напитка) — на Диониса (Вакха). Есть здесь и подобие титанов, древние асуры, с которыми беспрестанно борются боги. Однако чем больше вчитываешься в гимны Вед, тем больше запутываешься в богах. Боги смешиваются друг с другом и переходят друг в друга, точно ведут с нами какую-то игру, похожую на игру теней и солнечных бликов на стене. Они есть и их нет в одно и то же время. Вот мелькнуло какое-то совершенно новое божество, существующее только в Индии, — Брахманаспати (или Брихаспати, бог молитвы), и вдруг оно становится царственно всеобъемлющим, всепронизывающим, как свет на закате. Брахманаспати превращается в Брахмана (божество экстаза). И этот экстаз наполняет весь мир. По прихоти поэта на какое-то время становится богиней речь (Вач). Новый поворот луча, новое освещение — и божество теряет свои границы, тает, как облако, и возникает новый объект почитания.

Нет, это не многобожие. Лики богов — лишь мелькающие образы, которые могут сбросить свои одежды-имена и обнаружить реальную суть. Суть едина для всех. В ней сливаются все они, и она так похожа на библейского Сущего, что мы готовы уже назвать религию Индии монотеизмом. Но слишком отличен этот многоликий хоровод от библейской суровости, гневно изгоняющей всякую игру воображения и всякие изображения. Можно сказать, что по философской сути Индия ближе к древнееврейскому монотеизму, а по образному выражению к греческому политеизму. Но и это неточно. Религия Индии образна, однако боги Индии — скорее фигуры, мелькающие в хороводе, чем греческие статуи. Индия сохранила то, что Средиземноморье при переходе к цивилизации потеряло: восприятие жизни в образе хоровода, в котором отдельные фигуры не могут быть вырваны из целого.

Мы привыкли смотреть на мир, как на ряд отдельных предметов, действительных или воображаемых. Они иногда смешиваются, но задача разума — разделить их. Истинность во всех европейских культурах и культурах Ближнего Востока стала синонимом однозначности, недвусмысленности. Это отразилось и на религиозном сознании. Серьезность устанавливает правильное понимание религии (догму) и осуждает остальные, ложные понимания, произвольные «выборы», ереси.

Развитие Индии пошло другим путем. Примитивная текучесть знака не исчезает, а наоборот, культивируется, развивается. Разные символы поочередно указывают здесь на одно и то же, а один и тот же символ может указывать на разные вещи. Высший образ, бог мыслится одновременно и единым, и бесконечно множественным. Он как бы играет с самим собой и, играя, творит мир. Священная игра — «лила» — одно из центральных понятий индийской теологии. Лила и майя (иллюзия отдельности, скрывающая недвойственность, цельность). Они легко спутывают предметы, но это не шутка, не гротеск, а постоянное обнаружение некоей невидимой целостности — сверхпредмета, сущности всех предметов, гранями которой являются видимые вещи. Индийский поэт, охваченный вдохновением, называет солнце глазом сразу двух богов (Ригведа), и это никого не смущает. Боги не пользуются глазом по очереди, как старухи в подземном царстве у греков: они сами нераздельны, текучи, переходят друг в друга, как фигуры обрядового танца.

По индийским представлениям, то, что объединяет в себе всю бесконечность предметов, обликов — невыразимо, его нельзя определить никаким словом, знаком, именем, образом. Слово, знак могут здесь быть только намеком. А намеков может быть много. И можно называть одну невыразимую истину разными именами, одевать ее в разные одежды (образы богов). В Индии господствует убеждение, прямо противоположное делению на догму и ересь: «Истина одна; мудрецы называют ее разными именами».

Бессмертный среди смертных

Ведические боги не все одинаково расплывчаты и неопределенны. Божества стихий, управляющие практической материальной стороной жизни, имеют гораздо более четкие очертания, закрепленную форму. А рядом с ними существуют «сыновья беспредельности» — Адити, которые, собственно, являются только разными именами одного, единого, таинственного и сверхпредметного божества, похожего на библейского Бога. Некоторые гимны, обращенные к Варуне, можно спутать с молитвой, обращенной к Яхве. В них тот же образ Неведомого, всеохватывающего, вездесущего, всевидящего и пронцающего собой все божества, присутствующего в сердце человека, как совесть. «Миров этих великий правитель видит все вблизи. И того, кто мнит, что действовал втайне... Если двое, сойдясь, совещаются, то знает третий, царь Варуна... Его небесные соглядатаи тысячеокие исходят всю землю и видят все на ней. Им сочтены моргания человека» (Атхарваведа).

Последнее изречение напоминает евангельское «И волос с головы не упадет без воли Его».

Однако большинство гимнов обращено не к Варуне. Вторгшимся в Индию, воюющим племенам ариев больше всего нужны были мощь, сила, доблесть. И Индра, бог княжеской дружины, подобный славянскому Перуну, отодвигает в тень, в туманную даль бога правды (так же, как кочевники Аравии до Мухаммеда отодвигали смутного единого Аллаха). Чем больше было войн, чем больше возвышались воины и военачальники, тем меньше искали правды в небе. Индре посвящено около четверти всех гимнов Ригведы. Его буквально рвут на части воюющие стороны: «О, Индра, приди к нам, минуя многочисленные возлияния врага!» (Ргв. IV, 29). «Все люди с разных сторон призывают тебя, но ты услышь именно нас!» (Ргв. VII, 8).

Всех услышать он не может. Он не вездесущ, как Варуна. Это бог враждующих друг с другом людей, уничтожающих друг друга желаний. Таковы и другие боги стихий, над которыми Индра царствует. Их царство имеет начало и конец.

Божества стихий не первозданно бессмертны. Они отличаются от людей скорее количеством, богатырской природой жизни, чем качеством ее. Они бессмертны потому, что выпили когда-то напиток бессмертия — амриту, и поддерживают бессмертие их люди, поднося им сому* и возжигая жертвенные костры. Но адитья (сыновья Адити — беспредельности) — бессмертны **по сути**. Их бессмертие ничем не надо поддерживать. Напротив, они сами поддерживают его в других. Они изначальны, никогда не возникали и не могут исчезнуть.

Совершенно особой является роль огня, Агни. Этот бог принадлежит к высшим, к тем, кто бессмертен по сути. Но он единственный из бессмертных, который показывается смертным, присутствует среди них и связывает между собой оба мира. Как и Варуна, Агни незримо присутствует во всем, везде: в растениях, в животных, в человеке, в небе (в светилах), в воде (молнии из туч). Но он может проявляться, становиться зримым. Его можно извлечь отовсюду, соединяя вещи воедино (трением дерева о дерево, ударами камня о камень). Именно образ огня позволяет созерцать космическое, вездесущее, тайно присутствующее во всем. Гимны зовут его Джабаведас (Всеведающий): «Проснулся Агни, пробужденный возжжением людей. Как птицы, летящие к ветке, мчатся к небу его лучи... Великий бог из тьмы освободился» (Ригведа).

Возженные огни называются знаменами зорь. Это те же зори, звезды, солнца. Но вот они среди людей. Все миры, все отдельные темные и твердые предметы скрывают в себе семена огня — расплавляющего все, соединяющего всех. «Все вкусили твою мощь, когда ты,

* Сома — это и хмельной напиток, и вдохновение, и бог вдохновения. Некоторые ученые возводят сому к одуряющему напитку из мухоморов, который пили шаманы.

живой бог, родился от сухого дерева». «Он — первый жрец. Смотрите на него вы, на этот свет, бессмертный среди смертных» (Ригведа).

Жертвенный огонь делает зримым выход людей из самих себя, из своей отдельности, он — порыв, поток, соединяющий с вечным, с целым. Агни — вестник, связывающий смертных с бессмертными. Но огонь есть и в самом человеке — искра бессмертия, искра божественности. И она проявляется в огненной речи, в пылкой молитве, в экстазе единства (в Брахмане). Человек обладает великой силой — он может возжигать огонь, видимый и невидимый. Он может воздействовать на богов (на силы стихии). Зависимость людей и богов двусторонняя. Авторы гимнов считают, что не только люди зависят от богов, но и боги от людей. Если люди не будут питать бога своим жертвенным огнем, поить его сомой, бог умрет. Вдохновенные речи, молитвы, заклинания нужны и богам. Без них боги хиреют.

В царстве Индры эта двусторонняя зависимость приобретает характер грубой магии: «Речью, о жрецы, победите речь врага! Певец, останови Индру у напитка сомы» (Ригведа). Надо пропеть такие гимны, чтобы Индра опьянел от них, потерял волю. Громовержец не так уж умен. Подвыпив, он шумит: «Вот я эту землю поставлю туда и сюда. Ведь я выпил сомы... Я величественен, я возвышен до облаков! Ведь я выпил сомы!». Жрец в умственном отношении явно превосходит своего кумира. И временами ему становится стыдно за глупого бога. Он заставляет Агни сказать: «Я, неблагодарный, оставил милостивого, оставил отца, ибо мой выбор — Индра. Оставил, потому что милостивое небо “утратило свою магическую силу”». Но жрец понимает, что одной силой нельзя править, что нужен какой-то моральный авторитет, и заставляет Индру искать компромисса с Варуной: «О, Варуна, если ты любишь меня, о царь, различающий истину и право от лжи, приди и будь правителем в моем царстве!» (Ригведа).

Брахман

Веды создавались на протяжении двух тысяч лет. Естественно, что они далеко не однородны. Возникла письменность, складывались науки. Общество и культура расслаивались. Образованный человек теряет детски-непосредственное поэтическое чувство, непосредственную веру в священность жизни, которая просвечивает в древнейших гимнах. Появляется романтическое томление по вере, невысказанное, когда не было сомнения: «Пусть придет к нам вера утром, вера в полдень, вера на заходе солнца. О Вера (бог веры), одари нас верой!» (Ригведа). Человек сомневается, ищет новые ответы на новые вопросы, ищет философское обоснование того, что раньше просто «чувлось сердцем». Развивается абстрактная мысль, и старые боги стихий дают

место рядом с собой новым богам, богам-понятиям: Вере, Слову, Брахману (слово «брахман» в древнейшие времена означало сразу несколько понятий: жертвенный помост, жреца, совершающего молебен, молитвенное воодушевление, экстаз. Постепенно некоторые значения отпали, и сохранились два: жрец и то Единое, с которым он соединяется в молитве). Все более акцентируется духовная сущность явлений, а не их зримые чувственные облики. Образ Агни углубляется. В новых гимнах Агни — это внутренний огонь, пламя без дыма, дающее новый смысл жизни. Но эти утонченные образы-понятия все менее и менее доступны широким кругам. Жрец становится монополистом духовного творчества, посредником между темными людьми и богом.

Когда-то поэт-священник заражал своим поэтическим восторгом перед жизнью всех и заставлял всех непосредственно ощущать ее священность и чудесность. Теперь профессионал-жрец вовсе не делает всех участниками своего «разговора с богом». Он один совершает таинственный обряд, а прочим может объявить лишь «волю богов». Со словное деление общества становится священным. Возникает предание, что брахманы созданы из головы первосущества, кшатрии (воины) — из его рук, вайшьи (крестьяне, ремесленники) — из бедер, шудры (слуги, рабы) — из ступней. Практически Индия дробится на сотни джати (каст), взаимное положение которых не совсем ясно и во многом определяется фактическим влиянием данной касты (например, племена завоевателей, вторгавшихся в Индию, приобретали статус кшатриев). Но верхний ярус в общественной иерархии закрепляется за брахманами и нижний — за неприкасаемыми, потомками разрушителей кастовых законов^{*}.

Нет больше единого народа, для которого жертвенный костер становится общим праздником. В десятой, последней части Ригведы встречаются стихи, явно не предназначенные для всенародного обряда, слишком сложные, отвлеченные. Это философская лирика в самом точном смысле слова: «Тогда не было ни существующего, ни несуществующего, ни царства воздуха, ни неба над ним. Нечто единое, бездыханное — дышало... Боги пришли позже, чем это сотворение мира. Кто же знает, как оно совершилось? Тот, чей взгляд взирал на мир с высоты неба, он поистине знал это. А может быть, и он не знал?» (Ргв. X, 129).

Религия Вед постепенно приходит к концу. Она видоизменяется и расслаивается: с одной стороны, становится более философски утонченной и духовной, с другой — замораживается внешняя форма обряда. Обряд костенеет, становится мертвенным. Не-брахманы участвуют в священнодействии только пассивно, как зрители, постепенно

^{*} Такова легенда о происхождении неприкасаемых. Как они на самом деле появились, сказать трудно. Это был сложный и долгий процесс.

переставая понимать священный язык (санскрит), не имея права самостоятельного толкования обрядовых символов.

Эту тенденцию, это стремление к замкнутой религии жрецов, ведающих за собой слепое стадо, а иногда и всю эпоху древнего обрядоведения называют брахманизмом.

До сих пор мы говорили о широте индийской мысли, о необычайной терпимости, об умении не привязывать всю истину к одному знаку или имени. Все это так. Но глубоко терпимая в вопросах понимания высших символов, Индия послеведического периода проявляет поразительную нетерпимость там, где европейские религии, религии «не от мира сего», вполне терпимы — в охране общественных перегородок.

Религия брахманов закрепляет кастовый строй. И верность свадхарме (долгу своей касты) становится ее главным принципом; можно отбрасывать старых богов и создавать новых, можно описывать истину разными именами, можно считать богов, в которых верит народ, призраками, созданными невежеством, но нельзя пообедать за одним столом с неприкасаемым.

Ты — это то

В течение первого тысячелетия до н. э. одновременно шли два процесса: внешняя обрядовая жизнь костенела, мертвела, теряла свою поэтичность; внутренняя духовная жизнь образованной части высших варн (брахманов и кшатриев) углублялась, открывала новые горизонты. Место хоровода занимает «праздник, который всегда с тобой», внутренний праздник.

Часть брахманов, вырастивших детей и внуков, по традиции уходила в лес и проводила последние годы жизни в созерцании и размышлении о смысле ведических образов. В таких лесных обителях жаждущие знаний могли изучить и частные науки, связанные с пониманием Вед: грамматику, риторику, логику, астрологию и прочие. Однако высшим считалось знание о жизни в целом, о смысле жизни. Разговоры мудрецов запоминались и постепенно сложились в книги, упанишады (буквально — «сидеть около», т. е. рядом с учителем, у его ног). Древнейшие упанишады датируются VIII—VI веками до н. э.

В упанишадах есть элементы физиологии, психологии, интересные попытки классификации мифологических представлений, важные для развития формы научного описания мира. Есть черты наивного реализма: например, пища считается одним из начал бытия и окружена поклонением. Но главное в упанишадах — подход к пониманию бытия как единого целого.

Всякое другое, частное знание рассматривается мудрецами как второсортное. В одной из упанишад отец спрашивает сына, проучившегося двенадцать лет и выучившего все, что можно было выучить: «Шветакету, дорогой, раз ты столь самодоволен, мнишь себя ученым и горд, то спросил ли ты о том наставлении, благодаря которому неуслышанное становится услышанным, незамеченное — замеченным, неузнанное — узнанным?» — «Что же это за наставление, почтенный?»

«Подобно тому, дорогой, как по одному комку глины узнается все, сделанное из глины, видоизменение лишь имя, основанное на словах, действительное же — глина... Таково, дорогой, и это наставление».

«Поистине, те почтенные учителя не знали этого», — признается Шветакету.

И тогда отец раскрывает ему высшее знание: «Вначале, дорогой, все это было Сушим, одним, без второго...».

Самое главное знание — это знание о том, что все в мире не чужое друг другу, не отдельное. Как капли воды, брызжущей в фонтане, являются отдельными каплями только короткий миг всплеска, но суть их, общая всем — вода; как все предметы, вышедшие из рук мастера, сделаны из одного и того же материала мыслью одного художника, — так все живое на земле родственно друг другу, имеет общую основу.

«И эта тонкая сущность, — продолжает учить отец, — основа всего существующего. То — действительность, То — Атман, и ты — это То, Шветакету!» (Чхандогья-упанишада).

Атман — слово очень широкого значения: основа индивидуальной души, дыхание, душа мира, символ единства вселенной и человека. В Евангелии мысль о чем-то близком выражена словами Иисуса: «Я и Отец — одно». Здесь, впрочем, мудрый отец говорит сыну о единстве, которое заложено в природе человека, но еще не раскрыто и должно быть раскрыто, осуществлено, осознано.

В ранних упанишадах термины «Атман» и «Брахман» употребляются иногда безо всякого соподчинения, как синонимы. Впоследствии за словом «Брахман» утвердилось значение, соответствующее сути жизни, единству бытия, существующего независимо от человека; за словом «Атман» — понятие о внутреннем духовном зеркале, которое отражает Брахмана и сливается с ним. Мысль о единстве приобрела форму тождества Атмана и Брахмана («Атман есть Брахман»)*. Но как бы ни менялись термины, основная тема упанишад остается одной и той же: подвести к пониманию единства мира, приблизить его к пониманию слушателя, сделать осязаемым.

* «Истина — Брахман, мир — это ложь; Атман и Брахман едины», — писал Шанкара (мыслитель IX или X века). Это значит: полностью реально только целое; а реальность предметов, фактов — мнимая величина, видимость без сути.

В самой древней из упанишад, «Брихадараньяке», есть рассуждение, очень напоминающее легенду об Аврааме: брахман-учитель объясняет ученику, что (или кого) надо почитать как высшее божество, Брахмана. «Того, который в солнце, я почитаю, как Брахмана», — говорит учитель. Но ученик оказывается проницательнее своего учителя и отвечает: «Нет, не говори мне о нем; я почитаю его, как главу всех существ, как царя...», но это — не Брахман. Учитель предлагает почтить луну — и опять ученик отвечает: «Нет, не говори мне о ней...». Учитель перечисляет пространство, ветер, воду, звуки, тень. И каждый раз ученик восхваляет их, но отказывается признать в них Брахмана. В конце концов учитель-брахман просит ученика-кшатрия поменяться ролями и поучить его. Тогда ученик говорит, что Брахман (или Атман) не ограничивается ни одним предметом, ни одним существом. Это все — не То. То — это некая мировая целостность. «Тот, кто, находясь во всех существах, отличен от всех существ, кого все существа не знают, чье тело — все существа, кто изнутри правит всеми существами — это твой Атман, внутренний правитель, бессмертный».

Подобно тому, как он находится во всех существах мира, так он находится во всех частях тела, отличаясь от каждой из них, — сущность всех сущностей, качество всех качеств. Что, находясь в глазу, отлично от глаза, находясь в коже — отлично от кожи; находясь в теле — отлично от тела? Зрение, одухотворяющее глаз, делающее его живым, — согласно упанишадам, находится в глазу и в то же время не является самим глазом. Осязание, одухотворяя кожу, все же не является кожей. Жизнь, находящаяся внутри тела и одухотворяющая тело, не является телом и т. д. Так мы приходим к пониманию Атмана. Речь не идет о каком-то новом предмете, неощутимом, увеличивающем бесчисленный ряд осязаемых предметов. Что-то качественно иное должно пересечь этот ряд, эту линию и создать вместе с ней фигуру — целостность.

Подобно птице над башней, кружится разговор упанишад над образом Атмана. Вот другой мудрец беседует с царем (приводим их разговор в сокращении):

- Какой свет имеет человек?
- Свет солнца, о царь!
- Когда солнце зашло, какой свет имеет человек?
- Луна служит ему светом.
- А когда зашли солнце и луна?
- Огонь служит ему светом.
- А когда зашло солнце, зашла луна и погас огонь, что служит ему светом?
- Речь служит ему светом... Поистине, царь, человек идет туда, где произносится речь, пусть даже там нельзя различить и собственной руки.

— А когда солнце зашло, зашла луна, погас огонь и замолкла речь, какой свет имеет человек? Что остается человеку в полном молчании, без мелькающих образов вещей, без слов даже, наедине с самим собой? Есть ли внутри него творческий источник жизни, или он зависит целиком от окружающего и не имеет опоры в самом себе?

Индийская философия говорит, что этот источник есть. Если образы внешнего мира не только мелькают на поверхности, развлекая ум, а проникают в глубь души, заходят туда, как солнце в море, тогда они потом взойдут новым внутренним образом, и это будет подлинная духовная жизнь. Атман — творческая суть души. Можно потерять все вещи, но если душа жива и глубока, она вновь создаст их. Если нет света вовне, его можно зажечь изнутри. «Атман служит ему светом, — отвечает мудрец на последний вопрос царя. Кто этот Атман? — Он... состоящий из познания, находящийся среди чувств, свет внутри сердца». «Там не бывает водоемов, лotosовых прудов, рек, но он творит водоемы, лotosовые пруды, реки. Ведь он — творец». И мудрец читает царю стихи:

*Над уснувшим телом бодрствует бессонный,
В безграничном мире совершая путь,
Искупавшись в блеске, в блеск преображенный,
Одинокий лебедь, золотая суть.
Покидая землю, из гнезда уходит,
Обогрев дыханьем темный дом пустой,
Плавает бессмертный в высоте, в свободе —
Одинокий лебедь, промельк золотой.
В синем царстве Браммы облачную стаю
Образов без счета он творит, смеясь.
Радостно играет, весь простор сплетая
В золотых узорах трепетную вязь.
Люди видят блики, волны и алмазы,
Только сам Великий вечно скрыт от глаза.*

(Перевод З. Миркиной)

Это образ живой, говорящий сердцу. Однако образ — лишь намек, лишь один поворот луча. Ученик должен понять, что образ не исчерпывает того, что не вмещается ни в какие образы, — бесконечности. А ученики все время пытаются схватить эту «золотую суть» руками, как реального лебедя. И тогда мудрецы придумывают другой ход: вместо того чтобы определять Атман положительно, говорить, чем он является, они определяют его отрицательно — говорят, чем он не является. «О нем можно сказать так: “Не это! Не это!”. Высший образ — словно огненное пламя, словно белый лотос, словно внезапная молния. И вот наставление: Не это! Не это! Ибо не существует другого обозначения, кроме “не это!”» (Брихадараньяка).

Итак, Атман и «То», и «не это». Сколько бы слов ни говорилось, они могут только подвести к познанию целостной истины, но никогда не раскроют ее, как слова о музыке не раскроют музыку.

Упанишады со священным трепетом относятся ко всему живому. Каждое существо достойно уважения и почитания, если живет не для себя, обособленно от всего мира, а для своего великого «Я», которое тождественно Брахману, в котором ты един со всеми другими существами и которое одно и есть реальность. Но все, останавливающееся на поверхности, на своем маленьком «я» — нереально, принадлежит к царству иллюзий.

Высшая реальность иногда раскрывается только в самые напряженные минуты, лицом к лицу со смертью. В «Катхе-упанишаде» мальчик Начикетас получает знание этой реальности от бога смерти Ямы. Когда он отверг все вещи, когда он почувствовал, что смысл жизни не в богатстве, не в юности, не в красоте женской, тогда бог смерти рассказывает ему об Атмане, которого надо открыть в самом себе. «Этот Атман не постигается ни толкованием, ни разумом, ни тщательным изучением; кого изберет он, тем он и постигается, тому этот Атман и открывает свою природу».

В упанишадах нет никакого бессмертия индивидуальной души. Но смысл жизни бессмертен, и человек, достигший его, побеждает смерть, становится свободным от страха смерти.

Таково это учение, сложившееся в Индии в середине I тысячелетия до н. э.

Татхагата (буддизм)

Наука свободы

Мудрецы упанишад собирали и хранили внутренний жар, как тайный лесной костер, в который каждый, по мере сил, подбрасывал новый пылающий уголь, новое вдохновенное свидетельство об Атмане.

Атман, этот внутренний огонь, «пламя без дыма», стал символом полноты и целостности бытия, таким же, как и Сущий и Неопалимая купина Библии. Однако ветхозаветный пророк, познавший Сущего, становился проповедником новой нравственности. А в кастовой Индии человек, познавший Атмана, бережно передавал свое знание избранным ученикам. Лесные школы разрабатывали все более и более изощренные «пути освобождения»: методы питания, дыхания, созерцания и т. п. Эта техника, эти методы выдвигались на первый план, и ученики застревали на них. Чье-то решение, чье-то слово заслоняли главное открытие упанишад: что духовная свобода доступна каждому и может быть пережита каждым без посторонней помощи, в самом себе, и что эта свобода ведет к новому человеческому облику, к совершенно новому человеку, для которого прежние правовые и прочие традиции (в том числе и кастовые) теряют силу.

Упанишады были связаны с брахманской традицией и не могли с ней порвать. Но на почве, подготовленной упанишадами, возникли новые учения: буддизм, джайнизм и другие.

По преданию, мальчик Сидхарта, впоследствии аскет, принявший имя Готамы (или Гаутамы), основатель одной из величайших мировых религий, был царским сыном. Небольшое царство его отца располагалось на севере, в предгорьях Гималаев. Царь выезжал смотреть за полевыми работами, и будущий Будда с детства привык лежать под деревом, погружаясь в созерцание далеких снежных гор. По другим преданиям, менее достоверным, но более поэтичным, это было могущественное царство, и счастливого принца растили в величайшей роскоши, заботливо оберегая от всех тяжелых впечатлений жизни. Но однажды за юношей не уследили: он вышел из благоуханного сада и на улице увидел беспо-

мощного старика, больного, покрытого язвами, и труп, который несли к площадке для сожжения. Это перевернуло душу счастливого царевича. Он больше не мог наслаждаться богатством, юностью, царством. И однажды принц ушел из дому и стал нищенствующим аскетом.

В этих легендах, временами напоминающих волшебную сказку, есть что-то исторически достоверное. Уже в старейшей из упанишад, «Брихадараньяке», можно найти свидетельства о кшатриях, ставших аскетами, учениками лесных мудрецов; некоторые, может быть (в нарушение правил), становились и учителями. Старший современник Будды Махавира (букв. «великий герой») или Джина (т. е. «победитель»)* — тоже царевич, ставший аскетом.

Сословие кшатриев к этому времени выделило целый слой искателей тайны бессмертия, своего рода «дворянскую интеллигенцию»; Гаутама Будда и Вардхамана Махавира — только самые замечательные из этой плеяды.

По преданию, Гаутама умерщвлял свою плоть шесть лет; в конце концов он научился жить одним конопляннм зернышком в день и с утра до вечера сидел, прижав язык к небу, стараясь не думать ни о чем суетном.

Во всем этом нет ничего необычайного для Индии. Вардхамана Махавира продолжал такие подвиги 13 лет, до полной победы над своей плотью, над всеми желаниями. Необычайно другое: то, что Гаутама почувствовал, что путь этот никогда не принесет ему удовлетворения. И вовсе не потому, что он не в силах его продолжать, а потому, что это не «То». Точно так же, как не То было все, преподаваемое ему многочисленными учителями. И вот, оставив друзей-аскетов, осыпавших его насмешками за отступничество, Гаутама удалился от них и жил скромно, питаюсь подаянием, но не голодая и не приневоливая себя сверх меры. Он предоставил собственной душе на свободе искать путь, следуя скорее вдохновению, чем методу. И однажды, сидя под деревом Бодхи, Гаутама что-то такое увидел и услышал, почувствовал и понял, что превосходило все слова, о чем можно было сказать только: «То». Что же это было? Вероятно, то же экстатическое вдохновенное состояние, что и у основателей других мировых религий. Состояние внутреннего открытия — открытия смысла мира, когда ряд ничего не говоривших сердцу разрозненных предметов вдруг видится, как некая величественная стройная целостность. Музыка вместо разрозненных звуков, гармония вместо случайностей. И сам человек чувствует себя некоей мировой раковиной, вмещающей всю музыку мира.

* Последователи его до сих пор существуют в Индии; их называют джайнами, а учение джайнизмом. В современной Индии насчитывается около миллиона джайнов.

У каждого из испытавших это рождался свой язык символов. Моисей и Мухаммед говорили, что они видели Бога; Иисус сказал, что он — одно с Отцом. Гаутама свое новое состояние назвал «татхата» (буквально: такость, абсолютная подлинность), а себя само-го — «татхагатай» (такостным, достигшим абсолютной реальности, по ту сторону слов). Больше не осталось старой затемненной природы. Он как бы озарился внутренним светом и почувствовал себя просветленным (буддой). Больше не у кого было учиться. Его непосредственно учила жизнь, с которой он каждое мгновение был связан. «Учась у самого себя, кого назову я учителем?» — передает слова татхагаты один из древнейших памятников буддизма, «Дхаммапада».

Главным принципом нового учения стал принцип свободы. Никакой авторитет не должен становиться между учеником и истиной, даже авторитет самого Будды. Ученик должен открыть истину сам и только сам. «Будьте сами своими светильниками», — скажет Гаутама перед смертью. «Сам человек совершает зло и сам оскверняет себя. Не совершает зла он тоже сам и сам очищает себя. И чистота, и скверна связаны с самим собой. Никто не очистит тебя, кроме самого тебя» (Дхаммапада).

Слово о молчании

В состоянии полной душевной ясности, духовного равновесия, «безветрия души», как говорят буддийские памятники, родилось само собой все то, что так напряженно искал Гаутама раньше. Когда Гаутама стал иным, ответы на мучительнейшие вопросы пришли, как слово «вечность», которое так внезапно складывается само собой у «оттаявшего» Кая в андерсеновской сказке.

Несколько недель Гаутама оставался один, созерцая и размышляя. Ему казалось, что люди не поймут его. Но потом он все-таки пошел к пяти аскетам, недавно смеявшимся над ним, с проповедью «срединного пути»: «О, братья! В две крайности не должны впадать вступившие на путь. В какие же две?

Одна из них в страстях, соединена с наслаждением, влечением, низкая, грубая, свойственная человеку непросвещенному.

Другая соединена с самоистязанием, скорбная, несвятая, связанная с тщетой.

Татхагата, обойдя обе эти крайности, нашел срединный путь, дающий прозрение, знание, ведущий к успокоению, высшему пониманию, нирване...».

В нынешнем своем составе эта первая (Бенаресская) проповедь продолжается учением о «четырех благородных истинах»:

1. Все сущее болезненно, несовершенно*. 2. У этой болезненности есть причина. 3. Причина может быть устранена. 4. Есть путь к устранению этой причины.

Мы скажем немного позже о том, что считает Будда причиной страдания, причиной несовершенства мира и что такое буддийская нирвана — блаженство, к которому ведет срединный путь. Сейчас же обратим внимание на сам язык Бенаресской проповеди. Учение Татхагаты изложено не как миф, не как ряд загадочных притч (хотя Будда иногда и пользовался языком притч), а как стройная, логически организованная теория, начатки которой доступны всякому ясно мыслящему человеку.

Будда стихийно исходил из принципа описания мира, сформулированного в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна (М., 1958): «То, что вообще может быть высказано, должно быть сказано ясно. А о том, что нельзя сказать ясно, надо молчать». Он отвечал «благородным молчанием» на вопросы: «Существуют ли боги? Или они не существуют? Вечен ли просветленный, погружившийся в Нирвану? Или и он не вечен? Вечен ли мир во времени? Бесконечен ли мир в пространстве?» и т. п.

Разгадка широты и гибкости буддизма именно в этом — не в том, что Будда сказал, не в том даже, как он это сказал, а в том, что самое важное он не договаривал. Эта недосказанность будила воображение, волновала, оставляла место рядом с рассудочной однозначностью и для поэтической многозначности. Будда показывал своим ученикам горсть листьев и спрашивал: «Много ли это?» — «Немного», — отвечали ученики. «А сколько листьев в лесу?» — «Неизмеримо больше», — отвечали ученики. «Так и то, что я сообщил вам, подобно горсти листьев, сравнительно с бесконечным числом листьев в лесу...». В другом (правда, более позднем) предании Будда, собрав учеников, молча улыбаясь, показывал им цветок. Это и была вся проповедь.

Будда не говорил, что не знает тайны жизни. Но он показывал, что не стоит говорить с человеком о том, что тот не пережил, что главное — подвести к **переживанию** целостности бытия. И каждое поколение, каждое течение разгадывало «благородное молчание» на свой лад.

Из проповеди основателя джайнизма, Махавиры, уверенного, что вселенная состоит из ясно обозримых частей и что он все их может описать, вышло учение, до сих пор сохранившее свои четко проведенные границы; но влияние этого учения на философию, науку, искусство не идет ни в какое сравнение с буддийским. Из проповеди Будды вышло множество «буддизмов», временами очень далеких

* Обычный перевод: «Все сущее — страдание» — не совсем точен.

от того, что хотелось бы увидеть Будде. Но зато разработка вопросов, поставленных Буддой, привела к возникновению нескольких замечательных философских систем, оставивших глубокий след в истории человеческой мысли. В рамках буддизма сложились психологические и логические теории, до сих пор сохраняющие свою важность для науки*.

Буддийский срединный путь был серединой не только между аскезой и распущенностью, но и еще в одном: между интеллектом и поэтическим чувством. Рассудочные натуры могли усваивать и развивать принципы буддизма в строго логической форме, а поэтически настроенные — отбрасывать философию и брать из «благородного молчания» то, что им подсказывало сердце и воображение. Именно поэтому буддизм стал не сектой или группой сект (как джайнизм), а религией для всех слоев общества, и для верхов, и для низов. Именно поэтому буддизм легко перешагнул границы Индии, стал мировой религией, системой культуры, объединяющей десятки народов Азии.

Наполненная пустота

Что же скрывает «благородное молчание» Будды? Что такое «нирвана», сущность которой он не считал возможным до конца раскрыть? Учение о Нирване сложилось как развитие учения об Атмане, Брахмане и Мокше («освобождении», реализации, раскрытии в себе Атмана). Но на почве буддизма это учение обогатилось новым нравственным смыслом.

Буквально «нирвана» означает угасание, остывание. Некоторые толкователи буддизма (а вслед за ними и многие европейские исследователи) пошли за буквальным смыслом слова, стали понимать нирвану как угасание, остывание жизни, небытие, пустоту. При этом понимании «четыре благородные истины» выглядели примерно так: жизнь есть страдание. Причина страдания — в жажде жизни. Только уничтожение жажды жизни, а с ней вместе и самой жизни ведет к успокоению, угасанию — нирване. Путь к нирване — путь к смер-

* Очень интересна буддийская концепция элементарных частиц (или дхарм) как мгновенных вспышек чего-то сущего и в то же время не-сущего (мы бы сейчас сказали: физического поля), подступы к понятиям бесконечно малого и нуля. Буддийская мысль подвела к открытию нуля, а возможно, и совершила это открытие. Один из древнейших индийских терминов, обозначающих ноль — «шунья» (пустота, ноль, ничто), — центральная категория буддийской мысли около начала нашей эры. Исключительного расцвета достигло также буддийское искусство. Вчувствование в «благородное молчание» вдохновило на создание поразительных икон, статуй, на строительство храмов, на литературу джатак (см. ниже).

ти, сперва духовной (полное безразличие ко всему, отрешенность), а затем и физической.

Но если это так, то Будда не был буддистом. Он не ушел в уединение, а всю жизнь провел среди людей, уча их, «радуя, трогая сердца». Этот мнимый враг душевного тепла говорил о просветленном: «В духе он обнимет любовью одну часть мира и другую, и тенью, и четвертую — весь мир беспредельный он обнимет любовью, безбрежною, великою, превысившей меру, и вглубь, и вверх, ивширь, и вокруг — повсюду». «Как сильный трубач, заставляющий себя слышать... так ни одно существо, имеющее образ, не обойдет он, не оставит, но на всех взирает свободным взором глубокой и теплой любви... Он объемерит мир помыслами жалости, сочувствия, утешения... великими, беспредельными, свыше меры» («О познании трех вед»). Речь здесь идет отнюдь не о духовной смерти, а о перенасыщенной духовной жизни, не о пустоте, а о полноте бытия. Однако путь в эту полноту действительно проходит через пустоту. Никаких утешительных иллюзий, никаких идей о телесном воскресении индивидуальной души Будда, как и учителя упанишад, не признает. Индийский мыслитель знал, что «тленно все созданное! Можно ли, чтобы рожденное, произведенное к жизни, не разрушилось? — Нет такого порядка вещей!» («Книга великой кончины»). «Состоящее из частей подвержено разрушению...» и т. д.

В христианском предании есть страшное место — последний вскрик Христа на кресте: «Отче, зачем Ты оставил меня?!». Напряженно ждали верующие, что сейчас разверзнутся небеса и раздастся голос с неба, и громы испепелят мучителей... Голос не раздался.

Будда призывал допить молчание до конца. Никакого голоса он не ждет (недаром буддизм называют религией без бога, а некоторые исследователи считают первоначальный буддизм нерелигиозной философией). Никакой помощи извне не будет. Человек должен стать лицом к лицу с реальностью. Обыденное сознание обрывается в пустоту. Но если не испугаться ее, если духовно пройти ее насквозь, произойдет чудо: абсолютная пустота окажется абсолютной полнотой, полнотой «неставшего, нерожденного, несотворенного».

Все внутри сознания. Ничего нет внешнего. Выход из смерти в бессмертие — это выход из обособленности, из своего маленького «я» во вселенский простор, в любовь, способную «духом обнять весь мир». Чувствуя как самого себя каждую звезду на небе и каждую травинку (и, конечно, каждого человека), человек становится причастным мировой бесконечности. Вместо количественной бесконечности «будущей жизни» открывается качественная бесконечность вечной жизни.

При таком понимании суть учения Будды мало чем отличалась от сути учения Христа. Но два человека, жившие в разных странах, использовали разные символы, и последователи, которые всегда держатся за слово, букву обожествленного учителя, разошлись по разным дорогам, искренне уверенные, что держатся единственно правильного пути.

Буддисты не испугались молчания, которое страшит большинство христиан, — и тут же поклонились молчащей пустоте как богу, сделали себе бога с обратным знаком, бога — ничто.

Все религии, ищущие утешения и спасения, похожи на пловцов, пытающихся удержаться на гребне волны. Их поднимает волна (порыв духа, создавший новый символ, новое слово), и они всеми силами пытаются убедить себя и других, что волна неизменна и вечна. На самом деле вечен только океан, которого они не видят, не охватывают взглядом. И его прославляет Будда, когда говорит: «Есть, о братья, несотворенное, несозданное, нерожденное...» Будда отрицает бессмертие отдельного, частичного, имеющего форму и имя. «Состоящее из частей подвержено разрушению», — говорил он на смертном одре. Но то, что открылось ему под деревом Бодхи, было неразрушимой целостностью. И то, что он сумел ощутить это, означало, что не представимая умом целостность есть в нем самом.

Все, что мы можем себе представить, объять умом, очертить, — разруσιμο. Но дух (не называемый Буддой) непредставим, не замкнут, не очерчен. Он вне формы. Его нельзя вообразить (вместить в образ), можно только почувствовать себя с Ним одним целым, причаститься Ему, почувствовать внутри себя самого «неставшее, нерожденное, несотворенное».

Утверждая смертность всякой формы, Будда открывает бессмертие непостижимого духа. И чем больше он отрицает бессмертие частного, отдельного, тем больше он утверждает бессмертие целого.

Мировая поэзия и философия не раз подходили к теме наполненной пустоты. Это вовсе не исключительная особенность буддизма.

Во второй части «Фауста» есть сцена, в которой Фауст просит Мефистофеля проводить его к «матерям» (сущностям мира, первоосновам). Мефистофель дрожит от страха: там — «пустота, ничто». И это приводит его в ужас. Фауст, охваченный предчувствием новой полноты жизни, отвечает: «В твоём ничто я мыслю Все найти». Там, где нет ни одной готовой, сотворенной формы, течет источник творчества всех форм. Именно эта пустота-полнота — суть Нирваны (как, впрочем, и Атмана, и некоторых других символов). В одном из буддийских памятников^{*} мудрец объясняет

^{*} «Милинда-паньха», ок. начала нашей эры.

царю, что такое Нирвана — примерно так же, как в упанишадах объяснялась суть Атмана. Нирвану нельзя ни увидеть, ни услышать, ни пощупать... Ее нет тогда! — восклицает царь. Мудрец указывает на ветер, который есть (хотя его нельзя пощупать), на пространство и т. п.

Общая мысль буддийской и небуддийской Индии — что мир только на поверхности разобщен, лишен смысла, не имеет оправдания. Чтобы вырваться из беличьего колеса противоречий, надо уйти из сансары (всего внешнего) в Нирвану (покой внутреннего мира, покой созерцания). «Никакие несчастья не случаются с тем, кто не привязан к имени и форме» («Дхаммапада»). Иными словами, все то, что может случиться с нашим телом, — не несчастье. Настоящее несчастье — это замутнение духа.

Здесь есть переключка с христианством. Христианские святые не раз говорили, что истинное несчастье — только грех, все остальное неважно. У великого христианского мистика Мейстера Экхарта есть образ нищего калеки, который чувствует себя всегда счастливым, потому что всегда славит Бога, никогда не разлучается с Ним. «На глубине бытия зла нет», — писал Августин. Утвердиться на глубине бытия, не дать ничему, никаким ветрам с поверхности смутить и отвлечь тебя — вот что называется в буддизме безветрием духа. Это состояние олицетворяет каменный Будда, сидящий в позе лотоса в абсолютном покое, в абсолютном слиянии с тем, что нетленно.

Однако это вовсе не означает полного отказа от мира. Мы уже говорили, что Будда, утверждая свой срединный путь, отвергал крайности аскетизма. В практике ряда направлений буддизма земное, в известной мере, признавалось, но утверждалась иерархия ценностей. И эта иерархия также подобна христианской. Первая заповедь для христиан, — как и для иудеев, — заповедь любви к Богу. Августин дал этой заповеди парадоксальную форму: «Полюби Бога и делай, что хочешь». Истинно любящий Бога человек хочет только того, что Бог велит. Если перевести первую заповедь на язык буддизма, выйдет примерно следующее: «Воздыми свой дух, укрепи свою связь с неставшим, нерожденным, несотворенным — и все сотворенное, созданное, рожденное очистится и встанет на свое место».

«Ищите Царствия небесного, и все остальное приложится вам», — говорил Христос. Этому же учат все высокие религии: прежде всего другого искать единства с той предельной глубиной, которая уже не наша, а Божья (даже если имя Бога не произнесено). Тогда придет единение и братство со всем живым; тогда умрет своеволие, умрут порывы агрессии. «Где исчезает желание уничтожить, там прекращается страдание» (Дхаммапада).

Образ совершенного человека, нарисованный в «Дхаммападе», перекликается с евангельским: «Я называю брахманом того, кто не будучи виноватым, сносит упреки, наказания, заточение, у кого терпение — сила, и сила — войско». «Я называю брахманом того, с кого страсть и ненависть, и гордыня, и лицемерие спадают столь же легко, как горчичное зерно с острия шила...» «Нельзя ударить брахмана, но и брахман пусть не изливает свой гнев на обидчика. Позор тому, кто ударит брахмана, и еще больший позор излившему гнев на обидчика».

Разлитый повсюду

Буддийские памятники осуждают желание продлить человеческую жизнь — такую, какая она есть, в бесконечность. Только «добродетели, прославленные мудрым, не отуманенные желанием будущих жизней и верой в силу обрядов, ведут к светлым и высоким думам» («Книга великой кончины»). Надо желать не продления жизни, а ее преображения. Однако в буддизме, как и в индуизме, нет современного представления о неизбежной смерти всего человека вместе со смертью его тела. Чувство вселенской связи со всеми и со всем заставляет смотреть на индивидуальную жизнь, как на маленькое звено в какой-то большой цепи. Ничто не обрывается в пустоту, не пропадает. Ни один листок, ни один вздох, ни один поступок, ни одно качество человеческой души. Все это влияет на ход мировой жизни, все взвешено на каких-то тайных вселенских весах, все рождается вновь, но каждая новая форма, новая жизнь обусловлена тем, как жила и действовала прежняя форма, прежнее звено. Это носит в Индии имя «карма» — закон воздаяния. Судьба каждой души — следствие ее кармы. Другой аспект той же теории называется по-гречески метампсихозом — переселением душ*. Согласно этой теории, каждой душе надлежит пройти бесконечный путь по кругу перевоплощений, как бы обойти всю вселенную, перебираясь из одного образа в другой. Конец жизни — смерть — есть всего лишь мгновенная остановка, своеобразная пересадка в другой поезд — другое тело. Каждое новое тело предопределено кармой — заслугами или грехами жизни предыдущей.

Можно по-разному оценивать этот закон. В нем есть и какое-то предвосхищение теории наследственности, и какой-то подступ к идее исторической преемственности, сохранности поступков наших прапрадедов в сегодняшней жизни. Во всяком случае, всеобщая вера в метампсихоз и закон кармы была психологической реальностью в Индии. И она не позволяла видеть в Будде только

* Некоторые древнегреческие мыслители придерживались этого учения.

Будду. Вернее, жизнь Будды, с буддийской точки зрения, — это не только жизнь Гаутамы. Гаутама жил и умер, а Будда разлит повсюду. Он возрождается и возрождается в тысячах обликов (вовсе не обязательно человеческих). Будда (подобно Агни) находится во всем: в людях, в животных, в растениях, в богатых стихиях старого пантеона.

Притчи и сказки о предыдущих воплощениях Будды называются джатаками. В джатаках Будда существует в образе зайца, оленя, рыбы, черепахи, обезьяны, слона, святого отшельника, доброго царя, мудрого царевича. Иногда он принимает даже образ царя богов — Индры. Сам по себе образ не имеет значения. Будда одухотворяет и просветляет любой образ. Человеку (или богу) больше дано, чем животному, — ему легче выполнять вселенский закон добра и любви. Но принципиального превосходства человека (или бога) нет.

В одной из джатак «Великосущий» рождается в семье брахмана и, возмужав, становится отшельником, созерцающим заросший лотосом пруд в глубине прекрасного леса. Однажды Индра попытался испытать отшельника, отняв у него пищу. Выдержав испытание, отшельник с достоинством говорит: «Мы не родня и не друзья тебе, мы не твои актеры и не шуты; так по какому праву ты, о царь богов, к отшельникам подходишь с шутками такими?». Только когда царь богов становится бодисатвой, он действительно может царить над всеми существами. Одна джатака рассказывает о таком рождении бодисатвы*. В качестве царя богов он должен был воевать со злыми асурами. Индра остался один на своей колеснице, запряженной тысячью коней. Ему ничего не оставалось, как развернуться и уходить вслед за своим войском. Но когда возница стал разворачиваться, бодисатва заметил, что они задевают дерево, на котором прилепилось гнездо с птенцами. «Остановись, ты погубишь птенцов!» — закричал он вознице. Возница возразил, что иначе нельзя повернуть. «Тогда не надо разворачиваться! — решает царь богов. — Езжай вперед, как ехал». — «Мы одни, мы погибнем!» — «Пусть. Это лучше, чем раздавить невинных».

И возница поехал вперед. Демоны, увидев, что царь богов едет на них как ни в чем не бывало, дрогнули. А боги, увидев смятение демонов и невозмутимость своего царя, пристыженные, повернули обратно. Асуры были разбиты.

Одна из самых прекрасных и мудрых джатак — джатака о царевиче Сутасоме. Находясь в плену у людоеда, сына царя Судасы,

* Бодисатва (или бодхисаттва) — просветленный, останавливающийся на пороге нирваны, чтобы помогать другим существам.

Сутасома думает вовсе не о своей жизни, а о том, что сейчас происходит с мудрецом-брахманом, который приехал из дальних стран к нему, Сутасоме, чтобы прочитать свои прекрасные изречения. И вот все путешествие его оказалось бесполезным. Сутасоме до слез стало жалко брахмана, и он попросил людоеда отпустить его, пообещав вернуться после того, как выслушает изречения. Людоед расхохотался: «Что заставит тебя вернуться ко мне?» — «Ведь я обещаю тебе, — ответил Сутасома. — Неужели ты думаешь, что я смогу жить, нарушив слово?». Людоед со смехом отпускает царевича: «Прекрасно! Он так хвастается своей правдивостью. Ну так я проверю его. Пусть идет. У меня и без него сто царевичей». Сутасома, однако, вернулся, как обещал. Тогда изумленный людоед просит его пересказать изречения мудреца. Сутасома отказывается. Людоед раздраженно говорит: «Ты не большой знаток житейской мудрости. Отпущенный мною, ты вернулся ко мне на смерть. Какой мудрый человек сделает это?» — «Наоборот, я очень опытен в житейской мудрости и потому не хочу прибегать к ней, — ответил Сутасома. — Что в этой опытности, которая сохраняет жизнь, лишая ее смысла?».

Слова Сутасомы взволновали и покорили людоеда. Он почувствовал любовь к необычному пленнику. Увидев его искренность, Сутасома пересказал ему изречения мудреца. Людоед был совсем покорен и хотел дать царевичу четыре любых дара. Но Сутасома отказался. «Ты не властен над самим собой, какой же дар ты можешь дать другому?» Наконец, после ряда просьб, Сутасома называет четыре желанных дара и среди них — требование отказаться от людоедства. Людоед, понурившись, отвечает, что этого он не может выполнить. «Так вот ты какой! — восклицает царевич. — Видишь, ты способен подарить и пожалеть об отданном. Говорил, что жизнь готов отдать за меня, и вдруг дрогнул, пожалел свои прежние привычки. Очнись! Ты, мужественный в боях, не будь трусом, когда надо бороться с самим собой!»

Эта бескровная борьба кончается победой Сутасомы. Он не шел ни на какие компромиссы, не соглашался принять дары от людоеда (оставшегося людоедом) — и преобразил его. Полуправда, полудобро принимают дары от людоеда и остаются жить бок о бок с людоедством, беря его под свою защиту, благословляя его. И тогда людоедство побеждает, а полуправда, полудобро становятся лекарством, успокаивающим людоедскую совесть. В сказке победил Сутасома; в жизни, как правило, побеждал сын Судасы.

Образ мудрого учителя, отвергшего помощь богов, обожествляется. Он сам становится богом. Воображение, жаждущее магических помощников, создает целый пантеон будд и бодисатв: мудрости, любви, сострадания и т. п. Достаточно им хорошенько помо-

литься — и кончатся все несчастья, и вы очнетесь в западном раю, на Чистой Земле. Этот буддизм ближе массам, чем учение Гаутамы, и он торжествует. Все старые легенды, успокаивающие человеческое невежество надеждами на будущую жизнь, приобретают новые, буддийские формы... Как это произошло, мы расскажем в следующей главе.

Две естественности (спор буддизма с индуизмом)

Отчаянье Арджуны

Основные идеи буддизма мало чем отличаются от идей, рассыпанных в упанишадах. Что же нового внес буддизм? Он облек эти идеи в плоть и кровь, родил новый человеческий облик и новую мораль.

Буддийская и добуддийская мораль относятся друг к другу примерно так же, как новозаветная и ветхозаветная. Конфликт нового со старым, духовного обновления с косной традицией имел место в Индии, хотя в особых формах. Индуизм исходил из того, что мир сложился раз и навсегда и существует в вечном круговороте форм, но без какого бы то ни было сдвига к лучшему. Существует добро и зло, любовь и ненависть, войны, неравенство, угнетение. Все это естественно. Поэтому надо выполнять предписанное от века. Если ты воин — убивай, если погонщик слонов — коли животное своим посохом. Общество разделено на касты. Это естественно и священо. Так и должно оставаться. Верность кастовой морали поддерживает общество в каком-то равновесии.

Буддизм утверждает, что состояние вечных противоречий вовсе не единственное естественное состояние мира. С появлением просветленного человека в общество вносится духовный свет, утверждается сосуществование двух естественностей, старой и новой, и новая естественность может победить старую. Желание давать более естественно для человека, чем желание брать. Желание охранять беззащитного птенца более естественно, чем садистское желание вешать кошку за хвост. Законом человеческих отношений должно стать великое сострадание друг к другу, сострадание ко всему живому. Общество устроено не так, и неизвестно, как его перестроить, но буддизм обращается к каждой личности, минуя касты, сословия, племена: не убивай (даже если ты родился воином!), не бери чужого, даже если ты родился в касте воров (есть и такая в Индии), не развратничай и т. п. Нет силы в мире, которая может помешать тебе быть Человеком.

Будучи не в силах преобразить все общество, буддисты собирают общину беглецов от мирского зла — нищих монахов, живущих по новым законам сострадания и любви. Община по идее должна была издали светить миру, быть живым примером нового миропорядка. Надежда на то, что мир когда-нибудь примет закон сострадания и любви, вызвала к жизни миф о Будде Майтрейе*, Будде будущего (нечто вроде христианской легенды о втором пришествии Христа). Он должен прийти и утвердить любовь на земле. Но практически буддизм ограничивается монастырем. Так впервые возникло это учреждение, которое второй раз открыло и создало, через 800 лет, христианство. В истории буддизма отчетливо видно, что первоначально монастыри — это убежища для людей, не способных жить по-старому и в то же время не способных переделать общество. В обители создавался новый порядок, основанный на равенстве всех монахов в совместном, демократическом решении всех вопросов. Некоторые монастыри впоследствии стали университетами древней и ранней средневековой Индии. И хотя независимость монахов, опиравшаяся на готовность жить подаянием, не имея семьи и детей, иногда превращалась в зависимость от власти имущих, монастырь стал особым царством, физически реальным «царством не от мира сего».

Это царство никому не грозило и готово было ужиться с кастами. Кастовый строй сохранился в несколько смягченной форме на буддийском Цейлоне (Шри Ланка). Но одна варна исчезла: брахманов заменила «разночинная» сангха, община буддийских монахов. Поэтому существовала, по крайней мере, одна общественная группа, решительно враждебная буддизму: брахманство. Отдельные брахманы могли стать и становились буддистами, но брахманство «как класс» вело с буддизмом борьбу не на жизнь, а на смерть, объединяя и воодушевляя все силы «ветхозаветного» общества, воспринимавшие самый скромный зачаток идеи преобразования мира, нравственного прогресса как ересь.

Гаутаму не отравили, как Сократа, и не распяли, как Иисуса. Борьба шла в других формах. Кое в чем брахманизм уступил: признал право любого человека — кем бы он ни родился — стать отшельником, саньясином; признал равенство всех людей в любви к Богу, в поисках внутренней, духовной свободы. Эти сдвиги ознаменовали переход от брахманизма к индуизму, каким он существует со средних веков. Но индуизм по-прежнему считает обязанностью каждого выполнять долг солдата, чиновника, палача — то, что велит закон касты. Это учение с большой энергией высказано в священной книге индуизма «Бхагават Гите».

«Бхагават Гита» возникла незадолго до нашей эры, как вставной эпизод в огромной эпической поэме «Махабхарата», несколько напо-

* «Майтрейя» значит любовь.

минающей «Илиаду». Индийский эпос длиннее и фантастичнее — по объему это не книга, а целое собрание сочинений, с многочисленными вставками философского и научного характера. Но нравственный облик героя ее мало чем отличается от воинственных героев Гомера. Образы богов тоже напоминают олимпийцев (громовержец Индра, солнце — Сурья и др.), однако индуистский пантеон обновляется, и в «Бхагават Гите» боги стихий отодвигаются в тень и растворяются во всеобъемлющем божестве Вишну, величественном, как библейский Творец. У него множество обликов, аватар, в которые он последовательно воплощается, восстанавливая нравственный порядок. Один из аватар — богочеловек Кришна*, могучий победитель демонов.

Сюжет поэмы — вражда и битва двух аристократических родов, Кауравов и Пандавов. Главный богатырь Пандавов Арджуна — герой поэмы. Сам Кришна становится его возничим.

Накануне решающей битвы, в ночь перед сражением, отчаяние охватывает Арджуну. Поле Куру (реальное поле битвы) превращается в поле дхармы**. Начинается разговор человека с его богом, с его совестью. «Я не желаю победы, Кришна, ни радости, ни удовольствий. Что нам в царстве, что в наслаждениях жизни!..» Его противники — родные: двоюродные братья, дядя, наставники, старый дед. «Не хочу убивать их, даже ради власти над тремя мирами, тем более ради обладания землей...»

Ответы Кришны не могут до конца утолить сердце Арджуны. И тогда Кришна-Вишну сбрасывает облик человека и на одно невыносимое мгновение открывает свою подлинную природу. Это подобно тысяче солнц, одновременно засиявших на небе***. В остановившееся мгновение экстаза образ бога покоряет человека, и он падает перед ним ниц, как Иов перед Яхве. После этого Кришна (снова став человеком) разъясняет закон, рассеивает последние сомнения Арджуны.

Смысл жизни, оказывается, вовсе не в войне, и не в победе, и не в завоевании царств. Все это — преходящее, мелькающее, все — не «То». Никакие дела не приведут в глубину глубин, к Атману. Дела совершаются на поверхности. А в глубине душа должна остаться незатронутой, незамутненной. Важно не то, что ты сделал, а то, сколько любви, ненависти, корысти или бескорыстия вложил ты в свое дело.

Человек не отвечает за свой кастовый долг, как тигр не отвечает за то, что создан тигром и должен питаться мясом. Поэтому не участвовать в мировом зле нельзя. Это значило бы не принимать мира с его

* Кришна и Рама — полные воплощения Вишну, сравнимые со второй ипостасью христианской Троицы. Неполные воплощения примерно сравнимы со святыми. Например, аватарой Вишну обычно признается Махатма Ганди.

** Т. е. в поле спора о нравственном порядке.

*** Образ, вспомнившийся Р. Оппенгеймеру, когда была впервые взорвана атомная бомба. Отсюда — название книги Юнга об атомщиках: «Ярче тысячи солнц».

законами борьбы и смерти — не принимать эту тысячу солнц, вспыхивающих в небе. Не действовать нельзя. «Если бы я не действовал, — говорит Бхагават (Господь), — то моим путем пошли бы все люди, и исчезли бы все эти миры». Но действуя, участвуя в злых делах, надо по возможности не делаться злым. Действуй механически. Ты — марионетка необходимости. Если тебя дергают за веревку — не своевольничай, слушайся господина (кармы, истории). И пусть тигр будет тигром, воин — воином. Каждый пусть следует свадхарме (тому, что ему на роду написано). Ты можешь вырасти над этим законом, признавая его господином только тела твоего, а не духа. «Без надежд, укротивший свои мысли, покинув всякую собственность, только телом совершая действие, он (человек) не впадает в грех». «Без недоброжелательства, равный в успехе и неудаче, не связывает себя, даже действуя». «Чей разум не запятнан, тот даже убив, не убивает».

Весь огромный монолог Кришны — это учение о том, что прежде всего, в любых обстоятельствах надо уметь отдавать «богу богово». Это кажется похожим на христианскую мораль. Но где граница между «божьем» и «кесаревым»? Не слишком ли много Кришна отдает кесарю (господину «тела») — всю «внешнюю» жизнь, все дела человеческие? Кришна отвечает Арджуне: тигр рождается тигром, воин — воином. Нельзя нарушать миропорядка. Нельзя быть противоестественным. Это верно — если считать, что есть только одна естественность, если не верить в очеловечивание мира, преобразование одной естественности в другую. Но тигр, не захотевший убивать, уже совсем не тигр. С точки зрения морали тигров он — плохой тигр, с точки зрения иной морали, он, может быть, просто становится другим существом. Это все та же сказка о гадком утенке. В предчувствиях библейских пророков она звучит так: «Волк будет жить вместе с ягненком», «лев, как вол, будет есть солому», «младенец будет играть над норой аспида», «и перекуют мечи свои на орала».

Символ полного преобразования мира по-своему разработал и буддизм. В одной из джатак бодисатва, видя исхудалую тигрицу с пустыми сосцами и умирающих от голода тигрят, исполняется таким состраданием к ним, что приносит себя добровольно в жертву. Смысл жертвы, конечно, не в том, чтобы кормить тигров человеческим мясом. А в чем же? По другой джатаке, Будда укрывает голубя от тигра, и тогда тигр подступает к нему, подобно Кришне в «Бхагават Гите» — защитником мирового порядка от сентиментального прекраснотушения. «Не я создал себя таким, — говорит тигр. — Если ты такой добрый, то накорми меня». Будда отрезает кусок своего тела и кладет на одну чашу весов, а на другую — голубя. Голубь перевешивает. И сколько бы ни прибавлял Будда кусков — голубь все равно перевешивал. И только когда Будда сам встал на весы, чаши их уравновесились.

Каждая целостность равна другой целостности. И потому человек, желающий изменить миропорядок, должен отдать этому всего себя, себя самого положить в основу. Жертва, принесенная во имя сострадания и любви, имеет смысл не для того, чтобы накормить тигра и оставить порядок тем же, а только как начало нового миропорядка. Готовность к самопожертвованию должна преобразить мир, потрясти его. Те, кто предпочитают быть убитыми и распятыми, чем убивать и распинать, кладут основание новому миропорядку.

Человек, отказавшийся убивать, не бездействует. Он тоже действует, но иначе. В нем действует не «карма», не род, не общественная группа, а внутренняя готовность, решимость личности. Эта решимость не должна скрываться, прятаться от «мирской грязи», от «временного» и «преходящего». Она может и должна обнаруживать себя (чего бы это ни стоило), привлекать к себе, «светить миру», быть примером человеческой свободы в царстве необходимости. Не все можно совершать механически, оставляя незатронутой внутреннюю жизнь. Есть действия, убивающие душу. Человек, принявший «карму» или «дхарму» палача, обрекает свою душу на смерть и распад. До поры до времени солдат и даже полководец могут рассуждать так, что он дал присягу и должен быть послушным орудием родины, или истории, или еще чего-то. Но приходит момент, и дальше так рассуждать невозможно. Солдат становится военным преступником. Как Аника-воин, про которого бабушка сказывала Алеше Пешкову:

Злого бы приказа не слушался,
За чужую бы совесть не прятался...

В первые века своего существования буддизм, как и христианство, помогал такому скачку сознания. Джатаки дают множество образцов царей-святых, управляющих миром по закону любви, а не выгоды. Конечно, в реальной жизни таких царей было мало. Но об одной истории Индии сохранила память. Это император Ашока, содрогнувшийся, как Арджуна, при виде десятков тысяч людей, которых пришлось убить, чтобы покорить независимое, свободолюбивое царство Калингу (на юге Индии). Он приказал вырезать на скалах по всем границам империи, что навсегда отказывается от войны, что больше не будет посылать в чужие страны войска, а только буддийских миссионеров, проповедников ненасилия. Надписи Ашоки уцелели до сих пор. Колонна Ашоки (со львами на капители) стала гербом республики Индии.

Теологические поддавки

Два раза буддизм становился чем-то вроде государственной религии Индии — при Ашоке (III век до н. э.) и при царях чужеземной Кушанской династии (в I—II веках н. э.). Но старая, «ветхозаветная» традиция, обновившись под влиянием буддизма, изменив свою форму, постепенно вернула утраченные позиции. Это произошло очень своеобразным и незаметным образом. Буддизм, шаг за шагом приспособляясь к народным верованиям, «просветил» индуистских богов и признал их бодисатвами. А индуизм, убедившись в популярности Будды, признал его аватарой (воплощением) Вишну. Вишну, согласно индуистской теологии, рождался последовательно в образах рыбы, черепахи, вепря, человеко-льва, карлика, человека с топором (т. е. дикаря), Рамы и Кришны*. И вот к ним прибавился еще один — образ Будды. Вернее имя, потому что образ этот терял свои особые черты.

Буддисты включили в свой культ индуистские праздники; индуисты стали отмечать дни рождения и просветления Гаутама. В результате обе религии перемешались. Средний человек без помощи теологов потерял возможность разобраться, чем одна из них отличается от другой. Это пошло на пользу индуизму, но буддизму было во вред.

Индуизм только выиграл, потеряв монопольное положение в обществе. Соперничество с буддизмом заставило его развиваться, оставить мертвых богов и обогатить представление о живых, Вишну и Шиве. Постепенно все местные и природные божества были собраны и переосмыслены как воплощения Вишну или Шивы. А Вишну и Шива были объединены с Брахманом в Троицу — тримурти (см. ниже). Это было хорошо как форма культурного единства средневековой Индии. Но в многоликом единстве Гаутама, Татхагата, с его принципиально новым отношением к жизни, расплылся. Среда, затронутая буддийской философией, перестала сознавать себя как носителя нового принципа; она стала — как и прежде — частью старого кастового общества.

Индуизм — религия, не имеющая никакого особого принципа, кроме верности культурной традиции; у нее может быть сколько угодно лиц. А буддизм — религия авторская, у нее одно лицо, один высший образ, пусть загадочный, недосказанный, но человечески неповторимый, индивидуальный. Индуизм возможен и без Варуны — с Индрой; и без Индры — с Вишной и Шивой. Он может проститься и с ними. А буддизм без Будды и его учения также немислим, как христианство без Христа.

* Этот миф — одна из догадок об эволюции жизни.

Как мы уже говорили, в одной из джатак Будда приходит на небо и просветляет всех богов. Это значило, что он просветляет все стихии, стихийные чувства человека, — преобразует мир. В действительности этого не произошло. Мир остался борющимся, страдающим, ревнующим, ненавидящим, не поднявшимся до «безветрия души» и бескорыстной любви. Появился новый высокий образ, образ человека «не от мира сего». Этот образ был запечатлен во многих прекрасных произведениях искусства. Но Будда не стал всенародным идеалом. Он остался непонятен простому человеку. В самом буддийском культе между ним и верующим встали всевозможные посредники. И постепенно эти посредники, совпадавшие с богами, почитавшимися в соседних индуистских храмах, привели паломников к старой вере.

Индуизм хорошо учел народные потребности в ярком праздничном культе, в праздничной разрядке. Он не пытался изменить безрадостные будни, но зато эмоционально насыщенные обряды, сохранившиеся у примитивных племен Индии, были им впитаны и заново переработаны. Современный индуизм — это религия великолепных храмов, выразительной скульптуры, захватывающих шествий. И в этом праздничном ликовании он заново утверждает старую кастовую мораль, господствующее положение брахманов в обществе и бесправие неприкасаемых. А буддизм продолжает существовать как мировая религия Южной и Восточной Азии, и в каждой стране у него своя история и своя судьба.

Возмездие стихий

Срединный путь, проповеданный Гаутамой, никогда не выходил за рамки узкого круга мыслителей и поэтов. Религиозное развитие Индии, шло ли оно формально за Буддой или нет, по сути своей знало скорее два крайних пути, а никак не срединный. В народном быту продолжали жить грубые суеверия, и религия становилась культом духов, требовавших магических обрядов. А интеллектуалы изгоняли из своих чувств всякий образ предметности, превращали «ничто» (образ «всего») в бессодержательную пустоту.

Образ Атмана в древних упанишадах поразительно уравновешен. Недаром он ассоциируется с живой птицей (в нашем переводе — лебедем). Гармония, равновесие духа и тела считается высшей мудростью. Авторы упанишад — еще не монахи; они не умерщвляют свою плоть; их покой — естественный покой духовной зрелости. В нем ничего не подавлено и не потеряно.

Достигая равновесия, дух легко, «неволью» выражает себя в образах, в свободной игре («образы без счета он творит смеясь»). В од-

ной из упанишад сказано: «Только тот достиг конечной истины, кто знает, что весь мир есть создание радости». Это близко к идеальному поэту, нарисованному Пушкиным в Моцарте, и очень далеко от сурового аскетического Сальери, изнемогающего под тяжестью жизни. Такая крайность никому не нужна. Она — не То!

То — это вошедшее в плоть и кровь **одновременное** ощущение мира как единства, целостности — и богатства бесчисленных обликов, предметов, деталей*. Когда это равновесие найдено, жизнь становится творческой игрой, качаньем на качелях, где один уравнивает другого (любимый образ позднейшей индийской поэзии). В древнеиндийской религиозной жизни равновесие было нарушено. Аскетизм, характерный для джайнов и многих буддистов, не сумевших понять «срединный путь», пытался удержать качели поднятыми вверх, в чистом царстве отрешенности. Это не получилось. Земная тяжесть потянула вниз. По закону возмездия, по закону контраста в «высокие», «писанные» религии Индии пришла из народных низов другая крайность. Плоть, стихия, чувственно осязаемая форма, насильственно изгнанные, замученные аскетами, потребовали своего утверждения в правах.

Примерно с V века н. э. в Индии расцветает тантризм, учение о связи плоти и духа. Обратной стороной аскетической Индии становится Индия ваххическая, Индия Шивы**. Философия индуизма создала свое триединство: творец Брахман, хранитель Вишну и разрушитель Шива. (Разные религиозные течения поклонялись либо Шиве, либо Вишну, в его отдельных воплощениях, признавая свой любимый лик главным, но не отрицая и других. Брахман, наиболее почитаемый когда-то, но наиболее отвлеченный, почти не имел поклонников.)

Тантризм сильнее всего связан с культом Шивы, доарийского бога дравидов, бога-шамана. Он — вечное движение, космический поток, разрушитель и формы, и бесформенности. В поэзии Индии Шива осмыслен как могучий водопад жизни, как все сметающий и всегда правый поток, стирающий ставшее, чтобы вновь сотворить его. Это полнота бытия, как вечного движения — смерти, разрушающей смерть. Вот как этот голос из бури звучит у Р. Тагора:

Мир — наводнение, лава движенья, вал бытия.

Пенится суцая, слезы несущая, радость взметнувшая жизни струя.

В свободном небе, в сплошном сверканье

Поток свободный ломает грани!

* Всесильный бог любви, всесильный бог деталей, Ягайлов и Ядвиг.. (Б. Пастернак).

** Один из ликов индуистской троицы. Эпитет «сумасшедший» для тамилгов (народности юга Индии) — обычный синоним Шивы.

Радость движенья, радость без края:

Вихрь разрушенья смерть разрушает!

(Из стихотворения «Бегущий», перевод З. Миркиной)

Если человеческий разум древности так запутался, что вместе со злом жизни готов был отказаться от самой жизни, то средневековая Индия, реабилитируя плоть, вместе с ней оправдывает и возможность зла, которую несет космический поток. Вихрь Шивы сметает не только мертвое. Он сметает все. И все равно ему поклоняются. В этой недвойственности очень легко потерять все вехи.

Тантризм затронул не только индуизм, но и буддизм, к этому времени трудно отличимый от индуизма. Срединный путь, проповеданный Буддой, заменяется в буддийской тантре «молниеносным путем». Тантризм получает свое философское обоснование. Всякое тело — сосуд духа. Поэтому телесное блаженство, истолкованное и пережитое как духовный символ, ведет за собой духовное блаженство. Чем интенсивнее наслаждение, тем короче путь к духовному освобождению.

Любование стихийным, экстатическим, превосходящим разум становится общей характеристикой средневекового религиозного искусства, занявшего место классического, с его чувством вселенского равновесия и человечностью высшего образа. Достаточно сопоставить Будду, спокойно сидящего, но с лицом, полным внутренней жизни, и пляшущего Шиву. Кроме явного огрубления человеческого образа, индуизм восстановил почитание животных: священных коров, обезьян, быка Нанды, змей. Человек созерцает в них как высшее то, что всего лишь живое. Из глубин народной памяти всплывают и развиваются древние культы страстных демонов. Почитание богини Кали (Дурги)* приобретает иногда изуверские формы, дает выход порывам иступления, темным подсознательным силам.

Образ Кали повлиял и на буддийский тантризм; богиня только переименовала имя и стала называться Ваджраварахи:

«Ом! О Ваджраварахи! Истреби, истреби живых! Бушуй, бушуй! Молниедержица, иссуши! Украшенная черепами в сияющих алмазах! Пожирающая груды мяса! Опясанная человеческими потрохами! Украшенная бусами из мужских голов! Истреби, истреби живых! Великая, победительница демонов! Олицетворение гнева! Богиня с выступающими клыками!..».

Это — часть мантры (заклинания), до сих пор бытующей в тибетской йоге. Текст ее возник в буддийской Бенгалии около XII века.

* Кала (в женском роде Кали) означает время и разрушение, смерть. Шива — Махакала, его супруга — Махакали, или просто Кали.

Флейта Кришны

Более мягкие и человеческие формы принимает культ Вишну. Любовь и праздник торжествуют и здесь; рассудочные «пути спасения» и здесь отодвигаются в тень. Но вишнуистские праздники и вишнуистская любовь — не такие исступленные, как вшиваизме. Идолам приносят в жертву цветы, а не животных. Культ небесной возлюбленной ближе к почитанию мадонны, чем к Кали и Ваджраврахи.

В своей светлой, поэтической форме культ небесной царицы и земной культ дамы всегда шли рука об руку, помогая друг другу. Почитание Девы Марии облагораживало земную любовь, а земная влюбленность придавала небесной плоть и кровь. Индия в этом отношении не очень отличалась от Европы. Бенгальского поэта XIV века Чандидасу сравнивают с Данте, а его возлюбленную Рами (девушку из касты прачек) — с Беатриче.

«Я нашел прибежище у твоих ног, моя возлюбленная, — писал Чандидаса. — Ты для меня как мать моего беспомощного ребенка. Ты моя богиня, венки вокруг моей шеи, моя вселенная. Все во тьме без тебя. Ты — смысл всех моих молитв. Я не могу забыть твою прелесть и твое очарование. Но в моем сердце нет желания... Тот, кто охватывает собой вселенную, зримую и незримую, может быть найден только человеком, познавшим тайну любви» (прозаический перевод).

Параллельно с тантризмом, переплетаясь и переключаясь с ним, развивается течение бхакти (любовного служения богу). Бхакт — человек, преданный богу до самозабвения. Еще в «Бхагават Гите» говорится о бхактах. Арджуна является бхактом Кришны (Вишну). Однако его отношение к богу — это отношение ученика к учителю. Отношение к богу средневекового бхакта — отношение возлюбленной к возлюбленному. Образ бога делается интимно близким. Вселенную любят как любовника или любовницу, а близкого человека — как вселенную. Поэзия бхакти — это священная поэзия любви, ставшая новым откровением, дополнившим гимны Вед. Бхакти оказало большое влияние даже на отвлеченную философию (в ее поздних формах). Иконография, развивая мотивы лирики бхакти, дала народу новые высшие образы, любовь к которым окрашивает современные индуистские праздники.

Самый любимый образ средневековой Индии — Кришна. Это не Кришна «Бхагават Гиты», суровый мудрец и воин. Лирика бхакти воспела другого Кришну, ребенка и юношу, воплощение таинственной прелести жизни. Воспитанный пастухами, он рос вместе с ними, влюбился в пастушку Радху, водил хороводы с ней и ее подругами. Когда темнолицый юноша брал в руки свою флейту — вся

природа начинала танцевать, подчиняясь чародею. Образ Кришны с флейтой в руках то прост и понятен каждому, то теряет четкие очертания, становится символом притягательной силы, разлитой во всем, повсюду, и возлюбленный Радхи незримо обнимает всех девушек Индии. Его игра — символ «лилы», божественной игры, творящей мир. Его музыка — это музыка сфер, гармония вселенной, которую человек угадывает самой тайной глубиной своего сердца. Волшебная флейта раздается из самой вечности. Все, что способно слушать, не может перед ней устоять. Даже змеи выползают из своих нор, даже глубоко скрытая в сердце скорбь становится светлой:

*...От глубин до высот
 Все раскрывается — души и двери, —
 Флейта твоя в потаенной пещере,
 Флейта к тебе меня властно зовет!
 Мрак оставляя,
 Ползет вековая
 Скрытая в сердце-пещере змея.
 Свитая мгла
 Тихо легла, —
 Флейта ей слышится, флейта твоя!
 О, зачаруй, заколлуй, и со дна
 К солнцу, к ногам твоим выйдет она.
 Вызови, вызволи, вырви из теми!
 В ярком луче отовсюду видна,
 Будет как пена, как вихрь и волна,
 Слитая в танце со всем и со всеми,
 Виться под звон,
 Распустив капюшон.
 Как подойдет она к роще в цвету,
 К небу и блеску,
 К ветру и всплеску! —
 Пьяная светом! Вся на свету!*

(Р. Тагор, перевод З. Миркиной)

Призраки храма

Культ Вишну и культ Шивы постоянно влияют друг на друга, проникают друг в друга. Мы уже говорили, что боги Индии вообще легко усваивают чужие функции. В ведический период это происходило с Индрой и Варуной, потом — с Индрой и Вишну, а в средние века — с Вишну и Шивой.

В каждой традиции поэт находит волшебные образы, фанатик — повод для изуверства, консерватор — способ защиты своих привычек. Шиваизм и вишнуизм одинаково поддерживали сати (самосожжение вдов, бросавшихся в погребальный костер мужа; этот обычай был запрещен лишь в XIX веке); они одинаково стояли на защите неприкасаемости, одинаково ставили корову выше человека.

До сих пор в Индии осталось 70 млн неприкасаемых, которым запрещено пользоваться общими колодцами, ходить по правой стороне улицы, посещать храмы. Эти запреты в республике Индии теоретически отменены, за неприкасаемыми забронированы места в парламенте, в высших учебных заведениях и т. п. Но в сельских местностях все остается по-старому. Попытки воспользоваться своими законными правами вызывают погромы, иногда с десятками убитых и сотнями раненых. В городах до таких эксцессов дело доходит редко, но когда покойный лидер неприкасаемых, д-р Амбедкар, вел дела в суде (он был адвокатом), служащие, принимавшие от него дела, совершали потом омовения, а клиенты, воры и проститутки, отсаживались подальше от своего защитника, чтобы не «потерять касту».

Человека, принесшего с базара кусок говядины, в Индии могут избить до полусмерти и даже убить. Происходят мусульманские погромы (мусульмане — не вегетарианцы). Особенно крупная волна погромов прокатилась в 1967 году после того, как журнал «Оргенайзер», орган ультраиндуистской партии Джан Сангх, вышел с отлично нарисованной плачущей коровой на обложке. Коров в Индии не убивают. Им дают спокойно умереть. Падаль потом едят, чтобы не умереть с голоду, неприкасаемые. А с неприкасаемыми обращаются хуже, чем со скотом — и это дхарма, религиозная моральная норма.

Как только живой идеал становится идолом, он так или иначе давит людей, если не прямо, физически, то косвенно — духовно. Тогда искра, вызвавшая его к жизни, вспыхивает снова, как ересь, как восстание против официальной церкви. Индия не составляет тут исключения. В средние века здесь были течения бхакти, искавшие полного обновления всей духовной и общественной жизни. Одно из самых замечательных было начато Раманандом, брахманом, выбравшим своих учеников в низших кастах. Среди апостолов Рамананда (их было 12, как в Евангелии) оказался Кабир, ткач из Бенареса, величайший поэт своего времени (1440—1518). Он отвергал всякое различие между кастами, сектами, религиями, не видел никакой разницы между исламом, занесенным в Индию завоевателями, и индуизмом. Однако инерция кастового строя была слишком сильной (так же как разницы между религиями, если брать их не по-

этически, как душевный порыв, а социально-исторически, как инерционные системы догм, обрядов, норм). Обновленческие течения либо оставались в рамках индуизма, и тогда они постепенно подчинялись ему, превращались в предохранительный клапан кастового строя, либо они должны были совершенно порвать с индуизмом, и тогда рождалась новая сектантская религия. С поэтической проповедью Кабира случилось именно так. Сборник стихов Рамананда, Кабира и его ученика Нанака (организатора общины сикхов) стал священной книгой. Книга эта хранится в Золотом храме сикхов в Амритсаре. Это очень любопытный пример того, как из поэзии рождается догма. А из догмы — фанатизм*.

В XIX—XX веках было несколько новых попыток реформировать индуизм; каждый раз дело кончалось новой сектой. В результате в индийской интеллигенции широко распространилось свободомыслие. Индийские просветители часто говорят, как Тагор, что «атеизм лучше религии». Из этого не следует, что все они атеисты. Тагор был связан с традициями вед, упанишад, бхакти не менее глубоко, чем Бах — с христианством. Но современная Тагору косная, погрязшая в суевериях, кастовая религия вызывает у него страстное чувство протеста. Герой его драмы «Жертвоприношение» кончает с собой, чтобы поколебать эту религию. Индия кажется поэту похожей на сумрачный храм, «недоступный лучам, недоступный ветрам», в котором спит душа, опившаяся дурмана, погрузившаяся в мир чудовищных грез.

*Сколько времени так протекло в полусне?
Погрузившись в себя, жил я в смутной стране.
Озираясь, душа возносилась на миг
Точно огненный, взвившийся к небу язык,
Но потом цепенела и гасла. Я сник
Без лучей в духоте. Кровь застыла во мне.
Сколько времени так протекло в полусне?
(Перевод З. Миркиной)*

Пока человеческий дух ищет опоры и надежды вне себя самого, пока он в себе самом не раскрыл бесконечную глубину творческой природы, он находит только призраки, только обманчивые тени. Царь темного чертога, незримый супруг Шудоршоны (героини драмы Тагора «Раджа») говорит ей: «Ты не видишь себя, потому что зеркало уменьшает тебя. Если бы ты могла увидеть свое отражение в моей душе, ты поняла бы, как ты величественна».

* Фанатики-сикхи убили Индиру Ганди.

Человеческая душа, осознавшая себя до духовной глубины, до обожения — царица мира, но она не знает, не умеет видеть себя и ищет величия в образах, которые сама же создает. И эти образы, созданные вдохновением, линяют, как синяя птица, при попытке ухватить их руками. Все внешнее, все, что можно взять в руки и охватить умом, — лишь бранные подобия. Нерушимо подлинное постигается только в духе, внутри.

Набирать снег серебряным кувшином (дзэн-буддизм)

Когда Руссо утверждал, что человек по природе добр, он не забыл множества случаев, опровергающих этот тезис. «Все выходит прекрасным из рук Творца, — писал женеvский мятежник. — Все искажается в руках человека». Человек добр и прекрасен, пока он чувствует на себе творящую руку Бога. Или (другими словами, найденными Достоевским в «Сне смешного человека») пока он чувствует связь с Целым Вселенной. Когда связь прерывается, все рушится:

«...я развратил их всех!.. Как скверная трихнина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю... атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое...».

Порча, внесенная Смешным человеком на счастливую планету, заключалась в устройстве его ума. Сознание я, «точка зрения» превращает все остальное в предметы, которые «я» своевольно рассматривает и оценивает. Распадается «роевое сознание», связывающее человека с другими людьми и природой. «Я» становится агрессивным, и возникает необходимость в «общественном договоре», во внешней узде. А узда вызывает внутреннее сопротивление и усиливает скрытую агрессивность: «Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучений и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину...».

В истории разных культур бывают поразительные совпадения, почти буквальные. Более чем за две тысячи лет до Руссо и Достоевского Лаоцзы — легендарный автор очень древнего текста («Даодэцзин»,

принятая дата — VI в. до н. э.) писал: «Когда все люди узнают, что красивое является красивым, появляется и безобразное. Когда узнают, что добро является добром, возникает зло... Когда устранили великое Дао, появилась гуманность и справедливость. Когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников в раздоре, появляется сыновняя почтительность и отцовская любовь...» (гл. 2 и 18).

После нескольких попыток исправить общество и нескольких катастрофических неудач, занявших около тысячи лет, дзэн пытается начать с другого конца — с человека, восстановить связь отдельного человека с Дао, Путем Вселенной (Смешной человек Достоевского назвал это Целым Вселенной). Дзэн отбрасывает узду, дает волю естественным порывам. Это восходит к Лаоцзы и напоминает Руссо. Однако дзэнцы глубже заглянули в человеческую природу, чем Руссо, до такого уровня, на котором зла действительно нет и нет противостояния добра и зла. Если просто снять узду — вовсе не обязательно откроется последняя тихая глубина. Великая глубина может быть достигнута только в сосредоточенном, отрешенном созерцании.

«Каждый человек обладает природой просветленного, но не каждый это сознает», — повторяли проповедники буддизма, бродившие по Китаю I—V вв. Задача человека — перейти от «изначального просветления», т. е. сойти с уровня «омраченного сознания» (сойти с уровня смешного человека до его сна), — и достичь «истинной таковости» (как жили люди на приснившейся планете):

«У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспредельное единение с Целым Вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым Вселенной...»^{*}.

Таковостью (татхата) буддисты называют восприятие вещей такими, какие они действительно суть, — каплями-дхармами, в каждой из которых — вся великая Дхарма^{**}. Человек, достигший этого, — Татхагата (тот самый, т. е. неопишимо подлинный; такой, на которого можно только показать: вот он!). Он вышел за рамки «мира рождения и смерти», противоречий и разрывов. Татхагата и Будда — синонимы. Европейцы предпочитают слово Будда, потому что оно легко поддается переводу (просветленный), но Татхагата — более содержательный термин.

^{*} Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 25. С. 114.

^{**} Буддисты называют Дхармой и учение Будды, и закон вселенной, структуру вселенной — и единичный элемент, атом этой вселенной. Буддийская вселенная — это Дхарма, состоящая из дхарм.

Чтобы достичь освобождения, буддийское наследие предлагает ряд методов (число которых очень велико). Один из этих методов — дхьяна. Санскритское слово, попавшее в Китай, стало произноситься «чань», а в Японии — «дзэн». Англичане переводят дхьяну, чань, дзэн словом «медитация». Однако в европейской традиции медитировать — значит вдумываться в короткий текст, размышлять о глубоком, глубоко размышлять. Восточная медитация возможна без всякой мысли (просто быть в присутствии высшего, в единстве с Целым), при состоянии ума, которое сравнилось с зеркалом (оно готово отразить тьму вещей, но само по себе пусто). Немцы иногда переводят дзэн как *Versenkung* (погружение с головой, погружение до возможности гибели). По-русски нет лучшего перевода, чем глубокое созерцание, погруженность в созерцание...

Впрочем, строго определить дзэн невозможно. Дзэн — по словам самих дзэнцев — это откровение по ту сторону слов и знаков; опыт, передаваемый от сердца к сердцу и ведущий к просветлению. Можно ли войти в этот опыт по литературному сценарию, по книге, по статье? Такие исключительные случаи бывали. Хуинэн, ставший впоследствии шестым патриархом дзэн, испытал просветление, услышав на улице фразу из Алмазной сутры: «воздыми свой дух и ни на чем не утверждай его!». Видимо, внутренний опыт уже был незаметно накоплен, и подслушанная фраза дала последний толчок. Однако подобные чудеса бывают очень редко. Книга или статья (в том числе наша) — только подступ к дзэн. В лучшем случае она создает ассоциативное поле, в котором легче возникает понимание.

Дзэн — не просто созерцание. Часы, посвященные молчаливому созерцанию, получили особое имя: дзадзэн (примерно: отрешенное созерцание, отрешенный дзэн). А что же такое дзэн в целом? Об этом мы будем еще говорить. Но без опыта глубокого созерцания, погруженности в созерцание к культуре дзэн невозможно подойти. Чтобы читатель вспомнил такие минуты и глубже их пережил, приведем несколько цитат из современных стихов и прозы:

«Иной раз кажется, лучше бы целый день топором махал на делянке, чем так сидеть в затишке и запахами наслаждаться, — пишет Борис Сергуненков, девять лет проработавший лесником, чтобы научиться видеть и слышать лес. — Но нельзя же все время поблажку себе делать, легким трудом заниматься. Пока ты горяч, молод, самое время тебе в купель войти, обжечься в огне жизни... Нет, не лодыри мы и не трусы, чтобы бояться тяжелой работы, оттого и не бежим от нее, не прячемся, а, оставив топор и делянку, сидим в затишке, на припеке, и слушаем, как дышит осень».

Мысль о том, что глубоко созерцать труднее, чем рубить дрова, можно иллюстрировать такой картиной:

*...Ежeminутно возле Бога,
Не отрываясь ни на миг!
Вниманьем всей, душою всею
Быть вечно здесь, не где-то там...
Нет, предпочел пахать и сеять
И с Божьих глаз ушел Адам.*

(З. Миркина)

Не изгнан был, а сам ушел, бежал от внутреннего труда к внешнему.

Сосредоточенное, глубокое созерцание трудно, но раз достигнутое, оно дает огромную мощь познания, заново раскрывает мир:

*Когда б мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда,
То нам другого было бы не надо,
И свет вовек бы не сошел с лица.
Когда б в какой-то уголок земли
Вгляделись мы до сущности небесной,
То мертвые сумели бы воскреснуть,
А мы б совсем не умирать могли.
И дух собратья до конца готов.
Вот-вот, сейчас... Но нам до откровенья
Недостает последнего мгновенья,
И громоздится череда веков.*

(З. Миркина)

О том же своим сознательно прозаическим языком пишет Сергуненков:

«Когда сидишь в подобном бездействии, весь мир вокруг тебя, как бы ни был он тоже бездвижен, движется, ты своим бездействием заставляешь его двигаться... Для всех дерево стоит на месте, а для тебя совершает кругосветное путешествие, и до конца ему осталось пройти совсем немного... Кому интересен лес и кто хочет познать его жизнь, тот должен научиться сидеть сиднем. Только тогда можно увидеть, как летит неподвижный камень, что валяется на дороге, и разглядеть во всех деталях вечно убегающего дергача» (там же, с. 303—304).

Еще более глубоким было созерцание поэта Даниила Андреева (1906—1959), пережитое всего однажды, 29 июля 1931 года. Он об этом написал в «Розе Мира»: «Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, стру-

ившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством... Все было во мне той ночью, и я был во всем», — заканчивает Андреев, слегка перефразировав тютчевский стих: «Все во мне и я во всем».

Это очень близко к дзэнскому тексту XVI в. (запискам старца Хань Шаня): «Я брел куда-то. Внезапно не стало ни тела, ни ума. Все, что я мог почувствовать, было великим сияющим Целым — вездесущим, совершенным, ясным и возвышенным. Это было подобно всеохватывающему зеркалу, из которого возникали горы и реки... Мои чувства были ясными и прозрачными, как будто тело и ум исчезли».

В жизни дзэнцев такие минуты (по-японски их называют сатори) бывают чаще, чем у других, одаренных к созерцанию, но беспорядочно живущих людей. Дзэн — это образ жизни, открытый сатори; стиль жизни, ведущий к измененному сознанию, к экстатическому приятию цельности мира.

С VI и по XX в. дзэн сохраняет неизменное ядро: упор на непосредственном опыте, никаких обещаний будущей жизни; то, что может быть достигнуто, должно быть достигнуто сегодня, сейчас. Сибаяма, автор книги «Цветок не говорит», делит наследие буддизма на две неравноценные части: во-первых, тот факт, что Будда испытал просветление (а следовательно, каждый может этого достичь); во-вторых, все остальное. С точки зрения дзэн важнее первое.

Никаких метафизических идей: пустое зеркало, отражающее события такими, какими они были. Каждое суждение, жест, поступок имеет смысл только в единичной неповторимой обстановке. Слово — только намек на истину, лежащую по ту сторону слов, только **прах дзэн** (как Миура и Сасаки назвали свою замечательную книгу).

Когда Бодхидхарма (легендарный основатель дзэн, VI в.) пришел в царство южнокитайского императора У, тот спросил его:

- Что является первым принципом святого учения?
- Безграничная пустота, и в ней ничего святого, царь!
- Кто же тот, кто сидит передо мной?
- Я не знаю!

«Я не знаю» проходит красной нитью через всю историю дзэн, снова и снова возникая в дзэнских диалогах, стихах:

Как бабочка подлетает к распустившемуся цветку,

* Святое предполагает противоположное, не святое, а Бодхидхарма ищет совершенной недвойственности.

Бодхидхарма говорит: «Я не знаю»...

И когда Догэна (1200—1253) спросили, что он привез из Китая (обычно привозили рукописи, статуи и т. п.), он ответил: «Я вернулся с пустыми руками. Я осознал только, что глаза расположены вдоль, а нос поперек». «Думай о немисли, — учил Догэн... — Как это сделать? Думая поверх немисли и мысли. Это основа отрешенного созерцания». «Когда рыба плавает, она плывет себе и плывет, и нет конца воде. Когда птица летит, она летит себе и летит, и нет конца небу. Не бывает рыбы, выплывшей из воды, или птицы, вылетевшей из воздуха... Но если появится птица, которая прежде захочет измерить ширь неба, или рыба — простор воды, а потом уже летать или плыть, — ничего не выйдет».

«Я не знаю» связывает секту Цаодун (*яп.* Сото), которую Догэн учредил в Японии, с сектой Линьцзи. Хотя Догэн мягко отодвигает недзэнские традиции на второй план (признавая за любым направлением буддизма достоинство вспомогательного пути освобождения), а Линьцзи решительно отбрасывает всякое застывшее слово: «Если вы хотите открытыми глазами видеть Дхарму, не перенимайте чужой путаницы! Что бы вас ни отвлекало, во внешнем или внутреннем, — тотчас же убейте его! Если вы встретите Будду, убейте Будду! Если встретите патриарха, убейте патриарха!.. Только так вы достигнете освобождения; только держась на ничем, найдете выход и свободу*».

Так же второстепенно различие между пассивным созерцанием мира под образом «я не знаю» и активным разрушением привычек ума с помощью интеллектуального шока (в абсурдных диалогах, в решении абсурдных загадок) и физического шока (пощечина, удары палкой). То и другое — дзэн.

Все секты дзэн пренебрежительно относятся к книжной мудрости. В период становления (IX в.) некоторые наставники рвали в клочья свитки священного писания. Впоследствии библиотеки устраивались возле отхожего места (подчеркивая, что книга может быть необходима, но эта необходимость низшего порядка). Сейчас таких крайностей нет и библиотеки дзэнских монастырей очень богаты; но никогда не забывается изречение второго патриарха дзэн Хуико: книжник «подобен бедняку, который день и ночь считает сокровища».

Наряду со священным писанием, релятивированы (поставлены на второе место) обряды и традиционные формы монашеского усердия. По преданию, Хунжень (VIII в.) спросил своего ученика Мацзу, впо-

* Аналогичная мысль есть в словах Христа: «Я принес не мир, но меч, разлучу отца с сыном...». В обоих случаях «убей» и «меч» — метафоры, знаки прорыва сквозь застывшую «букву».

следствии ставшего знаменитым: «Находчивый, с какой целью ты тут сидишь на корточках?» — «Я хочу стать Буддой». Тогда учитель стал тереть кирпич о камень. «Что ты делаешь, о наставник?» — «Вот я потру и сделаю кирпич зеркалом». — «Как можно сделать кирпич зеркалом?» — «Как можно, посидев на корточках, стать Буддой?»

Дзэн ведет к переживанию, в котором снимаются все противопоставления: священное и мирское, субъект и объект, конечное и бесконечное, прекрасное и безобразное, добро и зло, жизнь и смерть. Мацзу, наложивший свой отпечаток на все дальнейшее развитие дзэн, учил: «Помимо духа (имеется в виду личный дух, самосознание. — *Авт.*) нет Будды, помимо Будды нет духа! Не достигай добра и не отвергай зла! Нет ни чистоты, ни запятнанности. Ни на чем не утверждайся! Так ты поймешь пустоту природы греха. В каждое мгновение она неуловима. У нее нет собственной природы». Человек, вошедший в поток целостного бытия, скользит над всеми частными помыслами. Этим радикально устраняются злые помыслы. Обращенность к целостности бытия снимает необходимость различать добро и зло. В Целом зла нет.

Чувство целого может быть достигнуто в самой обыденной обстановке. Традиция сохранила знаменитый разговор ученика с наставником Чжаочжоу (IX в.):

- Учитель, я еще новичок, укажите мне Путь!
 - Ты уже позавтракал?
 - Да.
 - Так пойд и вымой свою миску.
- Об этом же писал поэт Паньюнь:

*Как это удивительно, сверхъестественно!
Как это чудесно!
Я таскаю воду, я подношу дрова!*

В сословном японском обществе, где дзэн стал религией самураев, Минамото Мусаси связывал высший миг с полетом над страхом:

*Под высоко занесенным мечом
Ад, заставляющий трепетать тебя.
Но иди вперед,
И страна блаженства — твоя.*

На вопросы ученика об истине дзэнская мудрость отвечает неожиданной ассоциацией, иногда подчеркнута грубой, нелепой, иногда — поэтичной:

- Что такое Будда?
- Кусок глины (и даже: кусок засохшего дерьма).

- Что такое Дао?
- Три фунта льна!
- Что такое дзэн?
- Ветка цветущей сливы (или: кипарис в саду; или: собирать снег серебряным кувшином).

Поэтическая ассоциация быстрее, чем рассуждения, ведет ученика к истине, разлитой в природе:

*Старая сосна проповедует мудрость
И дикая птица выкрикивает истину.*

Тайна целого — не секрет, она не спрятана; надо только суметь увидеть. «Однажды наставника Хуитана спросили, в чем секрет дзэн. Тот ответил изречением Конфуция: “Вы думаете, я утаиваю от вас что-то, о мои ученики? Мне нечего скрывать от вас”. Немного спустя, подойдя к цветущему кусту, Хуитан спросил: “Чувствуете, как он пахнет? — Да. — Так вот, мне нечего больше скрывать от вас”».

* * *

Первые века дзэн окутаны легендами, возникшими много лет спустя. К примеру, разговор Бодхидхармы с императором У — такой отточенный образец дзэнского стиля, что трудно представить его себе до VIII, IX вв. В какой мере достоверен сам Бодхидхарма? Большинство ученых признает, что «приход Бодхидхармы с Запада» (из Средней Азии) вполне вероятен. Но чему он учил?

Среди многочисленных течений индийского буддизма были параллели, довольно близкие дзэн. Однако созерцание Целого под образом «я не знаю» гораздо глубже укоренено в китайской традиции, чем в индийской. «Дао, которое может быть выражено словами, не есть вечное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть вечное имя». Так начинается «Даодэцзин». «Знающие не говорят, говорящие не знают...»

Глубокие местные корни имеет и склонность к абсурду, к юродству. Удельный вес гротескных форм возвышенного в Китае больше, чем в Индии. Для Чжуанцзы (IV в. до н. э.), оказавшего огромное влияние на китайское искусство, горбатый лучше стройного (не возьмут на войну), кривое дерево лучше прямого (не срубят). Китайский здравый смысл признавал человека, свободного от всех социальных связей (не сына и не отца, не чиновника и не крестьянина) — только как существо, ни на что не годное, калеку или безумца. Свобода, отброшенная разумом, отвечала ему тем же, — отбрасывала разум, утверждала себя как абсурд, как юродство.

Исходя из этой местной традиции, ранний дзэн отбирает в духовном наследии индийского буддизма самые парадоксальные, гротеск-

ные сутры. Но любые индийские тексты оставались трудными для китайского восприятия. Санскрит (на котором написаны памятники северного буддизма) располагает к сложным абстрактным построениям; китайский язык тяготеет к поэтически конкретному. В Индии широко распространены живое переживание абстрактных символов и яркие видения, создающие причудливый мифопоэтический мир. Китайское воображение гораздо больше привязано к природе, какой мы ее каждый день видим. Мифология Китая, сравнительно с индийской, поразительно бедна. Зато живопись несравненно богаче и одухотвореннее индийской. За этими очевидными фактами стоит неочевидное господство разных типов глубинного опыта: 1) ощущение глубины как беспредметного чистого света; 2) как игры фантастических образов и 3) как предметного мира, но освещенного изнутри. Эти три типа опыта иногда называются энстаз, экстаз и констаз^{*}. В Индии шире представлены первые два, в Китае — третий.

Анализировать типы сознания трудно, они слишком текучи и переходят в индивидуально неповторимое; но достаточно очевидных различий языка и культуры, чтобы понять трудности китаизации буддизма. Буквальный перевод выходил уродливым. Шэнчжао (384—414), ученик Кумарадживы, помогавший ему в создании китайского текста сутр, уже на рубеже V в. попытался передать буддийское мироощущение даосским языком:

«Истина — созерцание, она не в словах и книгах, но по ту сторону слов. Ее нельзя выучить, но надо пережить. Мудрый подобен пустому дуплу. Он не хранит никакого знания. Он живет в мире действий и нужд, но придерживается области недеяния. Он остается среди называемого, но живет в открытой стране, превосходящей слова. Он молчалив и одинок, пуст и открыт, ибо его положение в бытии не может быть передано словами».

Парадоксы Шэнчжао были впоследствии прочитаны (Дэцином, 1546—1621) как коаны (дзэнские загадки): «Вихрь, переворачивающий горы, тих. Ревущие потоки не текут. Пар, подымающийся над весенним озером, недвижим. Солнце и луна, вращаясь на своих осях, застыли». Это еще не дзэн как сложившееся направление, но готовый язык дзэн: буддизм, пересказанный в даосских терминах.

Таким языком Бодхидхарма вряд ли мог говорить. Чему же он учил своих последователей? По мнению европейского пионера дзэн, Р. О. Блайса, Бодхидхарма был, прежде всего, практик, учитель глубокого, сосредоточенного созерцания. Исследователь древних текстов, уцелевших в песках Дуньхуана, С. Янагида подчеркивает другое: Бод-

^{*} На энстазе основана йога и адвайта-веданта. Экстаз в узком смысле слова связан с видениями и постоянно обновляет мифопоэтический мир. Констаз — созерцание природы, мира, но как бы подсвеченных изнутри. На констазе основана живопись дзэн.

хидхарма и его ученики стали **иначе** комментировать сутры, не как теорию, требующую интеллектуального понимания, а как запись встречи человека с человеком. Акцент был перенесен на неповторимую жизненную ситуацию, которую надо заново пережить и возродить древний опыт, оставшийся за словами. Этот новый стиль передачи традиции постепенно укоренился и был утвержден шестым патриархом, Хуинэном, неграмотным дровосеком, знавшим сутры только понаслышке.

По преданию, пятый патриарх, Хунжень, сказал о Хуинэне: «499 моих учеников хорошо понимают, что такое буддизм, — все, кроме Хуинэна. Его нельзя мерить обычными мерками, поэтому мантия настоятеля принадлежит ему» (ибо он не сводит буддизм к словам, к определениям). Наньчуань (IX в.) комментирует легенду так: «Он понимал Путь и ничто иное». «Нет никакого направления, никаких указаний, — учил Хуинэн. — Мы говорим только о взгляде в собственную природу, а не о практике созерцания и поисках освобождения (ибо искать — значит связывать себя целью)».

Дзэн не терпит системы и преподается в таких коротких притчах. Одна из самых замечательных принадлежит Циньюаню (VIII в.): «Прежде чем человек изучил дзэн, горы были для него горами и воды водами. Потом, когда он взглянул в истину дзэн, горы стали не горы и воды не воды. Но когда он действительно достиг обители покоя, горы снова стали горами и воды водами».

Первая ступень — это «омраченное сознание», наивный реализм: все, что можно пощупать, реально. Реален распад целого на отдельные предметы. Уровень частностей, уровень обособления — это и есть вся реальность. Вторая ступень — погруженность в абстрактно Единое, Целое. Можно выразить это словами Парменида: только единое есть, многого не существует. Но абстракция Целого не есть подлинное знание. Взгляд в собственную природу дает почувствовать бесконечность в каждом цветке. Повторим еще раз:

*Старая сосна проповедует мудрость
И дикая птица выкрикивает истину.*

Во все века находились люди, которые улавливали эту мудрость на лету. Но их всегда немного. Груз установившихся приемов мысли очень тяжел, и дзэн не удержался бы и не дошел бы до наших дней без методики разрушения стереотипов «омраченного сознания». Д. Т. Судзуки и С. Янагида считают поэтому сооснователем дзэн Мацзу, знаменитого мастера ошеломления.

Есть любопытная притча, передающая дух дзэнской педагогики. Однажды сын разбойника попросил отца научить его семейному ремеслу. «Хорошо», — сказал отец и взял сына на дело. Заведя в

чужую усадьбу, старый разбойник запер мальчика в чулане, надел шуму и ушел. Его сын едва выскочил через окошко, обманул преследователей и добрался до дома. «Как же ты выбрался?» — спросил отец. И выслушав ответ, одобрительно сказал: «Теперь ты знаешь ремесло».

Примерно так работает и старец с учеником. Он дает ему неразрешимую задачу, загоняет в тупик и требует совершить чудо — собственным духовным усилием найти выход из тупика сансары (мира противоположностей, мира рождения и смерти).

«Тот, кто сравнился с учителем, достиг лишь половины учительской силы; только тот, кто превзошел учителя, может быть его наследником».

Комментируя эти слова китайского старца Гуэйшаня, японский наставник Сокэй-ан пишет: «Если учитель передает дхарму ученику, который ниже его, дхарма за 500 лет исчезает... Дзэн требует превзойти учителя. Надо показать, что мы достигли чего-то такого, что он не знал, победить его. Тогда учитель с радостью передаст нам дхарму. Не “с любовью” и не “по добротe”... Нет! Когда дзэнский старец передает дхарму, это борьба, схватка — ученик должен свалить его (как Линьцзи буквально сбил с ног Хуанбо. — *Авт.*), показать на деле свои достижения и знания. Дзэн все еще существует — благодаря этому железному правилу».

Прежде чем самка ястреба спаривается с самцом, она три дня улетает от него, а он ее преследует. Только тот, кто догнал, может ею овладеть. Дзэнский старец подобен самке ястреба, а ученик — самцу. Не забывайте этого правила».

В напряженной борьбе учителя с учениками складывалось дзэнское писание. Монахи, ошеломленные странными, загадочными поучениями, записывали их в книжечку, прятали и в тихие минуты перечитывали, еще и еще раз пытаясь понять. Линьцзи бранил их, смеялся над попытками превратить неповторимый всплеск интуиции в застывший образец; но оңи не могли обойтись без своих записей. И насмешки Линьцзи тоже были записаны и стали текстом. Очень скоро возник первый жанр дзэнского писания, юйлу (*яп.* року) — запись разговоров старца с учениками. Мы находим его в биографии Хуанбо (последователя Мацзу и учителя Линьцзи). Противопоставляя юйлу индийскому буддизму, Цунми (IX в.) писал, что сутры обращены «ко всему живому во вселенной», а юйлу эффективнее «для особого рода людей», т. е. для китайцев и других народов дальневосточного культурного круга.

Юйлу включали в себя проповеди, беседы, отдельные реплики. Впоследствии особую популярность приобрел жанр диалога (*кит.* вэньда, *яп.* мондо). С XI в. фрагменты диалога (или отдельные вопросы) стали задаваться ученикам как тексты для медитации. Эти тексты

получили название кунань (судебный документ, прецедент — т. е. прецедент просветления, случай, вызвавший просветление. В японском произношении — коан).

Переход к коану связан с известным снижением уровня дзэн. В эпоху становления ученики Мацзу, Хуанбо, Линьцзи и других великих старцев не имели надобности в ритуальных загадках: старец был живой загадкой и живым примером. Так жила и паства ап. Павла, уподобляясь ему, как он — Христу: каждый проповедовал, пророчествовал, «говорил языками», насколько умел. Но по мере того как число адептов увеличивалось, а энергия учителей снижалась, возникла необходимость в эталонах истины. Первые века учения превратились в классику, закреплённую писанием и обрядом. Особенность дзэн в том, что он от каждого ученика требует войти в эту классику с такой полнотой, как Франциск Ассизский вошел в страсти Христа — до язв в ладонях. И еще в одном: дзэн внутри сложившегося культа сохранил известный простор для импровизации. Его канон — это канон внутреннего состояния, без всяких внешних рамок. Видимо, потому дзэн оказался таким плодотворным для искусства.

В секте Линьцзи (*яп.* риндзай) ученику дается явно неразрешимая задача (коан). Задача имеет ответ, и наставник его знает. Задача неразрешима, абсурдна с точки зрения здравого смысла. Но для какого-то высшего разума она разрешима. Ученик не обладает высшим разумом; он, собственно, и пришел в монастырь, чтобы узнать, что такое Путь. Но ему не дают никаких указаний и каждую неделю, каждый день требуют ответа на явно абсурдный вопрос: «Вы висите над пропастью, зацепившись зубами за куст; в это время вас спрашивают: “В чем истина дзэн?” Что бы вы сказали?..». Вопрос задают день, неделю, месяц, год, иногда 3—4 года подряд. В конце концов ученика охватывает «великое сомнение». В отчаянье, как бы над действительной пропастью, он наконец срывается, падает — и в самый страшный миг сознает, что разум и поставленный вопрос **взаимно** абсурдны, и если вопрос (вопреки очевидности) имеет ответ, то абсурден в каких-то отношениях «омраченный разум». Возникает вспышка сверхсознания, парящего над неразрешимыми вопросами. Для этого сознания мир внезапно становится освобожденным от всех проблем, единым и цельным. Вслед за чувством блаженства приходят в голову нужные ассоциации для ответа на контрольные вопросы учителя. Задача решена, ученик понял, пережил умонастроение, выраженное в абсурдном тексте, и ему ставится другая задача, объективно более сложная, но бесконечно легче решаемая: как и во всем, труднее всего решить **первый** коан.

Практика дзэн установила, что «чем больше сомнение, тем больше просветление». Но острота первого ощущения проходит; что же остается? Остается чувство полноты бытия, и достаточно легкого толчка,

чтобы оно всплыло, припомнилось. «Ваш обычный повседневный опыт, — говорил об этом Д. Т. Судзуки, — но на два вершка над землей».

Наставник выбирает такие коаны, которые больше подходят к личности и уровню развития ученика. Иногда он ошибается — тогда коан приходится переменить. Общее число коанов — 1700. Долгое время никто не пытался систематизировать их. Только Хакуин, в XVIII в. (1685—1768), — это было время крутого поворота японской культуры к систематическому мышлению — разделил коаны на пять групп: 1) хоссин-коаны дают пережить реальность бытия как целого; 2) кикан-коаны возвращают нас к реальности отдельного предмета; 3) гонсэй-коаны наталкивают на трудности в передаче своего опыта словом; 4) нанто-коаны, называемые также труднопроходимыми, настолько трудны, что определить их мы не беремся. Наконец, 5) гои-коаны объединяют все проблемы в едином потоке. Причем вряд ли все 1700 коанов удастся строго распределить по этой схеме.

Работая с европейским стажером, современный японский наставник предложил ему в качестве коана евангельскую заповедь: «Блаженны нищие духом». Католический монах Уильям Джонстон, автор книги «Христианский дзэн», рассказывает об аналогичном случае. Наставник спросил его, как он занимается медитацией. «Молча сижу в присутствии Бога без слов, мыслей, образов», — ответил Джонстон. — «Ваш Бог всюду?» — спросил наставник. — «Да». — «Завернитесь в Бога». Джонстон внутренне пережил это. «Очень хорошо, — сказал наставник. — Продолжайте. Просто оставайтесь так. И когда-нибудь вы почувствуете, что Бог исчез и остался только мистер Джонстон». Джонстон ответил: «Бог не исчезнет. Может исчезнуть Джонстон — и тогда останется только Бог». — «Да, да, — сказал наставник. — Это все равно. Это именно то, что я имел в виду».

Безразлично — Бог исчезнет или мистер Джонстон исчезнет. Должна исчезнуть двойственность. Это общий итог решения любого коана. Но каждый коан имеет и частный смысл. Правильность решения проверяется контрольными вопросами, которые известны только старцам. Кроме того, ученик должен вспомнить подходящее изречение, дзакуго, из фонда в 5000 образцов дзэнского фольклора.

Может возникнуть вопрос: каким образом абсурдное высказывание, казалось бы, лишенное всякого смысла, передает определенный смысл? На этот вопрос культура XX века уже ответила литературой абсурда, театром абсурда. Можно прибавить к этому практическому опыту несколько теоретических соображений. Логический абсурд может быть корректным описанием по крайней мере двух ситуаций:

1) Спутанность двух систем, каждая из которых сама по себе допускает логическую организацию (семья накануне развода, общество в переломные эпохи).

2) Спутанность подхода, обращенного к уровню частных случаев, с обращением к целому вселенной. Дзэнские коаны имеют в виду, прежде всего, второй случай. Их абсурдность — образ вечного, непостижимого для «омраченного сознания». Но в них есть и привкус социально-исторической бессмыслицы переходных эпох. И в Китае, и в Японии дзэн расцветает в эпохи хаоса, войны всех против всех — т. е. тогда, когда жизнь сама по себе становится абсурдной. Напротив, стабилизация общества, ясность перспектив, уверенность в завтрашнем дне ведет к упадку дзэн. Переключку сакрального абсурда с исторически абсурдной ситуацией можно найти и в Новом Завете: «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1 Кор. I, 20). И еще резче у Тертуллиана: «Сын Божий распят; это не позорно (для нас именно) потому, что позорно (в глазах официального Рима). И Сын Божий умер; это достойно веры (для нас), потому что абсурдно (в глазах философов, поклоняющихся божественным императорам). И Он восстал из мертвых; это бесспорно, потому что невозможно»^{*}.

В эпохи абсурда вечность постигается через абсурд. Сосредоточенность на логически неразрешимом может быть таким же путем к переживанию реальности вечного, как созерцание иконы, повторение слов молитвы или заклинания, мантры (своего рода словесной иконы), или обрядовый танец (у примитивных народов, у пляшущих дerviшей), или любовный порыв, истолкованный как порыв к Богу (в Песне Песней, в лирике бхактов и суфиев).

Очень ярко рассказал о своей работе над коаном уже упоминавшийся нами Хакуин. Мальчиком он ловил и убивал птиц. За это, по одной из буддийских легенд, грешников мучают в аду. Страх перед адом заставил Хакуина уйти в монастырь. Но здесь его ждали новые духовные муки. Молодого послушника поразило предание о китайском старце, имя которого японцы произносили Ганто (по-китайски — Еньтоу). Когда разбойник всадил старцу в грудь копьё, крик Ганто слышен был за версту. Если даже такой человек был потрясен страхом и болью, — на что надеяться бедному послушнику? Хакуин то отчаивался и хотел бросить монастырь, то с удвоенным усердием продолжал вдумываться в коан (впоследствии отнесенный им к коанам первой ступени):

- Обладает ли пес природой Будды?
- Ничто!

В конце концов, Хакуин прошел сквозь ничто и пережил полное тождество с Ганто через сотни разделяющих лет и тысячи верст. Это было огромным переживанием: «Во все четыре стороны света простирается пустое безграничное пространство, без рождения и смер-

^{*} Слова в скобках — пояснения авторов.

ти, как ледяное поле в 10 000 верст, как если бы человек сидел в сапфировой вазе: снаружи светлый холод, снаружи белая звонкость. Как потерявший рассудок, послушник забывает встать, если сидел, или сесть, если стоял. В груди не остается никакого порыва, никакого образа, — одно единое слово “ничто”, — как будто бы ты утонул в безграничных облаках. Тут нет ни страха, ни познания. И если так идти вперед без оглядки, происходит вдруг что-то, словно разламывается лед или падает хрустальная башня...». Так впоследствии писал Хакуин в своих наставлениях. «Вдруг разламывается одновременно с коаном дух и тело... При внезапном оживании чувствуешь себя так, словно пьешь воду и сам узнаешь, холодна она или тепла. Вздыхается великая радость».

Переживание было одновременно пониманием, что прежние мысли о крике Ганто были основаны не на живом опыте, а на концепции — как дзэнские старцы должны себя вести. Хакуин был убежден, что в течение сотен лет никто не имел такого глубокого сатори. Однако наставник остался холоден к его заверениям. И другие роси (роси — старый учитель, старец), к которым обращался Хакуин, не признавали полноты его опыта. После ряда разочарований Хакуин послушался совета — пойти в ученики к строгому старцу Сёдзю.

— Расскажи-ка, чего ты достиг со своим коаном? — спросил Сёдзю. Хакуин горячо ответил:

— Вселенная распалась на части! Распалась! Не осталось ни кусочка!

Сёдзю схватил его за нос и спросил: «Как это получилось, что кусок вселенной оказался у меня в руках?».

Через некоторое время Хакуин еще раз попытался объяснить старцу свое понимание. «Чушь, — сказал наставник. — Вздор». Хакуин, доведенный до отчаяния, передразнил старца: «Вздор, чушь». Сёдзю схватил его за шиворот и спустил со ступенек веранды. Это было в период дождей; Хакуин вывалился в грязи. Но он встал, отвесил положенный поклон и ушел, провожаемый насмешками.

Прошло несколько мучительных дней. Хакуин готов был уйти из монастыря. Но как-то утром он в глубокой печали пошел собирать милостыню. «Ни минуты не отдыхая, я обдумывал коан, — рассказывает Хакуин. — Погрузившись в него, я остановился около угла дома. Оттуда закричали: “Пошел вон! Вон!” Я этого не слышал. Тогда хозяин в гневе схватил метлу, перевернул ее и ударил меня по голове...». Опомившись, Хакуин увидел, как на ладони, трудный коан... «Я проник в него до основы, и произошло просветление. Обрадованный, я захолопал в ладоши и громко засмеялся...

Полный радости достиг я, смеясь, ворот обители. Наставник стоял на крыльце; он взглянул на меня и спросил: “Скажи, что такое необыкновенно хорошее с тобой случилось?”. Я приблизился и подроб-

но рассказал о своем переживании. Наставник хлопнул меня веером по плечу и больше никогда не называл “злосчастливым чертовым сыном в темной преисподней”».

Самообольщение, стоившее Хакуину так дорого, было вызвано чрезмерным восторгом от выхода с уровня наивного реализма. Эту ошибку совершили многие мистики. Сёдзю, схватив энтузиаста за нос, показал, что предметный мир тоже реален. Можно передать это словами Ангелуса Силезиуса: «Я без Тебя ничто; но что Ты без меня?». Впоследствии Хакуин, создавая школу коанов, учел полученный урок.

Однако до этого было еще далеко. Сперва Хакуин заболел от истощения и чуть не погиб. Только один опытный врач поставил ему правильный диагноз и помог справиться с «дзэнской болезнью». Дальнейшая жизнь Хакуина была счастливой. Он дожил до 83 лет, сохраняя постоянную бодрость духа. Творческое состояние, которое он восстанавливал, углубляясь в коаны, изливалось затем в работе с учениками, во множестве рисунков, образцов каллиграфии, стихов и эссе.

Дзэнские монастыри, если взглянуть на них глазами христианского монаха, представляют собой странное смешение монастыря с художественной и спортивной школой. Учеников там немного: не больше, чем поместится в одну аудиторию (дзэндо). После каждого семестра роси (или его помощник, старший монах) спрашивает, хочет ли ученик продолжать свои занятия. Если не хочет — его отпускают с миром. Если хочет — ему указывают на недостатки поведения, от которых следует освободиться. Плохих учеников исключают.

Духовные упражнения, чтения и проповеди чередуются с работой в саду и в огороде. Дзэнцы считают очень важным сохранять возвышенное настроение при выполнении самых простых работ. Наставник работает вместе с другими, сам выносит за собой нечистоты и моет свою посуду.

Физические упражнения — тоже часть ритуала. В стрельбе из лука и в решении коана одна цель: освободиться от сознания «я это делаю», переходить от одного мига жизни к другому, не останавливаясь на отвлеченных идеях.

Вся обстановка в монастырях простая, но опрятная и изящная. Монастырские сады в Японии — произведения искусства. В такое же произведение искусства, по мере возможности, превращается любой акт жизни. Из этой установки выросла чайная церемония, распространившаяся среди мирян и ставшая японским национальным обычаем.

Монастырский быт одновременно ритуализован и насыщен импровизациями. С одной стороны, нельзя прийти на сандзэн (аудиенцию) без установленных церемоний; с другой — поведение наставни-

ка непредсказуемо (захочет — и за нос схватит, как Хакуина). И ученик, достигнув сатори, завоевывает ту же свободу.

Однажды в средневековом Китае наставник сел на свое возвышение, готовый к проповеди. В этот миг запела птица. Наставник хранил молчание, монахи также молчали. Когда птица улетела, наставник сказал: «проповедь окончена».

Сильное эстетическое впечатление понимается дзэнцами как религиозное впечатление. Характерная фигура дзэн — Иккью (1394—1481). Он прославился своими поисками немонастырских путей спасения и временами вел себя так необычно, что вошел в японский фольклор примерно как Ходжа Насреддин в фольклор мусульманский. Иккью был замечательный каллиграф, художник, поэт, писатель, устроитель чайной церемонии, вдохновитель театра Но (японских средневековых мистерий). Только в конце жизни, призванный к этому рескриптом императора, Иккью возглавил столичный монастырь и попытался завести там новые порядки. След, оставленный Иккью в искусстве, значительнее, чем в узко религиозной области. Многие воспитанники дзэнских старцев вовсе покидали монастырь и делали своим служением театр, поэзию.

С дзэн тесно связан сдвиг в китайской пейзажной живописи периода Сун (т. е. до монголов) и в японской — периода Муромати (XV—XVI вв.). В трактовке религиозных сюжетов дзэн привел к отходу от иконописного благолепия — к свободным импровизациям, внешне напоминающим искусство XX века. Однако у наших современников, как правило, нет той внутренней напряженности, которая стоит за стремительными движениями кисти в дзэнга (живописи дзэн). По преданиям, великие художники Дальнего Востока на несколько суток застывали в созерцании и только наполнившись до предела творческой энергией, начинали рисовать. Страницы о психической подготовке художника в наставлениях по живописи, издававшихся в Китае, носят на себе явный отпечаток дзэн.

Дзэнские изображения Будды, бодисатв, патриархов выразительны до гротеска, до грани карикатуры. У многих персонажей глаза навывкате (они только что очнулись от транс). Бодисатва милосердия, сидящий на слоне, может выглядеть каким-то разбойником с серьгой в ухе или куртизанкой Эгути (персонажем одной из дзэнских легенд). Хунжэнь возвращается с поля, мотыга за плечами; Хуинэн рубит дрова (или с яростью рвет на клочки сутры); монах греет зад у костра (а в костре горит изрубленная деревянная статуя Будды). Встречаются и лица, застывшие в тихом созерцании. Но и в тишине чувствуется сжатая пружина, готовая развернуться в действие.

Возвышенная серьезность иконы господствует скорее в живописи гор и вод. Однако средства, которыми пользуется дзэнский художник, совершенно другие, чем у иконописца. Характерна недорисованность,

незавершенность композиции. Ма Юань (период Сун) завещал рисовать «только один угол», оставляя остальное воображению зрителя. Очертания гор едва заметны, едва выступают из размытов туши, обозначающих туман. Такие рисунки можно назвать иконами тумана. За ними стоит философия Лаоцзы: «О туманное! О неясное! В нем заключены образы. О неясное! О туманное! В нем заключены вещи. О бездонное! О туманное! В нем заключены семена» (Даодэцзин, гл. 21). Этому акафисту Дао вторит академик Д. Т. Судзуки: «Все возникает из неведомой пропасти тайны, и через любой предмет мы можем заглянуть в пропасть» (Судзуки Д. Т. Дзэн и японская культура. СПб., 2003, с. 257).

В китайской поэзии самым замечательным исповедником дзэн был Ван Вэй, один из трех величайших поэтов Танского периода (на стихи Ван Вэя написана заключительная часть Песни о земле Г. Малера). Но особенно велика роль дзэн в развитии японской поэзии. Самостоятельной даосской традиции, к которой близок, скажем, Ли Бо (современник Ван Вэя), в Японии не было; все гротескное, непосредственное, незавершенное, таинственное воспринималось здесь как дзэн. Дзэнская борьба со штампами буддизма вдохновила Басё на борьбу с литературными штампами; дзэнский лаконизм перекликается с лаконизмом его трехстиший.

Для глубинного сознания Дальнего Востока символ Дао — туман. И намек на Дао не должен быть развернут в строгую композицию из трех ангелов, указывающую на строй предвечной Троицы. Достаточно одного мазка. Путь в глубину требует разрушения связей в пространстве и времени. «Неправильно говорить, — учил Догэн, — что полено сгорело и осталась зола. Полено реально в своей поленности, огонь в своей огненности и зола в ее зольности. Каждое явление, правильно понятое, открыто бездне и отсылает к бездне, к Великой Пустоте».

Отсюда художественный вкус, может быть, очевиднее всего проявившийся у Сэн-но Рикю, устроителя чайной церемонии и своего рода арбитра изящества при дворе диктатора Хидэёси (конец XVI в.). Когда Хидэёси захотел полюбоваться вьюнками, выращенными в саду Сэн-но, тот срезал и выбросил их все, кроме одного, самого прекрасного. В ответ Хидэёси позвал Сэн-но во дворец и предложил сделать букет из одной-единственной ветки цветущей сливы, стоявшей в золотой чаше. Не долго думая, Сэн-но сорвал несколько цветов и бросил в воду, а ветвь отшвырнул в сторону. Единичное (вьюнок, горсть цветов) переживается как всплеск, в котором мгновенно и полно выразилась вся Великая Пустота.

*На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.*

(Басё, перевод В. Марковой)

Дзэн подтолкнул переход от древнего пятистишия, танки, к хокку. Бывало, и не раз, что энергия поэтической мысли вся выражалась в первых трех строках:

*Мне так хотелось забыть,
Что осень уже наступила...
Но этот лунный свет!
Но где-то на речном берегу
Стучат и стучат вальки...*
(Перевод В. Марковой)

В стихотворении Фудзивары-но Саданэ (1162—1241) ударная строка — третья. Отбросьте последние две и выйдет хокку. Однако между Фудзиварой и Басё (1644—1694) — пятьсот лет, в которые дзэн укоренился в Японии. До Басё трехстишия существовали вне высокой поэзии. Они воспринимались как трюк. Никто не решался все-речь пренебречь танкой, освященной древностью и вниманием божественных императоров. Народных корней у хокку нет. Только дзэнский поэт, с дзэнской уверенностью в своем внутреннем праве взломать традицию, мог канонизировать младший жанр и превратить его в старший. Избранная Басё, эта форма за короткий срок стала национальной.

Предание выводит рождение хокку из мондо (диалога), который настоятель вел со своим учеником Басё:

- Что вы успели за эти дни?
- После давешнего дождя мох стал зеленее, чем всегда.
- Что для буддиста раньше, чем зелень мха?
- Лягушка прыгнула в воду, прислушайтесь к звуку!

Скорее всего, мондо было придумано задним числом, после знаменитого хокку; но Басё действительно прошел обучение в дзэнском монастыре и действительно написал:

*Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.*
(Перевод В. Марковой)

Д. Т. Судзуки уделяет анализу этих трех строк несколько страниц: «Пока мы движемся по поверхности сознания, мы не можем уйти от рационализации; старый пруд понимается как символ одиночества и безмятежности, а лягушка, прыгнувшая в него, и звук от этого прыжка принимаются за средство создать и подчеркнуть общее чувство вечного покоя. Но... интуитивная хватка реальности никогда не удастся, если мир Пустоты предполагается по ту сторону нашего

повседневного мира чувств; ибо эти два мира, чувственного и сверхчувственного, суть одно и то же. Вот почему поэт заглядывает в свое бессознательное не сквозь тишину старого пруда, но сквозь звук, вызванный прыгнувшей лягушкой...» (Судзуки Д. Т. Дзэн и японская культура. СПб., 2003, с. 241—242).

В каждом данном хокку буддийское и дзэнское можно игнорировать. Дзэн растворяется в культуре, как сахар в чае. Но есть черта поэтики хокку, трудно объяснимая без буддийского влияния: запрет на любовную тему. Странный, неповторимый в истории лирики! Казалось бы, аскетизм иссушит хокку. Однако случилось нечто противоположное: хокку бьет по сердцу сильнее, чем танка.

В японском искусстве вершина красоты — то, перед чем человек ступевывается, исчезает. Тиё из Кага (1703—1775), увидев сломанную ветвь, вспоминает, быть может, свою женскую судьбу. Но ветка цветущей сливы волнует ее сама по себе:

*Сливы весенний цвет
Дарит свой аромат человеку...
Тому, кто ветку сломал.*
(Перевод В. Марковой)

Цветущая ветвь сама по себе — откровение истины:

*Камнем бросьте в меня!
Ветку цветущей вишни
Я сейчас обломил.*
(Перевод В. Марковой)

— пишет ученик Басё, Кикаку Энамото (1661—1707). Так мог бы каяться Иуда, предав Христа. Поэт, по словам Басё, «следует природе и становится другом четырех времен года. Что бы он ни видел, во всем он видит цветок. О ком бы ни думал, он думает о луне. Кому предметы не цветы, тот варвар. Кому мысли не луна, тот зверь. Оставьте варварство, удались от зверя, следуй природе, вернись назад к природе!».

Поле дзэнской культуры не ограничивается «высокими искусствами» — живописью и поэзией. Влияние дзэн проникает во весь ход жизни в доме, в саду. Особенно очевидно оно в чайной церемонии. Японцы относятся к ней с не меньшей серьезностью, чем к свадебному или похоронному обряду, но обряд этот не привязан к редким событиям, он органически входит в повседневность. Можно устроить церемонию каждый раз, когда хочется выключиться из деловой суеты, освободиться от заботы, тревоги, страха... Это своего рода импровизированная домашняя месса, богослужение тишине.

Чайная церемония началась в китайских монастырях как совместное чаепитие около изображения Бодхидхармы. Возникла поговорка: «Вкус чань тот же, что вкус ча» (чая). Сложилась легенда, что чайные кусты выросли из ресниц Бодхидхармы, и разработана была целая философия чайной церемонии. Принципами ее стали гармония, благоговение, чистота и покой. В период Сун обряд был настолько совершенным, что привел в восторг корифея неоконфуцианства (и противника буддизма) Чен Хао. По преданию, он воскликнул: «Это классическая обрядность, какой она была при древних трех династиях». Однако обычнее буддийская интерпретация. Нанбороку, ученик Сэн-но Рикю, видит в чайной церемонии «создание Страны Чистоты» (т. е. воплощение одного из мифов северного буддизма) и «полное выражение духа Будды».

Для церемонии строилась беседка в углу сада. В нише — шедевр живописи или каллиграфии. Перед ним — цветущая ветка в вазе. Участники церемонии обычно приносят с собой какую-либо драгоценную утварь и рассматривают ее, пока вскипает вода в котелке. В котелок кладут металлические побрякушки, чтобы звон их напоминал «шум сосен на отдаленном холме или водопада, приглушенного облаком» (Кобори Энсиу).

С этой церемонией тесно связано развитие садоводства. Не постройка, а именно сад — важнейший вклад дзэн в архитектуру. Постройка требует рационального плана; камни или бревна нельзя укладывать в живописном беспорядке. А всякая симметрия для дзэн неестественна, мертва. Шедевр дзэн — знаменитый сад-коан в окрестностях Киото. Небольшая площадка пробороженного песка (31x15 м) символически обозначает мировой океан или вечность, пятнадцать камней, расположенных так, что все вместе они ниоткуда не смотрятся — населенные миры, а мох — растительность, жизнь.

Созерцательный аспект дзэн уравнивается динамикой дзюдо (самозащита без оружия) и кэндо (фехтование). Дзюдо опирается на философский принцип действия через бездействие. Надо нанести поражение противнику, используя его собственную силу, ускользая от него и заставляя потерять равновесие. «Мастер должен быть таким же ускользающим, как истина дзэн; он должен превратить самого себя в коан», — пишет об этом Уоттс. Очень сходные идеи изложены в письме учителю фехтования, написанном дзэнским наставником Такуаном (XVII в.). Однако цель — выиграть бой — не должна поработать участника. «Дзэн не о том, как выигрывать, — писал по этому поводу Блайс, — а что все равно, выигрываешь или проигрываешь».

Долгое время дзэн оставался совершенно неизвестным на Западе. У европейцев не было к нему подхода. Мешало пренебрежение ко всему иррациональному, абсурдному. Только тогда, когда на самом Западе возникло чувство тупика, исчерпанности Нового времени, с которым Запад себя отождествил, рационализма и веры в прогресс, появились возможности пропаганды дзэн. Первыми эти возможности использовал Д.Т. Судзуки, и в два десятилетия между мировыми войнами у него появились талантливые ученики (Р. О. Блайс, Ч. Хемфриз). Однако массовое увлечение дзэн началось лишь после второй мировой войны. Атомная бомба, перспектива ядерного самоубийства человечества, литература и театр абсурда создали духовный климат, в котором дзэн вдруг стал понятным и нужным. Люди почувствовали себя падающими в пустоту, в ничто, а дзэн учил падать и держаться ни на чем (как это описал в одной из своих сказок всемирно известный сказочник Михаэль Энде; см. его книгу «Зеркало в зеркале»).

Психологию западного адепта дзэн превосходно передал Р. О. Блайс (1898—1864) в предисловии к первому тому изданной им серии «Дзэн и дзэнские классики»:

«Читатель этой книги будет смущен — но такова человеческая судьба, быть смущенным; ибо есть много дорог, но все ведут к одному. Если меня спросят, — вы за или против дзэн, — я отвечу: и за, и против. Великая вина христиан в том, что они никогда **фундаментально** не критиковали христианства. Никто или почти никто не критиковал так демократию или коммунизм в тех странах, где они стали “национальным достоянием”. Ни один буддист не находил в Будде немного придури; и законы против кощунства все еще существуют в Англии. Япония — возможно самая свободная страна в мире и возможно всегда ею была, в духовном смысле слова, ибо это страна, наименее лишенная поэзии и юмора.

Дзэн — это сущность христианства, буддизма, культуры, всего, что хорошо в повседневной жизни обычных людей. Но это не значит, что мы не должны сбивать его с ног при малейшей возможности так поступить. И не только мнимый дзэн или дзэн лицемеров и приспособленцев, поддерживающих его, нет, мы штурмуем дзэн в его высших и высочайших формах. Нет ничего святого, кроме вашей собственной глупой, противоречивой интуиции, — называя интуицией то, что объединяет со всеми “великими людьми” без изъятия и с доброй половиной “маленьких людей”. Она часто чересчур субъективна, опасна и в самом деле переменчива, но великое дело — обладать мужеством и говорить снова и снова: “Все, что можно расшатать, пусть будет расшатано!” — А если потом ничего не останется, пусть так и будет».

То, что Блайс называет дзэн, — не дальневосточный дзэн, а нечто всеобщее, присущее всем культурам, но нашедшее в дзэн свое самое яркое, рельефное выражение. Он чувствует дзэн «в музыке — у Баха всегда, у Моцарта часто (но не у Гайдна), в последних квартетах Бетховена; в природе, особенно в горах и камнях; в повседневной жизни, большею частью у женщин, чей недостаток ума и отсутствие морали дает им природный дзэн. В искусстве — прежде всего в византийской иконе, с ее застывшей и неизменной истиной в застывших и неизменных образах; в Брейгеле, с его нераздельностью природы и человека, в Гойе, бесстрашно вглядывающемся в страх, в Клее...». В другом месте Блайс еще раз подчеркивает дзэнскость Баха, ибо Бах ничего не пишет от себя, а что Бог на душу положит. Романтиков он бранит за то, что у них слишком много чувства, музыка же не чувствует, а дзэн.

Дзэн (в дальневосточном смысле этого слова) поддерживал дзэнское, дремавшее в таких людях, как Блайс, и возвращал европейцу, поработавшему условностями, чувство внутренней свободы. Остальное зависело от того, насколько глубоко люди понимали свою свободу, насколько она стала для них основой нравственного порядка. При массовом увлечении дзэн в Америке произошло снижение его духовного уровня. Большинство новых адептов дзэн были знакомы только с его литературным сценарием, с 2—3 прочитанными книжками. Они не имели опыта долгого, глубокого общения с дзэнским учителем, не раскрыли в себе интуицию, подобную интуиции старцев. Их разболтанную жизнь хорошо описал Дж. Керуак в романе «Бродяги кхармы»: «Ты никогда не станешь бодисатвой махасатвой, — говорит один из героев этого романа другому, — слишком много пьешь!». В таком коктейле из дзэн, спиртного, наркотиков и секса дзэн выступает только с одной стороны, второстепенной в течение всей его истории на Дальнем Востоке, — как социальный бунт и «пощечина общественному вкусу». Религиозные и вообще более духовные аспекты дзэн остаются едва затронутыми.

Однако «мировой дзэн» не сводится к поверхностной моде. Несколько десятилетий шел и продолжает идти диалог с ним в западной психологии, философии, литературе. Контакт с дзэн — один из путей к выходу из европоцентризма, из стереотипного сознания превосходства европейской религии, науки, культуры над культурами Азии. Корифеи психоанализа (К. Г. Юнг, Э. Фромм) увидели в дзэн путь к психосинтезу, к восстановлению духовной цельности человека. М. Хайдеггер признал в дзэнских парадоксах глубокое понимание бытия, способное обогатить его онтологию. Л. Витгенштейн изучал дзэн как выход из противоречия, к которому он пришел в своем «Логико-философском трактате» (целостность бытия реальна, но «не может быть высказана: она противоречит грамматике»). Повести Сэ-

линджера — пример обогащения одной из западных литератур элементами дзэнской традиции, органически вошедшими в новый синтез. Томас Мертон (траппистский монах) был потрясен чувством близости дзэнского и христианского созерцания.

Можно вместе с Блайсом взглянуть на дзэн как на момент абсолютной непосредственности духовного поиска. Но неизбежный следующий шаг — понимание того, что такие моменты непосредственной творческой свободы, прорывы к целостному восприятию бытия бывали всюду. Когда Блайс называет дзэнской византийскую икону или музыку Баха, это звучит парадоксально; но можно сказать, что при всем внешнем несхождении, между иконой византийского или русского мастера и сунской живописью «гор и вод» есть некоторое внутреннее сродство, родство глубинной интуиции. И узнавание этого внутреннего схождения всех традиций обогащает наше понимание каждой из них. Сила дзэн не только в его непосредственности, но и в его традиционности, в ощущении канона, прочно сложившейся культуры, эстетически завершенного мира, в котором свободное поведение имеет свою внутреннюю норму, свой скрытый стержень. Глубоко понятый опыт дзэн дает выход из противоречия, созданного омертвлением канона и превращением его в шаблон, в штамп. Стержень дзэн — это канон внутреннего состояния, остающийся неизменным при всех переменях. Это верность вечному при открытости всем сдвигам времени.

XX век (Кришнамурти, Раджнеш, бахаизм)

В XIX веке казалось, что процесс вестернизации приведет к простому выравниванию, что европейская модель станет всеобщей. Однако сам процесс по усвоению европейской культуры стал давать парадоксальные результаты. Даже у нас, в России, сперва шло, скажем, освоение европейской формы романа, и когда в творчестве Тургенева было достигнуто совершенство, изящество, близкое к французскому, тут же появились Толстой и Достоевский, которые это изящество переломали, создали новую форму, внесли в европейский мир русское чувство бездны, противопоставили завершенным формам Европы русскую незавершенность, русскую открытость неразрешимым вопросам — и покорили этим Европу. Европеизация России перешла в диалог России с Западом. То же получилось с Индией, Японией. Именно европейски образованные индийские мыслители — Вивекананда, Ауробиндо и другие — создали образ индийской культуры на Западе. Именно европейски образованные японцы передали европейцам и американцам свою преданность буддизму дзэн. И началось то, чего никто не ждал: миссионерство Востока на Западе.

С Запада идет наука, технология, правовые и политические институты. С Востока — культура созерцания, прислушивание к тишине, выход за рамки средиземноморской логики с ее резкими делениями на черное и белое, выход к «недвойственности». Этот Восток заговорил по-английски, он сам себя перевел на язык, доступный европейскому уму.

Один из самых ярких «западно-восточных» мыслителей — Джидду Кришнамурти.

Кришнамурти родился в ортодоксальной брахманской семье в Маданалале (возле шоссе Мадрас — Бангалур). Когда именно это произошло — неизвестно. Английская сводная библиография указывает 1895 год, справочник Чемберса — 1891. «В Индии возраст значит меньше, чем на Западе, — говорил (в 1934 г. — *Авт.*) Кришнамурти, — и его не записывают. Согласно моему паспорту, я родился в 1897 году. Но я не могу ручаться за точность этого»^{*}.

^{*} *Landau R. God is my adventure. L., 1964. P. 201.* Далее: Ландау с указанием страницы.

Уже в очень раннем возрасте обнаружилась склонность Джидду к ярким эстетическим переживаниям, видениям, экстазу и трансу. Образы религиозного искусства буквально потрясали его. «Когда я был мальчиком, — вспоминал Кришнамурти в 1927 г., — я часто видел Кришну, с его флейтой, как рисуют его... Мать... много рассказывала мне о Кришне, и я создал в моем уме образ Кришны, играющего на флейте, — со всем благоговением, всей любовью, всеми песнями, всем восторгом, — вы не представляете себе, какая это потрясающая вещь для мальчиков и девочек Индии» («Кто приносит истину»)*. В возрасте десяти лет Кришнамурти был настолько поглощен своими видениями, что не замечал, когда нечего было есть (Сюарес, 50). Впоследствии он признавался Ландау: «У меня исключительно плохая память на то, что называется физической реальностью. Когда вы утром вошли, я не могу вспомнить, встретились ли мы два, три или десять лет назад. Я также не помню, где и как мы встречались. Люди меня называют мечтателем и совершенно справедливо обвиняют меня в отчаянной рассеянности. Я был безнадежным в индийской школе. Учителя и товарищи говорили со мной, я их слушал, и все же у меня не было ни малейшего представления, о чем они со мной толкуют. Я не могу припомнить, думал ли я в этот момент о чем-нибудь определенном, и если да, то о чем. Я, наверное, грезил, потому что фактам не удавалось отпечататься в моей памяти» (Ландау, 200).

Отец Кришнамурти, мелкий служащий, работал в штаб-квартире теософского общества в Адьяре (Мадрас). Мальчика заметил епископ Ч. Ледбитер, один из лидеров теософов. Он был поражен сперва красотой Джидду, а потом — его своеобразными способностями. Ледбитер решил, что Джидду — тот самый человек, которого теософы искали: новый Учитель мира, живой Майтрейя (будда любви), предыдущим воплощением которого на земле был (согласно теософским представлениям) Иисус Христос (Ландау, 62). Нараяния Кришнамурти, обремененный большой семьей (Джидду был его восьмым ребенком), охотно отдал сына на воспитание епископу. Заодно Ледбитер взял в ученье младшего брата Джидду (впоследствии умершего в Калифорнии от туберкулеза). Обладая известными парапсихологическими способностями, Ледбитер занимался тренировкой подходящих мальчиков, воспитывая из них будущих оккультистов. Джидду стал его лучшим учеником.

Вскоре Нараяния понял, что теософы отвратят его сыновей от ортодоксального индуизма, и потребовал их назад. Начался процесс об опеке. Ледбитер, обвиненный в применении безнравственных педагогиче-

* Цитирую по книге: *Suares C. Krishnamurti and the unity of man. Bombay, 1955. P. 53.* Далее: Сюарес с указанием страницы.

ских методов, вынужден был уехать из Индии. Однако теософы выиграли процесс. Попечительницей Джидду стала Анни Безант. Она увезла его в Англию и — после безуспешной попытки Кришнамурти поступить в Оксфордский университет — дала ему тщательное домашнее образование. Английский язык стал языком его мысли.

С 1912 г. теософы официально признали Кришнамурти мессией. А. Безант — женщина большого ума и воли — создала международный Орден Звезды на Востоке, с основными центрами в Индии, Голландии, США и Австралии. Время от времени Кришнамурти выступал там с лекциями и беседами, рассказывая о своем понимании жизни.

Юношеские выступления Кришнамурти не очень значительны. Оригинальной была его личность, его глубокие созерцания. Но осмысление пережитого шло по рельсам теософской теории. Только постепенно — не ранее 1923 года — начало складываться его собственное отношение к миру, выросшее из его собственных встреч с людьми и впечатлений от событий.

Теософское общество и Орден Звезды на Востоке были организациями одновременно космополитическими и связанными с Индией. Особенно тесно была связана с Индией жизнь председателя общества, А. Безант. Она играла значительную роль в национально-освободительном движении, подвергалась репрессиям властей и в 1917 году была избрана председателем ежегодной сессии Индийского национального конгресса. Личная уния теософии с Национальным конгрессом не могла пройти мимо внимания Кришнамурти и, вероятно, впервые натолкнула на мысли (довольно частые в его позднейших беседах) о сходстве религиозных и политических организаций. Противоречия индийского национально-освободительного движения, внутренние конфликты происходили на его глазах (в частности разрыв А. Безант с радикальным крылом конгресса в 1919 г.). Не прошли мимо внимания Кришнамурти и события всемирной истории: первая мировая война, Октябрьская революция. В 20-е годы Кришнамурти (как и многие другие индийские интеллигенты) с большим интересом присматривался к тому, что происходило в России, и ждал от нашей страны нового слова в развитии культуры.

Правда, до известного момента политические и другие события казались Кришнамурти второстепенными (сравнительно с видениями, которыми он был полон). Но постепенно значимость «мирского» опыта росла, и впечатления, накопленные за годы юности, были в конце концов переоценены. Этот перелом произошел в 1927—1929 гг., в чрезвычайно своеобразной форме.

Внимание молодого Кришнамурти было сосредоточено на образах, в которых теософы научили его видеть прежние воплощения. Особенно часто это был образ Будды.

*Сидя, скрестив ноги, каким мир знает его,
В своих желтых одеждах, простой и величавый,
Был учитель учителей.*

(«Бессмертный друг», 1928. Сюарес, 56. Кришнамурти видел Будду в желтых одеждах — так, как ходили современные монахи. Исторический Гаутама скорее пожелтевшие, т. е. выцветшие одежды.)

Вокруг Кришнамурти было много шумихи и рекламы, но он жил, углубившись в свой внутренний мир, почти не замечая теософской суеты. «Чувствовалось, что в его личности нет ничего общего с кричащими заголовками газет» (Ландау, 78). Он страстно искал одного: «слияния со своим возлюбленным», — «тождества с Богом». «Я всегда в этой жизни, и возможно в прошлых жизнях, хотел одного: уйти, уйти от печали, уйти от уз, открыть моего гуру, моего возлюбленного... соединиться с ним так, чтобы никогда не быть особым существом со своей обособленной самостью» (Сюарес, 48).

В январе 1927 г. Кришнамурти почувствовал, что между ним и образом Будды, каким он воображал его, нет больше различия. Охваченный восторгом, он закончил одну из своих речей (в Калифорнии) чтением стихов:

*Я истина,
Я закон,
Я избавленье,
Я пастырь,
Друг и возлюбленный
(Ландау, 66).*

Анни Безант писала об этом в следующих выражениях: «Вновь сошел Божественный Дух на человека, Кришнамурти... В течение прошлого года, с 28-го декабря 1925 г., когда Христос говорил через него семи тысячам человек в Индии, он стал быстро меняться и превратился из юноши, каким он был, в мужа, полного достоинства, силы и власти. Знавшие его здесь больше году тому назад замечают превращение его из застенчивого, сдержанного юноши в человека, излучающего любовь и счастье. В прошлом году, в Оммене, Христос говорил временами через него, но он все еще оставался застенчивым и нервным. 28-го прошлого декабря, на маленьком собрании, Господь вновь говорил через него; а 11-го января, на членском собрании Ордена Звезды на Востоке, приблизительно в 200 человек, во время его речи, его голос был Голосом, который многие из нас слышали раньше в кратких изречениях. Теперь он звучал во все время речи со властью, достоинством и мудростью, которых никто из нас раньше не знал. Молчание и тишина были удивительны. Как будто прислушивалась сама

природа. В конце собрания выпал маленький дождь. Засияла радуга полной дугой и завершила собой красоту этой чудесной картины.

В нем человечество было восхищено в Божественность, и мы увидели его славу, полную благодати и истины. Дух сошел и пребывает на Нем. **Мировой учитель здесь**».

Репортер журнала «Теософ» прямо приписывает радуге характер небесного знамения: «Когда последние слова были произнесены, блеснула вспышка света, подобная благословиению, и над долиной повисла радуга» (Ландау, 66).

Однако развитие Кришнамурти продолжалось. В своих видениях он прошел сквозь Будду (Сюарес, 58); образ рассеялся. Кришнамурти перестал видеть вещи так, как ему подсказывала мать, напевая песни о Кришне, и теософы, воспитавшие его. Мир открылся Кришнамурти в своей естественной красоте, как бы подсвеченный изнутри, но без игры воображения. «Нет никакого бога, — заявил он, — кроме человека, ставшего совершенным» (Сюарес, 69). «Просветление — это открытие истинной ценности каждой вещи» (Сюарес, 68). А Кришна, Будда, Христос — «эти образы были проекцией его самого, его собственной сущности, к которой он стремился» (изложение Сюареса, 54—55). После этого переворота «мирские» события вступили в центр мышления Кришнамурти, приобрели духовную значимость, стали осознаваться с такой же яркостью, с которой прежний ученик теософов переживал и осознавал только религиозные символы. Это не значит, что Кришнамурти вышел за рамки религии, религиозного отношения к жизни. Но, во всяком случае, он вышел за рамки организованной религии.

«Об этом времени, — пишет Сюарес, — он рассказывает притчу:

Однажды ученик пришел к саньяси (отшельнику) и попросил открыть истину. Саньяси толкнул его в пещеру. “Углубись в созерцание, — сказал он ученику, — и через год ты увидишь Наставника”.

Через год саньяси спросил, явился ли Наставник.

— Да, — был ответ.

— Продолжай упражняться еще год, и Наставник заговорит с тобой.

Через год Наставник заговорил.

— Теперь, — сказал саньяси, — слушай в течение года, что Наставник говорит тебе.

И в течение года ученик слушал Наставника. Когда этот третий год истек, саньяси подошел к ученику и сказал: “Теперь ты жил с Наставником, и он говорил с тобой, и ты слушал его поучения. Сосредоточься еще глубже, пока не останется больше никакого наставника. Тогда ты узнаешь истину”» (Сюарес, 55).

Религия без религиозной символики не удовлетворила теософов. Попытки достичь понимания длились два года (1927—1929) и кончи-

лись разрывом, по крайней мере, с частью прежней аудитории. Вот отрывок из выступлений Кришнамурти того периода: «Когда Кришнамурти умрет, — а это неизбежно, — вы создадите религию, ваши умы займутся составлением правил, потому что личность, Кришнамурти, представляет для вас истину. И вы постройте храм, заведете там церемонии, будете придумывать фразы, догмы, системы — и создавать философии. И если вы постройте великое здание, опирающееся на меня, на личность, вы будете пойманы в этом доме, в этом храме, и вам понадобится другой учитель, чтобы прийти и выгнать вас из храма, выбить из вас эту уозость, освободить вас. Но человеческий дух таков, что вы создадите другой храм вокруг него, и так будет дальше и дальше» (Сюарес, 80—81).

3 августа 1929 года, на съезде Ордена, главою которого Кришнамурти (по крайней мере, номинально) являлся, он заявил о решительном нежелании участвовать в каких бы то ни было религиозных организациях. Однако теплые отношения с А. Безант сохранились. Раджагопал, бывший заместитель Кришнамурти по руководству Орденом, по-прежнему издавал записи выступлений своего друга. Лекционные залы в Эрде (Голландия), Оджай (Калифорния, США), Адьяре (Мадрас, Индия) и Сиднее (Австралия) по-прежнему были открыты для Кришнамурти.

Значительная часть теософов и членов распущенного Ордена Звезды на Востоке (членами Ордена могли быть и люди, не разделявшие учения теософов во всей его полноте; достаточно было верить в призвание Кришнамурти) по-прежнему боготворили Кришнамурти и заботились о нем. Ему не приходилось работать, думать о деньгах (Ландау, 203). Друзья предоставляли ему кров, стол, оплачивали его расходы во время поездок. Кришнамурти проводил свои дни либо в созерцании, либо в беседах с людьми и лекционных поездках (есть группы его друзей во всех крупнейших странах Запада и в Индии). Писал он очень немного и долгое время ничего написанного не издавал. Только в 1956 г. начали выходить в свет «Комментарии к жизни», за которыми последовали «Эти проблемы культуры» (в 1993 г. издательство «Разум» выпустило «Комментарии к жизни», под названием «Проблемы жизни») и «Единственная революция».

В 1934 г., готовя к печати книгу, посвященную мистикам XX в., Ром Ландау провел с Кришнамурти несколько дней. Записи довольно точно передают учение Кришнамурти (это можно проверить, сравнивая их с книгами, достоверность которых несомненна). Поэтому можно считать, что ответы Кришнамурти на вопросы биографического характера тоже верно переданы. Приведем несколько выдержек.

«Многие люди сомневаются в вас, — сказал я, — потому что вы никогда не отрицали притязаний, сделанных от вашего имени. Вы никогда ясно не сказали: «Все эти разговоры о том, что я учитель

мира — чушь, я отрицаю все это”. — “Я никогда не отрицал и не утверждал, что являюсь Христом или кем-нибудь еще, — отвечал Кришнамурти. — Такие утверждения для меня просто лишены смысла”. — “Но не для тех, кто приходил слушать вас”, — прервал я. — “Если бы я сказал да, они ожидали бы, что я начну творить чудеса, шествовать по водам и воскрешать мертвых. Если бы я сказал нет, я не Христос, они приняли бы это как авторитетное суждение и действовали в соответствии с ним. Но я против всякого авторитета в духовных вопросах, против всех стандартов, созданных одним человеком для блага других. Я, может быть, не могу сказать ни да, ни нет. Вы, вероятно, лучше поймете это, побыв со мной несколько дней и поговорив со мной. Сейчас я могу только сказать, что не придаю своей личности особой важности, что бы она собой ни представляла... Важно другое — может ли помочь людям то, что я говорю им. Всякое утверждение или отрицание с моей стороны может только вызвать соответственные ожидания части людей. Когда я посетил Индию, люди меня спрашивали: “Почему вы одеты по-европейски и каждый день едите? Вы — не настоящий учитель. Если бы вы были им, вы бы постились и носили набедренную повязку”. Я мог ответить на это только одно: что каждый учит, как считает необходимым, и каждый живет по-своему. Из того, что Ганди носил набедренную повязку, а Христос шествовал по водам, не следует, что я должен делать то же самое. Ярлыки, которые навешивают на мою личность, не имеют значения, но была еще одна причина никогда публично не отрицать притязаний, сделанных от моего имени. Она связана с доктором Безант. Если бы я сказал, что я не Учитель мира, люди бы закричали: “Госпожа Безант — лгунья”. Мое категорическое отрицание причинило бы ей вред и боль. Ничего не говоря, я пощадил ее, не причинив никому вреда”» (Ландау, 201—202). Далее разговор коснулся обстоятельства роспуска Ордена Звезды на Востоке.

«“Когда вы решились распустить организацию, созданную для вас, и отказаться от всех ваших земных владений? И почему вы это сделали? — спросил я. — Вы заговорили об этом впервые в 1929 г.” — “Нет, на год или на два раньше. Но я не был уверен в этом до 1929 года. Я говорил об этом с Раджагопалом; мы подолгу обсуждали это, и при случае я сказал д-ру Безант о моем решении. Она ответила только: “Для меня все равно Учитель, что бы вы ни решили делать. Я не могу понять ваше решение, но я буду уважать его”. Какое-то время она казалась потрясенной, но она была изумительной женщиной, и в конце концов она, кажется, согласилась с тем, что я делаю. Я отказался от своей организации, потому что совершенно ясно понял, насколько все такое мешает, если вы ищете истину. Церкви, догмы, церемонии — только камни преткновения на пути к истине”» (Ландау, 202—203).

Через несколько дней Кришнамурти вспомнил другой разговор с А. Безант, более драматичный:

«...Госпожа Безант однажды сказала мне: “Я только нянька, помогающая людям, неспособным двигаться самим и нуждающимся в костылях. Это я считаю своим долгом. Вы, Кришнаджи, обращаетесь к тем, кто не нуждается в костылях, кто может идти на собственных ногах. Продолжайте говорить с ними, но оставьте меня с теми, кто нуждается в помощи. Не говорите им, что все костыли — ложь, потому что некоторые не могут без этого жить. Пожалуйста, не говорите, чтобы они перестали следовать тем, на кого они могут опереться”.

“Каков же был ваш ответ? — перебил я. — Я думаю, просьба госпожи Безант была очень законной”. — “Я сказал ей: “Я, вероятно, не могу сделать то, что вы просите. Я смотрю на всякий определенный метод или совет как на костыль, и значит — препятствие (на пути) к истине. Я просто должен отрицать все костыли — даже ваш”. Не осуждайте меня за то, что я был так жесток с женщиной восьмидесяти лет, которой я многим обязан и которую всегда любил...”» (Ландау, 214—215).

Порвав с теософией, Кришнамурти не потерял своего влияния на теософов. Правда, известные изменения произошли. Сознание Кришнамурти стало яснее, отчетливее, он научился строго отличать видения от фактов. Но главное осталось: склонность к экстатическому переживанию своего единства с миром. Это переживание само по себе, без всяких религиозных символов, делало Кришнамурти магнитом для довольно широкого круга людей. И поклонение этих людей стихийно складывалось в нечто вроде религиозного культа, хотя Кришнамурти не жалел сил, чтобы уничтожить его. Сознательно он стремился уничтожить всякий культ, всякую «организованную религию». Стихийно, всей своей личностью, он становился точкой кристаллизации новой религии. Это противоречие проходит сквозь всю его деятельность.

«Я не моралист, — говорил Кришнамурти Ландау. — Я ничего не имею против секса, и я против подавления его, полового лицемерия и даже того, что называют половой самодисциплиной, которая есть только специфическая форма лицемерия. Но я не хочу, чтобы сексом торговали распивочно и навынос, чтобы его вводили в те сферы жизни, к которым он не принадлежит» (Ландау, 212). Все это звучит чисто гуманистически. Но поведение Кришнамурти остается необычным для «мирской» жизни, не укладывается в ее нормы.

«Для меня этой проблемы секса не существует, — сказал он. — В конце концов, секс — выражение любви, не правда ли? Я лично получаю столько же радости от прикосновения к руке человека, которого люблю, сколько другой может получить от половой близости» (Ландау, 211).

На вопрос, любит ли он кого-либо больше других, Кришнамурти ответил: «...Личной любви для меня нет. Любовь — мое постоянное

внутреннее состояние. Для меня не имеет значения, с кем я — с вами, со своим братом или с первым встречным — я испытываю то же чувство привязанности ко всем и каждому. Люди часто думают, что я поверхностен и холоден, что моя любовь негативна и недостаточно сильна, чтобы устремиться к кому-то одному. Но это не безразличие, это просто чувство любви, которое всегда во мне... Люди были шокированы моим недавним поведением после смерти госпожи Безант; я не плакал, я не выглядел расстроенным, я был спокоен; я продолжал свою обычную жизнь, и люди говорили, что у меня нет человеческих чувств. Как мне им объяснить, что моя любовь принадлежит всем и ее не может затронуть кончина одного человека, даже если это госпожа Безант. Печаль не может завладеть вами, если любовь стала основой всего вашего существа» (Ландау, 213).

«Были в вашей жизни люди, которые вам безразличны или кого вы просто не любите?» — спросил Ландау. — «Кришнамурти улыбнулся. «Нет людей, которых я бы не любил... Любовь просто есть, как цвет моей кожи, как звук моего голоса, — что бы я ни делал. И поэтому она остается на месте, даже если я окружен незнакомыми людьми или такими, которые «должны» мне быть безразличны. Иногда мне приходилось бывать в шумной толпе незнакомых людей; это могло быть на собрании, на лекции или в зале ожидания, на станции, где воздух полон шума, дыма, запаха табака и всего другого, что физически действует на меня. Даже тогда мое чувство любви к каждому так же сильно, как под этим небом, на этом чудесном месте. Люди думают, что я хвастун или лицемер, когда я говорю им, что печаль и горе и даже смерть не задевают меня. Это не хвастовство. Любовь, которая делает меня таким, так естественна, что меня всегда удивляет, как люди могут сомневаться в ней. И я чувствую это единство не только с людьми. Я чувствую его с деревьями, с морем, со всем миром вокруг. Физические различия не существуют больше. Я не говорю образами, как поэт; я говорю о реальности»» (Ландау, 213—214).

Из другого разговора с Ландау видно, что чувство единства с миром, которое Кришнамурти называет любовью, не всегда одинаково сильно. Случаи особой интенсивности он выделяет. Видимо, и расположение к людям у него неодинаково сильно; можно выбрать цитаты, в которых это довольно ясно высказано. Но колебания происходят на общем фоне, который Ландау назвал «постоянным экстазом».

Этот постоянный экстаз — черта многих выдающихся мистиков. Вывести из него очень трудно. Существует предание, что ал Халладж (один из первых мусульманских мистиков, суфиев) улыбался во время пыток. Когда пораженный палач спросил, чему он улыбается, ал Халладж ответил: «Разве ты можешь разлучить меня с Ним?». С другой стороны, евангельское предание сохранило слова Христа, распятого на кресте: «Господи, Господи, зачем Ты оставил меня?».

Экстатическое чувство единства с миром может быть нарушено, но только очень сильными и длительными страданиями. Кришнамурти никто не подвергал пыткам; ему не пришлось даже выполнять неприятную, механическую, выматывающую работу или жить в коммунальной квартире. А обычные неприятные впечатления плавают на волнах его «постоянного экстаза», как урна с окурками и плевками, подхваченная океанской волной. Средний человек видит урну, и это впечатление целиком заполняет его; Кришнамурти видит урну на фоне постоянно перекатывающихся через него ритмов, созданных волнами океана, шумом сосен, игрой заката на горных хребтах. И урна превращается в точку.

Жизнь Кришнамурти строилась так, что впечатления от красоты никогда надолго не прерывались. Он отдыхал от встреч с людьми в Кармеле (Калифорния), судя по описанию — одним из самых красивых мест на земле. Книги он читал только художественные, захватывающие своим ритмом: «Я читаю все, что кажется мне интересным: Хаксли, Лоуренса, Джойса, Андре Жида» (Ландау, 207). Ни в газеты, ни в журналы, ни в научные и философские труды, логика которых безразлична к красоте мира и отрывает от нее, Кришнамурти не заглядывал: «Я никогда не читал авторов философского и подобного склада. Я не могу их читать. Очень жаль, но я просто не могу. Жизнь и реакция на жизнь — вот все, что меня интересует. Все теории внушают мне отвращение» (Ландау, 206).

Любимое занятие Кришнамурти — прогулки по холмам, поросшим сосновым лесом, с видом на Тихий океан с одной стороны и высокие горы — с другой. Бывая в Индии, он тоже предпочитал бродить по полям или по берегу океана, а не жить в городе. На прогулке его часто охватывало то «живое переживание внутренней открытости жизни», о котором он много раз писал.

Вот случай, по свежим следам рассказанный Ландау: «Я шел домой вдоль берега, когда меня так глубоко охватило сознание красоты неба, моря и деревьев кругом, что это было почти чувство физического наслаждения. Все различия между мной и вещами вокруг меня перестали существовать, и я шел домой, полный сознанием этого чудесного единства. Когда я пришел домой и сел с другими за ужин, мне почти показалось, что я должен оставить свое внутреннее состояние за ширмой и выйти из него, но, хотя я сидел с людьми и разговаривал с ними о чем попало, это сознание ни на секунду не покидало меня».

«Как вы пришли к этому состоянию единства со всем?» — спросил Ландау. «Меня уже спрашивали об этом, — отвечал Кришнамурти, — и я всегда чувствую, что они ожидают услышать драматический рассказ о каком-то чуде, благодаря которому я внезапно стал единым со вселенной. Но ничего подобного не было. Мое внутреннее сознание всегда было со мной; хотя понадобилось время, чтобы почувствовать

его более ясно; и также понадобилось время, чтобы найти слова, способные описать его. Это не было внезапной вспышкой, а медленным, но постоянным разъяснением чего-то, что всегда было. Оно не росло, как люди часто думают. В нас не может расти ничего такого, что имеет духовное значение. Оно должно быть во всей своей полноте, и единственное, что происходит, — это наше все большее и большее сознание его. Только наша интеллектуальная реакция... нуждается во времени, чтобы стать более членораздельной, более определенной» (Ландау, 221). Нетрудно заметить в этих словах Кришнамурти аналогию с одним из догматов северного буддизма: «Каждый человек по природе Будда; но не каждый это сознает».

Можно попытаться описать психологию Кришнамурти, основываясь на его исключительной по силе и своеобразной по характеру эстетической восприимчивости. Существует простое бытовое деление людей, слушающих скрипящую пластинку: одни воспринимают музыку, отвлекаясь от скрипа; другие воспринимают скрип, совершенно разрушающий музыку. Кришнамурти принадлежит к людям первого типа и может рассматриваться как его эталон, как единица, по отношению к которой все остальные суть дроби. В детстве и в юности он грезил образами и ритмами религиозного искусства; «пройдя сквозь Будду», он продолжал жить теми же ритмами, только условные источники вдохновения, созданные людьми, уступили первое место безусловному и первичному.

Кришнамурти вбирает в себя красоту бытия и потом изливает на окружающих как нравственное обаяние. Что касается слов, которые Кришнамурти нашел, пытаясь описать свой повседневный опыт, то они второстепенны по своему значению. При непосредственном контакте с Кришнамурти эти слова просто не нужны. Об этом очень любознательно говорил Ландау американский поэт Р. Джефферс, подружившийся с Кришнамурти в Кармеле: «Что вас больше всего поразило, когда вы в первый раз встретили его (т. е. Кришнамурти. — *Авт.*)?» — «Его личность. Госпожа Джефферс часто говорит, что в комнате становится светлее, когда Кришнамурти входит, и я с ней согласен; он сам — самая убедительная иллюстрация его учения. Для меня неважно, хорошо он говорит или нет. Я могу почувствовать его влияние даже без слов. Позавчера мы вместе пошли побродить по холмам. Мы прошли почти десять миль, и так как я плохой собеседник, то почти все время молчали. И все же я почувствовал себя счастливее после прогулки. Сама его личность, кажется, распространяет истину и счастье, о которых он всегда говорит...» (Ландау, 218).

Чтобы понять своеобразие Кришнамурти, его место среди людей его уровня, хочется припомнить притчу Эххарта о крюке и двери. Монахини спрашивали, как совместить страсти Богоматери с отрешенностью внутреннего человека, нашего глубинного «я», обращен-

ного к Богу. Экхарт ответил, что отрешенность внутреннего человека — это крюк, на котором подвешена дверь страстей. Богоматерь билась в рыданиях, но внутренне она оставалась отрешенной. Продолжая эту притчу, можно вспоминать, что Христос заплакал, узнав о смерти Лазаря. Или пример с Рамакришной. К нему привели отца, потерявшего сына. Рамакришна обнял несчастного и рыдал с ним трое суток, а потом запел гимн — и отец запел вместе с ним. Таких примеров во всем наследии Кришнамурти нет. Отдельное он видит только с птичьего полета, никогда не сходя со своего неба, не разделяя (хоть на миг) страстей и горя земли. Его любовь равномерно разлита по всему творению и никогда не выходит из равновесия. К нему приходит мать, потерявшая сына, а он рассуждает с ней о *понимании* смерти, и разговор скользит по поверхности сердца.

Прочитав с начала до конца три тома «Комментариев к жизни», только очень редко находишь там свидетельства контакта с собеседником, понимания друг друга с полуслова. Помимо характера любви Кришнамурти, скорее парящей над землей, чем ступающей по земле, для многих труден его язык, стиль разговора. Он делается доходчивым лишь тогда, когда Кришнамурти-мыслитель уступает место поэту. Он набрасывает картины природы, в которых становится зримым дух целого, или афоризмы о медитации. Это своего рода стихотворения о прозе, полные внутренней жизни. Но беседа, следующая за этими искрами поэзии, по большей части остается сухой, не выходит из того самого царства абстракции, откуда Кришнамурти стремится вывести собеседника.

* * *

Кришнамурти чувствует себя непосредственно связанным с тем, что он называет реальностью, с целым по ту сторону частностей, и считает возможным и необходимым для каждого человека установить такую связь. Все остальные вопросы, с его точки зрения, второстепенны и хотя должны решаться, но во вторую очередь. Внимание же должно постоянно направляться к «тому, что есть». Это не бытие в обычном смысле слова. «Это» вообще нельзя назвать. «Есть только это и это осознает себя... Оно не имеет начала и слова» (Кришнамурти Дж. Проблемы жизни. М., 1995, с. 242) — т. е. не может быть выражено словом. Пространство и время в «этом» исчезают. Это чистое настоящее, освобожденное от всех следов прошлого и всякой мысли о будущем. Мейстер Экхарт (великий немецкий мистик XIII—XIV вв.) называл это «вечным теперь».

Кришнамурти описывает «это» в форме ряда вопросов, обращенных к собеседнику (пришедшему узнать, как достичь внутренней и внешней простоты): «Существует ли чувство помимо реакций, названных словом “простота”? Существует ли чувство, отдельное от слова, термина, или они неотделимы?.. Нельзя ли чувствовать интенсивно, чисто, без оскверне-

ния? Интенсивно чувствовать в связи с чем-то — с семьей, страной, с каким-то случаем — сравнительно легко. Интенсивное чувство энтузиазма возникает, например, если вы отождествите себя с верой или идеологией. Это всем известно. Можно увидеть стайку белых птиц на синем небе и почти в обморок упасть от интенсивного чувства красоты, или отпрянуть в ужасе от человеческой жестокости. Все такие чувства вызываются словом, сценой, поступком, предметом. Но нет ли интенсивности чувства без предмета? И не будет ли это чувство несравненно более великим? Чувство ли это вообще, или что-то совершенно другое... (Собеседник отвечает: “Боюсь, я не понимаю, о чем вы говорите, сэр”). Есть ли состояние без причины? Если оно есть, можно ли его прочувствовать, и не словесно и теоретически, а действительно осознать это состояние? Чтобы быть таким образом остро сознающим, вербализация в любой форме, отождествление со словом, с памятью — должны полностью прекратиться. Существует ли состояние без причины? И не будет ли этим состоянием любовь?» (Кришнамурти Дж. Проблемы жизни. М., 1995, с. 311—312). «Но любовь чувственна, а если нет, то божественна», — отвечает собеседник.

«Мы снова запутались, — продолжает Кришнамурти. — Делить любовь на эту и ту — занятие профанов. Мы ничего от этого не выиграем. Любить без словесно-морального забора вокруг — это состояние сострадания, не вызванного никаким предметом. Любовь — это действие, а все остальное — реакция. Поступок, рожденный реакцией, вскармливает только конфликт и горе» (Кришнамурти Дж. Проблемы жизни. М., 1995, с. 312).

Логическим следствием «этого» является отказ от всякого формализованного учения. Еще в 1934 г. Кришнамурти говорил Ландау: «У меня нет никакого учения. Если бы оно у меня было, большинство слепо приняло бы его и попыталось жить по моим словам, просто из-за авторитета, который мне пытаются навязать». — “Но что вы говорите людям, которые приходят и просят помочь им?” — “Что нельзя”. — “Нельзя?” — “Разумеется, нельзя. Вы не можете научиться духовной истине (т. е. экстастическому принятию жизни. — *Авт.*) на опыте. Не понимаете?.. Жизнь слишком сложна, слишком тонка для этого. Она никогда не повторяется; нет двух печалей в вашей жизни, подобных друг другу. Каждая новая печаль или радость должна приниматься так, как этого требует неповторимость опыта”. — “Но как же это сделать?” — “Устранив память прошлых опытов, разрушив все воспоминания о наших действиях и реакциях”...

“Но это чисто негативно, и я не нахожу ничего позитивного во всей вашей схеме”. Кришнамурти улыбнулся и пододвинулся ближе ко мне: “Нет нужды искать положительное; не давите на него. Оно всегда здесь, хотя скрыто за большой кучей старого опыта. Устраните все это, и истина — или то, что вы называете положительным, — будет здесь. Она входит автоматически. Этому нельзя помочь”. Я попытался уг-

лубиться в смысл его слов и потом спросил: “Вы сейчас произнесли слово “истина”. Что же такое, по-вашему, истина?” — “Назовите это истиной или освобождением, или даже богом. Истина для меня — это освобождение ума от груза памяти... Это осознание (awareness. Возможен вольный перевод: узнавание. Узнавание Бога в природе, узнавание глубинного в жизни Духа. — *Авт.*), постоянная открытость сознания жизни внутри и вне нас. Следите вы за мной?” — “Да, но, пожалуйста, объясните, что вы подразумеваете под сознанием”, — отвечал я... — “Важно то, чтобы жить полностью в каждый момент нашей жизни. Это единственное реальное освобождение. В истине нет ничего абстрактного, это не философия, не оккультизм, не мистицизм. Это повседневная жизнь, это восприятие смысла и мудрости жизни вокруг нас. Единственная жизнь, которой стоит заниматься, это наша теперешняя жизнь и каждый ее миг. Но чтобы понять ее, мы должны освободить ум от всякой памяти и дать ему спонтанно воспринимать настоящее...” — “Я понимаю, но я сомневаюсь, может ли такое осознание быть выраженным в словах... Мне кажется, можно понять его, только если самому пережить такое...”», — возразил Ландау.

«Кришнамурти не сразу отвечал. Он лежал на земле, глядя в небо. “Это так, — сказал он медленно. — Но что же делать?” — “В самом деле, что, Кришнаджи? Я не совсем понимаю, что вы имели в виду, сказав мне вчера, что пытаетесь помочь людям, говоря с ними. Может ли кто-то, не прошедший сам через открытость сознания, о которой вы говорите, понять, что она значит? А те, кто обладают ею, не нуждаются в том, чтобы слушать об этом”.

Кришнамурти снова помолчал, и я мог видеть, что направление, принятое разговором, его глубоко затронуло. После некоторой паузы он сказал: “И все же это единственный способ помочь людям. Я думаю, что можно прояснить умы, разговаривая обо всем этом. При случае они сами воспримут истину. Вы не согласны?”» (Ландау, 204–206).

В зрелые годы Кришнамурти очень усовершенствовал свой язык, пытаясь словами провести к выходу за уровень слов, к истине целого, постижимой в интервьюах между словами, прочитываемой между строк. Он настойчиво противопоставляет действие и деятельность, разум и мысль и т.п.

Действие (action) — ответ всем существом (всей собой, сказала М. Цветаева), а деятельность (activity) — суета реакций на drobные проблемы. Словом «разум» в русском переводе книги «О самом важном» (М., 1996) передается английское intelligence. Собеседник Кришнамурти, физик Дэвид Бом, говорит, что intelligence «происходит от слов «inter» и «legere», что значит «читать между»; «читать между строк», — подхватывает Кришнамурти (с.16). Речь идет о способности улавливать дух целого — в противоположность мысли, развивающейся по законам логики, связывая или разделяя отдельные понятия. Это очень

старая проблема, сродни противопоставлению духа букве. Подобные размышления могут подвести к интеллектуальному образу целого, но не дают непосредственного переживания целого, к чувству «я видел истину» — как в «Сне смешного человека» Достоевского, в притчах Халила Джибрана, Сент-Экзюпери и, наконец, в притчах самого Кришнамурти, особенно в такой его книге, как «Первая и последняя свобода».

* * *

Кришнамурти умер в 1985 году. Последнее десятилетие его жизни — время нарастающей, а затем падающей популярности Раджнеша, книги которого широко разошлись в советском самиздате. Раджнеш отзывался о Кришнамурти с глубоким уважением, но указывал на один его недостаток: неумение передать ищущим свое понимание жизни. В этом была негативно сформулирована его собственная программа: найти общий язык с массой выбитых из себя, заброшенных в расплывающемся мире людей, ищущих духовной опоры и не находящихся ее в традиционных религиях. Раджнеш пытался передать им свой опыт духовной глубины, опыт точки покоя в любом внешнем сумбуре. Этот опыт у него (до какого-то уровня) был. Некоторые его ответы слушателям напоминают Кришнамурти; например, слушатель во время беседы в Пуне 18 апреля 1978 г. спросил: «Когда я был молодым, я обычно ощущал своего рода притяжение, находясь вблизи открытых окон, наверху какого-нибудь высотного здания. Многие из тех, с кем я сейчас работаю, тоже ощущают подобное чувство. Мне кажется, что если я подойду еще ближе, то могу прыгнуть. Насколько я могу судить, это не тяга к самоубийству. Что же это?»

Раджнеш ответил: «Вы боитесь не обычной смерти — вы боитесь того, что адепты дзэн называют “великая смерть”. Вы боитесь исчезнуть. Вы боитесь потерять самообладание, контроль над собой...»

Даже если общество вдруг решит сделать всех абсолютно свободными, люди не будут свободными. Люди не примут свободы. Они создадут свое собственное рабство... Свобода страшна, потому что свобода просто означает, что их не будет... Вы должны освободиться от самих себя. Вы и есть рабство. Когда рабство исчезнет, вы сами исчезнете. Иногда этот страх может появиться у вас у окна высотного здания или возле пропасти в горах... Эта физическая ситуация послужит сигналом для вашей психики. Она может дать вам идею исчезновения, и помните: страх и влечение присутствуют вместе.

Вас влечет к открытым окнам, потому что вам хочется освободиться от тюрьмы, ставшей вашей жизнью. Но это единственная жизнь, которую вы знаете, и вот появляется страх. Кто знает, есть ли другая жизнь или нет...».

«В любовном акте с мужчиной или женщиной вас охватывает тот же страх», — продолжает Раджнеш и сравнивает мистический экстаз с оргазмом, в котором страх исчезает. Кришнамурти не стал бы так говорить. Он испытывал экстатические состояния с детства без всякой связи с полом и никогда не пояснял бы мистического переживания сексуальным. И любое взрывное чувство, оргиастический взрыв чувств не привлекал его. Кришнамурти пытался передать свое приятие всей полноты жизни при полной ясности ума. Раджнеш идет навстречу аудитории. Иногда это ему очень хорошо удается. «В каждом детстве, — говорит он, — есть сатори (переживание всей целостности бытия. — *Авт.*), каждое детство полно сатори, но мы утратили его. Рай утрачен, и Адам выброшен из рая. Но воспоминание осталось, неведомое воспоминание, толкающее вас на поиск... Духовный поиск возможен только тогда, когда с вами случилось что-то без вашего ведома. Может быть, в любви, может быть, в музыке, может быть, в природе, может быть, в дружбе...»

Это верно: духовный поиск нельзя начать «от ума». Ум будет скользить по «уровню слов». Нужно что-то пережить — внезапный страх, внезапный восторг или медленно грызущую тоску — но так или иначе пережить неведомое, очароваться неведомым — и потом прояснить его. Но можно ли — и нужно ли — **толкать** к подобным переживаниям? Не соскальзывает ли иногда Раджнеш на уровень хиппи, торопящихся выскочить из обыденной жизни в сексуальную свободу, в наркотический экстаз? До какой степени Раджнеш играет с аудиторией, — оставаясь собой, — и где он заигрывается?

Кришнамурти всегда серьезен, а Раджнеш играет со слушателем, с читателем. В серии книг, созданных им, он поочередно становится на точку зрения одной какой-то религии, входит в роль страстного исповедника христианства, суфизма (мистицизм ислама), хасидизма (мистическое течение иудаизма), даосизма, дзэн, тантризма... И каждый раз доказывает превосходство именно **этого** над всеми другими. Собранные вместе, книги Раджнеша производят впечатление карнавала ряженых, назавтра готовых отбросить свои короны и мантии. Это впечатление еще усиливается шутивными интермедиями, воображаемыми диалогами с муллой Насреддином.

Можно все это понять в духе дзэн: для спасения нужна великая вера (в возможность достичь точки покоя), великое рвение и великое сомнение (в **словах** священных книг, в «букве», противостоящей духу). Но Раджнеш то и дело создает впечатление, что можно дойти, пошучивая, до самой глубины, без величайшего напряжения сил, без дисциплины ученичества.

Кришнамурти всецело **жил** на своей духовной глубине и редко умел сделать шаг навстречу слушателю. Раджнеш всегда готов на этот шаг. Но за одним шагом следует другой, и иногда проповедник оказывает-

ся с толпой, а не с духом, вдохновившим его лучшие страницы. Слушатель признается в любви к пошлым анекдотам. Раджнеш отвечает, что не надо ничего преодолевать, — и рассказывает для ободрения анекдот, после которого хочется сплунуть...

Такое сознательное переворачивание всего святого вверх дном уже делалось когда-то. Раджнеш упоминает дзэн. Но еще ближе к нему тантризм.

Тантризм имел и буддийское, и индуистское воплощение. В середине века взаимоотношения буддизма с индуизмом напоминали игру в поддавки. Буддизм признал индуистских богов бодисатвами (великими святыми своей веры). Индуизм признал Гаутаму Будду аватарой (воплощением, ипостасью) Вишну. Поэтому невозможно установить, в какой среде тантризм сделал первые шаги. Тантристы пытались использовать страсти (дымящееся пламя), чтобы перейти к экстазу недвойственности, целостности (пламя без дыма). Для начала тантризм «левой руки» (более радикальный) допускает и половую близость (в которой символически переживалось слияние Шивы и Шакти, Упайи и Праджни), и выпитый в решающую минуту обряда наркотик (все это, однако, после нескольких месяцев монашеской подготовки: обстоятельство, которое опускается в «тантризме московского разлива»).

Иногда метод достигал цели, и монах переходил к высшим ступеням духовного восхождения, добровольно затворяясь на семь лет в замурованной келье с маленьким окошечком для хлеба и воды, — чтобы ни один помысел не отвлекал его в движении к недвойственности. Однако достаточно часто следующий шаг не удавался и целые монастыри становились притонами разврата, приперченного религиозной обрядностью. В этом же направлении двигались и стойбища хиппи, окружавших Раджнеша. Они соблазнялись свободой, к которой не были подготовлены внутренней собранностью. Соблазнился и Раджнеш — успехом. Проповеднику хотелось нравиться. Он охотно принял титул Бхагаван Шри Раджнеш (примерно говоря, господь наш Раджнеш), принимал дорогие подарки. Последние годы его были омрачены скандалами: судебным преследованием за неуплату налогов, бегством жены, прихватившей большую сумму денег. Деятельность гуру была сведена почти на нет. Но осталось наследие писателя.

Разобраться в этом наследии нелегко. Есть потрясающие страницы, есть страницы блестящие, но к меду примешиваются капли дегтя. Массовое быстрое «спасение», «освобождение», «просветление» — призрак. Мгновенное преображение — исключительно редкий, неповторимо личный случай. Хуинэн, шестой патриарх дзэн, испытал просветление на улице, услышав стих из алмазной сутры: «Воздыми свой дух и ни на чем не утверждай его». Ауробиндо в первом же опыте медитации достиг самадхи (экстатического погружения в чистый внутренний свет). Но обещать это толпе — значит лгать. Толпа может вой-

ти в церковь, где ее захватят пение, мерцание свечей, лики икон. Толпа разобьется там на исповедующихся. А массовое опьянение образами святости редко кончается добром.

Открытый вопрос — что может дать литературный карнавал великих религий, в котором каждая заявляет о своем превосходстве и трудно отличить веру от игры. В лучшем случае, это только подготовка к подлинному диалогу.

* * *

XX век дал несколько попыток религиозного эсперанто, пытающихся опередить время и дать синтетическую общую веру. Само появление этих попыток говорит о том, что есть потребность в новых формах единства. Откуда эта потребность? От того, что мировые религии в большом мире, в котором мы сейчас живем, оказались не вполне мировыми. Мировые религии возникли во вполне определенное время. Империи смешали и разрушили племена, расшатали местные культуры, племенную нравственность. Философия поставила на место веры разум — и тут же рассыпалась на десятки учений. Вакуум заполнили мировые религии. Но каждая охватила один регион, слилась с его культурой и создала свой особый «мир» (христианства, ислама и т. д.).

Всякая религия начинается с откровения, но удерживается в истории то, что отвечает на вызов времени. «Адигрантх» — священная книга сикхов, — может быть, написана не хуже других священных книг, но для распространения ее не было просторной исторической ниши. Сикхизм остался религией одной провинции.

В наше время возник новый вакуум. Границы культурных кругов, в которых укоренилась та или иная мировая религия, сейчас расшатаны натиском информации. Мы сейчас слишком много знаем об окружающем мире, мы не можем рассуждать, как странница Феклуша, что там царит султан Махмуд персидский и султан Махмуд турецкий, и вера их несправедливая, и к судье люди обращаются: суди меня, судья несправедливый. У нас слишком много информации. И еще одно: мы знаем, что наш мир оказался физически тесно связанным и основные проблемы могут быть решены только солидарно. А печальный опыт показал, что чисто рациональные доводы в пользу солидарности не достигают цели, когда разгораются страсти. Тут нужен какой-то более глубокий импульс, который заставляет замолкнуть страсти, и этот импульс может исходить из религиозной сферы.

В чем же причина неудач синтеза?

Первое — это неполноценность мистического или оккультного опыта. В книге «Разговоры Ауробиндо с Павитрой» передается вопрос Павитры: можно ли верить теософам, что они действительно экстрасенсорно разговаривали с древними учителями? Ауробиндо

ответил, что теософы не обманщики. Им действительно казалось, что они разговаривают с учителями, но они оказались жертвой игры сил, которые называют витальными, — их иногда называют еще астральными; один из теософов будто бы разговаривал и с ним, Ауробиндо, а он, Ауробиндо, никогда с ним не говорил и не думал того, что теософ воспринял.

Второе. Слишком велика роль интеллекта. Во всякой религии интеллект, несомненно играет роль. Апостол Павел был блестящим мыслителем, и многое он продумал на чисто интеллектуальном уровне. Но только откровение создает ядро религии. Рудольф Штейнер, создатель антропософии, был сыном своего века, века науки. Его ум учебного дробился по отдельным проблемам и терял целое. Чтобы пояснить это, вспомним разговор с Рабийей, приведенный в главе 5. Ее спросили: «Что ты видела в раю?». Она ответила: «Когда входят в дом, смотрят на хозяина, а не на утварь».

В антропософии слишком много сообщений «об утвари», слишком мало чистого света вечности. Сочетая оккультные способности и интеллект, Штейнер дал очень много в области медицины, педагогики; в этих областях его традиция имеет большую ценность, но в том, что он назвал Пятым Евангелием, есть только путь души Христа в ее прошлых воплощениях. Нет целостного образа Христа, нет обаяния личности Христа, нет прорыва вечности во время и пространство. Перемены в прошлом (даже если они верно угаданы) оставляют нас в царстве времени, подменяют непостижимую тайну вечности постигнутыми секретами времени. Антропософия осталась оккультно-научным направлением культуры. Религиозного движения, сравнимого с великими вероисповеданиями, из нее не вышло.

Даниил Андреев знал о неуспехе теософии и антропософии и в своем трактате, который называется «Роза Мира», предложил новый путь. Он признает великие достоинства больших религиозных традиций, за тысячелетия своего существования накопивших драгоценный опыт. И единство человечества он мыслит себе как сближение реальных исторических религий, а не создание новой. Формой единства ему представляется Уния всех христианских религий и какая-то ассоциация с другими высокими этическими религиями; к ним он относит иудаизм, ислам, буддизм и индуизм. Однако по пылкости своего воображения Андреев не удержался на этом уровне и стал тут же придумывать форму, которую окончательно примет эта Роза Мира; беседуя со своим духом (он называет его «милым даймоном»), он даже выяснил, какой национальности будут Председатели Розы Мира, перечисляет их: там будет столько-то русских, столько-то немцев, индийцев, один еврей и один араб... Это писалось, очевидно, вскоре после войны 1948 года в Палестине, и «милый даймон» демонстрировал свою нейтральность. Но такие подробности — черты утопии, а не религии.

Более того, Андреев тут же начал размышлять о какой-то новой обрядности Розы Мира. Между тем, если исходить из Розы Мира, в которой каждая религия — неповторимый лепесток, то общим может быть только дух диалога.

Несколько особняком стоит бахаизм, число приверженцев которого быстро растет. На сегодняшний день это европеизированная космополитическая религия, но корни ее — в еретических движениях Ирана XIX века. Первой была ересь бабитов. Баб — буквально ворота, дверь — титул заместителя шиитского имама, преемника халифа Али, которого шииты считают святым. В X веке последний имам, спасаясь от преследований, скрылся, назначив «дверью» одного из своих последователей. К XI веку и «двери» исчезли. Но осталась вера, что имам, по воле Аллаха, живет и дверь к нему когда-то откроется. В 1819 году Сеид Али Мухаммед провозгласил себя бабом, а в 1844 году — махди (мессией, вождем правоверного воинства). Бабиты пытались захватить власть. После нескольких неудач, в 1850 году, баб и группа его сторонников были схвачены, подвергнуты пыткам и расстреляны. По преданию, они шли на смерть со словами, которые почти точно воспроизвел Николай Гумилёв в стихотворении «Пьяный дервиш»:

Мир — лишь луч от лика Друга,
Все иное — тень его...

Один из бабитов, Мирза Хусейн Али Нури (1817—1892), в 1852 году, сидя в тюрьме, пережил озарение и почувствовал себя преемником казненного, «тем, кого обнаружит Бог» (такое предсказание баб оставил). Высланный в 1853 году в Багдад (тогдашняя Османская империя), он приобрел сторонников среди ссыльных и с 1863 года известен как Баха Алла (Божья слава). Османские власти, обеспокоенные движением бахаитов, в 1868 году заключили еретического пророка в крепости Акра (Палестина). Просидев там 9 лет, он был освобожден и написал Китаб ал-Баха, «Святейшую книгу» бахаитов. Сын его, Абд ал-Баха, тоже подвергался репрессиям и вышел на волю по амнистии в 1910 году. В это время уже существовали группы бахаитов в Европе и Америке; Абд ал-Баха объездил Запад, проповедуя свою веру. Под влиянием западной культуры Абд ал-Баха упразднил многоженство. Третий лидер движения, его племянник, не назначил себе преемника. Бахаизм стал демократической общиной, управляемой советом верующих. Центр ее в Хайфе; там выстроен большой храм. Однако никакого особого храмового богослужения у бахаитов нет. Заповеданная ежедневная молитва (на любом языке) творится в одиночестве. Совместно отмечают только некоторые памятные даты.

По учению Баха Аллы, Бог в каждую эпоху воплощает свою волю в новом пророке. Задача пророка — объединять людей. Авраам объединил племя, Моисей — народ, Мухаммед — нацию (имеется в виду, по-видимому, «нация ислама», единство мусульманского мира). Иисус очистил души своих приверженцев. Но осталась задача освятить человечество в целом. Это выпало на долю бахаитов. Впрочем, Баха Алла не последний пророк. Через тысячу лет придет новый. Бахаизм — единственная массовая религия, признающая условную истинность своих догматов. Вечность души понимается как вечное движение к непостижимой тайне Бога. Рай — символ восходящего посмертия, ад — символ посмертия нисходящего, удаления от Бога.

Бахаизм пока нигде не принял устойчивых местных форм, не создал эстетически разработанного культа. Его распространение — скорее признак кризиса традиционных религий, чем собственной силы.

Другие попытки создать новую мировую религию не убеждают в своей жизненности. Знамение времени — скорее распространение восточных мистических учений, освобожденных от некоторых местных особенностей и изложенных по-английски. Англоязычная версия восточной мистики создает новую ситуацию, ситуацию диалога великих религий. Распространяются прежде всего наименее рациональные, наименее книжные, наиболее практические пути мистического опыта. Именно их не хватает христианству. Заполняется ниша, оставшаяся пустой после Мейстера Экхарта, Руисбрука, Фомы Кемпийского.

Ортодоксальный ислам не захватывает, захватывает суфизм. Захватывает буддизм дзэн, а не изучение древнейших буддийских текстов. Захватывает йога, тантризм: все наиболее парадоксальное, наименее вербальное (привязанное к слову, к «букве»). Несколько особняком стоит Путь Кришны: это попытка перенести на Запад целый образ жизни. Но и здесь успех можно объяснить принципом дополнительности: христианству не хватало радости в Боге, и кришнаизм ввозит в Европу и Америку то, что их господствующие вероисповедания пока не умеют дать. Либо они научатся, либо им придется потесниться.

Наряду с плодотворными течениями есть и разрушительные. Безвременно погибшая Марина Курочкина остроумно разделила их на биофильские и некрофильские. Биофильские секты вульгаризируют религию радости в Боге, доводя ее до пошлости. Некрофильские — извращают религию страха Божьего, доводя его до ужаса кролика, оцепеневшего под взглядом удава. Этот невыносимый апокалиптический страх время от времени приводит к массовым самоубийствам. От некрофильских сект нельзя отгородиться таможенной. Всё уже давно было в России: и скопчество, и «гари» (самосож-

жения), и сегодня есть доморожденные «Христы» и «Богородицы», кликушествующие о конце света. Меняются только даты. На памяти авторов книги первая дата была в 1974 году, потом она несколько раз переносилась.

Жизнь, однако, не сводится к уродствам. Основной поток ее несет нам диалог вероисповеданий, диалог, в котором сохраняются древние каноны, но постепенно смягчается их несовместимость. Это означает медленное, но неуклонное движение внутри каждой традиции — к последней глубине, где наступает великое бесстрашие. Без такого движения в глубину решающий сдвиг невозможен.

В шиитском исламе есть предание о скрытом имаме. В одной из легенд, связанных с этой верой, имам, явившись, не даст никакого нового откровения, но так истолкует все прежние, что исчезнет вражда между «народами книги». Такую задачу, может быть, решат ближайшие несколько веков.

Послесловие

Есть одна современная притча о том, как в наш цивилизованный мир, оснащенный газетами и телевидением, приходит Мессия, в подлинности которого уже никто не сомневается. Он устраивает пресс-конференцию в Вашингтоне, и один корреспондент задает Ему вопрос: в первый или во второй раз он пришел? Считать ли Его появление вторым пришествием, обещанным христианам, или первым, которого ждут иудеи?

На вопрос этот Мессия отвечать отказывается. Спор таким образом остается неразрешенным и по сей день. Он и не может разрешиться каким бы то ни было внешним образом. Спор о Боге не может разрешить даже сам Бог, пока Он остается внешним авторитетом, — признанным и установленным кем-то, а не тем Безвестным и Безымянным, которого непосредственно узнает сердце.

Богопознание есть прежде всего самопознание.

Человек, не умеющий смотреть внутрь и видеть сквозь покров, никогда не увидит божественной сущности. Ее нет на поверхности, перед глазами, и она не может быть вытянута наружу. Бог не объект, и Его нельзя познать объективно.

Но богопознание нельзя считать и чем-то субъективным. Субъективный взгляд — это взгляд произвольный. Субъектов множество. Бог же — один. Богопознание есть поиск этого единого — поиск истины, — но не вовне, а внутри, в глубине, общей для всего множества, в той основе жизни, которая нерасчленима.

В процессе богопознания нет никакого самоутверждения, а только бесстрастное созерцание (то, что в православной аскетике называется «чистым умом», «трезвением»). Для чистоты богопознания не нужны и даже вредны экзальтация и какие бы то ни было, даже самые «божественные» видения, которые так или иначе являлись бы доказательством чего-то сверхъестественного. Богопознание есть открытие не видимой на поверхности и потому всегда неведомой глубины естественного — своей собственной глубины.

Чтобы познать Бога, человеку не нужно совершать путешествие по далеким мирам. Человеку нужно только познать себя самого. Но до

конца. До самой сущности. Процесс, ведущий с поверхности внутрь, из разрозненных явлений в единую Суть.

Если существует мироздание, значит — существует его единство. Ибо это организм, нечто целостное. Так же как человек. Человеческий организм предполагает некую целостность, единство. Это и есть глубинная тайна организма. Ухо, глаз, рот и даже каждый из двадцати наших пальцев единственны, уникальны и незаменимы. Каждый из них должен быть только на своем месте. И чем более каждый является самим собой, чем более точно он выполняет свою и только свою функцию, тем лучше он служит всему организму, тому самому таинственному целому, которое только и носит имя человека. Ибо ни глаз, ни ухо, ни даже голова и сердце еще не есть человек. Таким же образом любой предмет — еще не реальность. Богопознание — поиск реальности, в которой все мы составляем единое целое.

Есть ли оно, это целое, не расчлененное на части, то, от чего мы не можем отделиться, не умерев? Если мы ответили на этот вопрос «да» — тогда для нас есть Бог. У Бытия есть общий центр. Мы открыли его внутри себя и, открыв его, перестали быть только собой, а причастились всему мировому целому. Мы чувствуем «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду...».

Однако это не так просто. Чтобы найти Бога, надо и вправду подняться на небо «на крыльях Духа», подняться на великую духовную высоту.

Увидеть Бога — значит увидеть невидимое. И это трудно, это требует усилия самоизменения — до полного преображения. Увидеть невидимое нельзя теми же глазами, которыми мы видим физические явления или даже трансфизические, но все же явления. Бог вообще не явление, не предмет, не отдельность. Бог есть наша собственная Суть. Наша и всего мироздания одновременно. В Боге встречаются все живые. И снова повторяем, чтобы увидеть это место встречи всех мировых лучей, надо обладать иными глазами.

Если нельзя услышать ультразвук обычными ушами, услышать гармонию без музыкального слуха, то тем более трудно понять высший гармонический образ, новый строй чувств, если ты не обладаешь новым органом восприятия. Можно вообразить все что угодно, но воображение ни на йоту не приближает нас к действительности. Вообразить — значит облечь в образ. Но Действительность, Суть, Суший не вмещается ни в какой образ. Суший — Яхве — имя библейского Бога. Только «Суший, без всяких эпитетов». Внутри этого короткого слова — безграничность. Та самая внутренняя безграничность наша, которой надо служить со страхом и радоваться с трепетом (как поют во время литургии).

Именно с таким внутренним трепетом говорит Рильке о Безграничной Действительности и пишет слова эти с прописной буквы. Ге-

рой книги Рильке «Записки Мальте-Лауридса Бригге» говорит, что не любит сказок. Трудно представить себе природы более поэтические, чем Мальте и его мать, и вот оба они не любят сказок. Это сперва озадачивает, даже ошеломляет, но потом становится ясно, что имеет в виду Рильке. Есть великая разница между воображением и созерцанием действительности. Воображать можно что угодно, оставаясь тем, что ты есть. Твое воображение ограничено уровнем твоего сознания, поэтому, что бы ты ни придумывал, оно все равно ограничено и смертно, как ты сам. Созерцание же предполагает очищение ума и сердца до полной прозрачности, сквозь которую входит нечто действительно существующее, а не придуманное тобой. Сквозь открытое окно внутри тебя просвечивает Безграничность. Ты видишь не то, что ты хочешь видеть, а то, что есть.

Именно так видят мир маленький Мальте и его мать. И они понимают, как бескрыло всякое воображение перед Действительностью, наделенной шестью крылами Серафима.

К примеру: кто может вообразить, какая сила света собрана в одной капле, в которой скрестились все лучи? В одном вспыхнувшем брильянте? А вот мать Мальте рассказывает как о действительности о том, что сестра ее, приколов брильянтовую брошь к платью, взглянула в зеркало — и сверкание брильянта, удвоенное зеркалом, дало вспышку, в которой женщина сгорела. Сказка? Нет — живая тайна, которую иначе, как метафорой, не выразишь. То есть, может быть, та же сказка, но не уводящая от действительности, а открывающая дверь в ее тайную глубину. Не сказка, а иносказание. Сказание иными словами. Сказание об ином, несказуемом. В данном случае — о мистической смерти, в которой сгорает малое эго и вылетает, как бабочка, из кокона, новое непредставимое «Я». Метафора, образ необходимы. Но — необходимо и знание, что это только метафора, образ действительности, а не сама действительность.

Для всякого образа (всякого земного образования) критерием подлинности является его прозрачность. Он должен не замыкаться на себе, а быть окном (или дверью, или путем), ведущим во что-то большее, чем он сам, большее, чем все отдельное, — окном во всецелость.

Высший образ — это условная ограниченность, но совершенно сквозная, ведущая в безусловную Безграничность. Это окно, имеющее рамы и ведущее в простор, где нет никаких рам.

Открыть в себе окно в бесконечность, стать прозрачным для Высшего света, для Творящего Духа — глубинная задача каждой религии и каждого действительно религиозного человека.

Но всегда ли эта задача осознается? Не подменяется ли она чем-то совершенно иным? А именно — задачей самоутверждения, утверждения своей единственности?

Земные церкви оспаривают право на абсолютное владение истиной так же, как две матери в притче царя Соломона оспаривают ребенка. А Соломон, как известно, предложил разрубить ребенка пополам, и ту женщину, которая отказалась это сделать, признал настоящей матерью. Матерью истины становится та душа, которая скорее откажется от своего права на владение истиной, чем нарушит целостность истины, посягнет на ее недосыгаемую для человеческого разума Безграничность.

С критерием царя Соломона перекликается критерий нашего старшего современника, святого Силуана. Он говорил: «Кто не любит врагов, тот не христианин».

Обе меры, соломонова и силуанова, определяют подлинность веры не внешне, а внутренне. Не гляди на других. Обратись к собственному сердцу и измерь его глубину. Мать — это не та, кто владеет, а та, кто любит. Христианин — это не тот, кто прав, а тот, кто обнимает сердцем и правого и неправого и болеет за обоих; тот, кто узнал тайну неразделимости всего живого. И только углубив (или возвысив) свое сердце до такой меры, ты можешь мерить другого.

Судьями могут быть только те, которые готовы предстать перед внутренним судом. «То, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом», — говорил Силуан. Та же направленность внутрь, вопрос к себе: а сумею ли я читать? Вопрос, которым люди обычно не задаются.

Человек уверен, что умеет читать, если знает грамоту — буквы. Такое чтение — чисто механическое действие, направленное вовне и ждущее ответа извне. Даже если вы обращаетесь к Святому писанию, вопрос этот будет подобен вопросу, с которого мы начали свой разговор, — вопросу к Мессии о том, в первый или во второй раз Он приходит в мир. Вопрос обращен не к себе. И как только богопознание перестает быть самопознанием, оно перестает быть богопознанием.

Богопознание есть познание всем собой и через себя того, что находится за своими границами. Глубина глубин, в которую должно добраться наше сознание, всегда — наша собственная глубина, и всегда не только наша. Она по ту сторону распада на объективное и субъективное. Критерий истины — в обретении этой глубины, сверхличной и сверхпредметной, единой для всех. И всякое стремление сделать этот критерий общим аршином, которым измеряют внешние предметы, или частной, произвольно субъективной мерой — является духовным искажением, отходом от богопознания.

Такие отходы чрезвычайно часты. Желание спрямить дорогу мысли и, не потрудившись над очищением собственного ума и сердца, найти ответ вовне — самое характерное и естественное желание. К примеру: Христос сказал о себе, что он есть Путь и Дверь. И еще сказал, что никто не войдет к Отцу иначе, чем через Меня. И вот на осно-

вании буквального прочтения этих слов делается вывод, что Он есть единственный путь и единственная дверь, а все другие, не христианские религии — тупиковые. Но если прочесть те же слова внутренними глазами, выйдет нечто иное: Совершенный человек (свершившаяся душа, осуществившая свое богоподобие) совершенно прозрачен. Он свободен от эго. И творящий мир Святой Дух проходит сквозь него, не встречая никакой преграды, прямо в Бесконечность; путь во внутреннюю Бесконечность, путь к Отцу жизни идет таким образом через Него. И никто не может прийти к Источнику жизни, если сам не станет сквозным, т. е. таким же совершенным человеком, если не уподобится Ему, не сольется с Ним. И всякий, пришедший в глубину глубин — в Бога — не может не встретить там другого путника, пришедшего туда же.

«Я и Отец — одно», — сказал Христос. И это было поводом для людей внешнего мышления обвинить его в гордыне, в кощунстве. Выходило, что человек считает себя равным Богу. Но Он никогда не говорил о равенстве. (Когда вопрос пытались ставить так, отвечал: Отец мой более Меня.) Он говорил о единстве. Капля моря никак не равна морю, но она едина с ним. То, что казалось гордыней, на самом деле было величайшим смирением, отказом от своеволия. «Ничего не творю от Себя, а только от Отца».

Но вот, после крестной смерти Христа, после, казалось бы, торжества Его учения, — после христианизации мира — мышление людей в основе своей так же ищет внешних мерок. И буква оказывается важнее духа, образ важнее сущности, человеческие домыслы, изобретения — выше божественной данности.

Нам довелось увидеть телепередачу, которую вел американский проповедник — адвентист. С огромным количеством цитат из Ветхого и Нового Заветов он доказывал свою мысль, как будто вбивал ее в нас гвоздями. Основной его пример с ящиком и гвоздями удивительно подходит к строю его ума. Процесс создания человека проповедник уподобил сколачиванию ящика. Глина — это доски, а дух божий — это гвозди, которыми доски соединяются. Таким образом, показано наглядно, что никакой загробной жизни нет, а есть смерть и воскресение. Когда Богу не нужен ящик, Он его разбирает; когда станет опять нужным, Он его соберет. А пока — мертвый спит в ожидании страшного суда. Надо ли говорить, что исчезает такая малость, как живая тайна, и что эту тайну можно только почувствовать сердцем, углубив и возвысив сердце свое до сопричастности мировому Целому.

«У них не было храмов, но у них было какое-то насущное живое и непрерывное единение с Целым Вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для

умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым Вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего» (Ф. М. Достоевский. «Сон смешного человека»).

Каждая мировая религия есть язык этой Тайны, перевод с божественно-несказанного языка на человеческий. Истинность религии, на наш взгляд, измеряется свободной переводимостью с ее языка на другой язык. Подлинно божественное слово находится за всеми словами и никакими человеческими знаками не может быть передано вполне адекватно. Здесь уместно говорить только о «точности тайн». Но именно ощущение своей неточности в буквальном, ощущение себя как некой отсылки к подлиннику — и есть мера истинности перевода.

Религия, которая считает себя саму единственным подлинником, оказывается в тупике. Она не Путь и не Дверь. Именно поэтому некоторые эзотерические религиозные течения отказываются от слишком прямого, ясного языка, как от соблазна видимой легкости понимания, которое на самом деле есть непонимание. Они делают свой язык сознательно парадоксальным (как буддизм дзэн) или отвечают молчанием на вопросы, направленные вовне (как классический буддизм). Если мы посмотрим повнимательней, то увидим, что и в религиях, совсем иных по языку, встречаются те же приемы, только они не очень сильно акцентированы. Например, в Евангелии есть места, совершенно не поддающиеся буквальному толкованию: «Я есмь воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, а живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Можно спорить сколько угодно о загробной жизни, но что верующие в Христа умирали телесно — это бесспорно. Так что понять слова Христа (по Евангелию от Иоанна) буквально — просто невозможно. Подобных мест в Евангелии не так уж мало. А у Павла есть прямое уподобление разума века сего безумию.

Глубины каждой религии едины в подлинном, так же как все люди едины в Боге. Но единство религий еще не означает их равенства, равенства всех течений. Окно в глубину может быть более или менее прозрачным, и сильнее всех заслоняет свет гордыня. Ощущение своего вероисповедания единственным и высшим есть гордыня вероисповедания, столь же грешная, как и личная гордыня. И здесь уместно вспомнить притчу о матери сыновей Зеведеевых, которая хотела резервировать своим сыновьям места по правую и левую руку Учителя. Христос, как известно, ответил ей, что в небесном царстве всё обратное земному и тот, кто стремится здесь быть первым, станет там последним.

Во всякой мировой религии есть некое духовное ядро, есть труднодоступная глубина. Это глубинное ядро каждой религии гораздо

ближе к глубинному ядру другой мировой религии, чем к своей собственной периферии. И в каждой религии путь в глубину открывается только великому личному усилию.

Если принять, что каждое вероисповедание — это язык истины, то совсем не надо забывать свой родной язык, изучая другие. Знание других языков обогащает свой собственный. И есть глубокая радость находить общие корни в самых далеких языках и чувствовать дыхание «праязыка» или «доязыка» — того самого Творящего Духа, который веет, где хочет.

Зинаида Миркина

**Ты или я? (картины на темы
Ветхого и Нового Заветов)**

Эти страницы – плод внутреннего созерцания, в котором вновь рождались библейские и евангельские картины. Сквозь них проходит важнейший вопрос духовного становления: Ты или я? Наше глубинное Ты, заложенный в нас Образ, – или наше малое я, наше эго?

Посвящается светлой памяти
Александра Владимировича Меня

Глава 1. Адам

Когда у Адама открылись глаза, он увидел рай. Увидел, услышал, вдохнул — рай. Первозданный, как и он сам. Цветы, птицы, деревья, вода, небо!.. Золотое, синее, красное, розовое, зеленое, серебряное — горело, звенело, витало, пело! И он один должен был вместить все это! Он поворачивал голову от одного предмета к другому, от белой лилии к розе, от перламутрового попугая к павлину, от белки к лани — и вдруг не выдержал и взмолился: мне одному столько?! Я не могу поспеть, я не могу вместить! — Сможешь, сможешь, Адам. Я создал тебя по образу и подобию Своему. Я вмещаю все, значит, и ты сможешь. Только не гоняйся за всеми вещами. Иди в глубину, ко Мне. — Это сказал Бог.

Первый день мира отгорал. Занялась вечерняя заря. И хотелось смотреть только туда, на Запад. Все, что пело, летало, сверкало, затихло там, смешалось в огне, переплавилось в свет. Свет был всем. Свет проходил сквозь все.

— К Тебе, Господи? — тихо переспросил Адам и прильнул к Богу.

Глаза Адама не видели Бога — они видели только мир — рай. Его уши слышали только звуки, но он все же видел и слышал Бога еще яснее и полнее, чем все вещи. Бог был ближе всего. Так, если бы ребенок в утробе матери мог видеть и слышать, он видел бы и слышал все, кроме самой матери, но самое важное и самое близкое из всего была бы она. Если бы кто-нибудь мог сказать Адаму, что нет Бога, как бы он рассмеялся... Но такой нелепости никто не смел сказать ему — слишком ясно чувствовал Адам Божье присутствие. Он скорее бы усомнился в том, что видят его глаза, но не в том, что чувствует его сердце. Бог был всем. Он проходил сквозь все. Все было Божье, и сам Адам тоже. «Хорошо!» — вот первое слово, которое сказал Адам, сам не зная, что повторил, как эхо, первое слово, сказанное Богом при создании мира. «Хорошо!»

Только поздним вечером, увидев взошедшую звезду, Адам смутно понял, что хочет чего-то еще. «Если бы я смог обнять Тебя, Господи...»

Когда Адам проснулся, он увидел женщину. Это было чудо, равное целому миру, открывшемуся ему вчера. Мир, который можно обнять, с которым можно слиться в одно. «Ева, Ева, — шептал Адам имя, услышанное сердцем, — Ева...» Ему показалось, что она — его собственная кость и плоть, что она вырезана из ребра его и потому в груди точно рана, когда она отходит всего на один шаг от него. «Ева, Ева, я люблю тебя, как Бога», — шептал Адам. «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты позволил мне обнять Тебя», — говорил он, обнимая Еву.

Теперь они жили вдвоем. И цветы, и птицы, и деревья, и небо, и вода — все было для них, и когда они переполнялись до того, что, казалось, сердце может разорваться, они обнимались и успокаивались друг в друге.

Однажды Ева спросила: «Адам, ты знаешь, как это все возникло — и солнце, и небо, и земля?» — «Нет, Ева. Они возникли прежде меня. Я знаю только, что был сделан из них и из Бога. Бог вдунул дух свой в землю и создал меня». — «И ты не знаешь, как Он это сделал?» — «Нет, Ева». — «И не хочешь узнать?» — «А зачем?» — «Но ведь ты сам смог бы создавать тогда небо и землю, и птиц, и цветы, и людей». — «Ева, разве мало тебе всего, что Бог создал?» Ева ничего не ответила.

Однажды, когда Адам застыл, глядя на зарю, Еве стало скучно. Птицы умолкли, все стало медленнее, длиннее, и тени, и песни. Волны не брызгались и не играли, животные попрятались куда-то, солнечные зайчики не прыгали больше. Разноцветные бабочки исчезли, цветы прикрыли свои чашечки. «Ну где же вы все? — спросила Ева и обиженно опустила глаза. — Почему нет новых бабочек и цветов? Адам!» Но Адам не слышал ее. Он совсем не смотрел по сторонам, а только куда-то вперед в одну точку — в зарю. Ева проследила за ним взглядом: на что он смотрит? Но ведь там ничего не было. Только угасающее пламя и ни одного предмета.

— Адам!

Адам как во сне, не глядя на нее, привлек ее голову на грудь, продолжая смотреть вдаль. Но она высвободилась, и Адам впервые в жизни испытал беспокойство. — «Ева, ты покинула меня?» — «Это ты бросил меня. Я рядом, а ты смотришь куда-то. Мне скучно!» — «Скучно?! Что такое скучно?» — «А ты не знаешь?» — «Нет». — «Научись мастерить, как Бог. Узнай, как он создал мир и научи меня, и тогда я не буду скучать».

В другой раз Ева вот что сказала ему: «Адам, в раю растет дерево. Если мы вкусим его плодов, то узнаем, как творится мир. Мы все уз-

наем. Пойдем!» — «Нет, Ева. Это запретный плод». — «Откуда ты знаешь?» — «Знаю. Мне Бог сказал». — «Не слушай Бога!» — «Что ты, Ева?!» — «Ты ничего не понимаешь. Он не хочет, чтобы мы все знали, и поэтому не велит. Он хочет один быть мастером. Он господин, а мы кто?» — «Ева, Ева! Зачем ты говоришь так? Мы дети Его. Мы в Нем. Мы с Ним одно». — «Но ведь Он что-то запрещает, что-то держит для себя одного». — «Значит, так надо, пока мы не выросли». — «Адам, милый, ну давай, только подойдем с тобой к дереву, и я покажу тебе что-то. Только подойдем...»

Дерево было окружено странным сиянием. Казалось, каждая ветка горит и прожигает тело. Когда Адам пригляделся, ему показалось, что вокруг веток дерева обвился золотой змей. Этот змей рос на глазах, качался, сиял и шептал: «Вкусите, вкусите...». Вдруг Ева сорвала золотое яблоко. Адам крикнул и остановил ее руку. А змей шептал: «Не бойся, не бойся. Вкуси, и все будет твое». — «Мое? Но зачем мне мое?» — «Разве ты не хочешь, чтоб все было твое, чтобы ты стал господином мира?» — «Нет, все Божье, и я Божий. Значит, у нас все общее». — «И я общая? А что, если Бог отнимет меня у тебя?» — «Что ты, что ты, Ева! Бог не сделает этого, Он создал тебя из меня и для меня». — «Он создал, Он может и отнять. Ты-то ведь создавать не умеешь». — «Ева...» — «Вкуси,куси... и все будет твое, твое, только твое...» — «Ева...»

Но Ева уже откусила от золотого плода и протягивала его Адаму. И Адам вкусил. И вдруг первый раз в жизни заметил самого себя и увидел, что он наг, и ему стало стыдно. Ева жалась к нему — нагая, маленькая — и утирала его слезы. И тут услышал Адам голос Бога, который звал его к себе. Но Адам не сдвинулся с места. Он опустил лицо к земле и сказал: «Господи, я не могу предстать перед Тобой, потому что я наг». — «Кто сказал тебе про наготу твою, сын мой?!» — раздался тоскливый голос Бога. Адам не ответил.

— Адам! Ада-ам...

Голос был все дальше, дальше. Никогда еще не чувствовал Адам такого расстояния между собой и Богом. Наконец, божий голос остался только дальним отголоском в сердце. Адаму стало холодно. Первый раз в жизни узнал он, что такое холод. «Ева, Ева, милая, какой ветер, иди ближе ко мне!» Он обнимал и грел Еву, и думал только о том, как бы она не замерзла. В холодном темном мире остались они вдвоем, тесно прижавшиеся друг к другу.

И в темноте, вдали, стало слышно, как зарыдал Бог: «Сын мой, где ты?!»

Глава 2. Каин

Золотой змей не солгал. Они научились мастерить. Они построили дом и развели огонь. Они создали себе очаг. Им уже не было холодно и не было темно по ночам, даже когда не горела ни одна звезда. Они приручили животных и пасли их. Они возделывали землю, и в поте лица добывали то, что когда-то давалось им даром. И у них родились сыновья и дочери. Каин и Авель звали сыновей. Авель пас стада свои в горах. Овцы щипали траву, а Авель останавливался и смотрел на горы и небо. И однажды, когда сердце его было, как перелитая через край чаша, ему показалось, что он слышит Голос. Он застыл и слушал так, что никакие другие звуки не доносились до него. Мать звала его к ужину, отец окликал — надо было вести стада домой, — Авель не слышал. Тогда Адам сам загнал стада, и семья села ужинать без Авеля.

«Он слушает Бога, — сказал Адам, и глаза его стали печальными и далекими. — Никогда не мешайте ему слушать Бога». — «Отец, это несправедливо, — сказал Каин. — Мы должны работать, а он будет стоять и ничего не делать?» — «Каин, ты хороший сын, ты хороший работник, но оставь Авеля. Так я, отец твой, велю тебе». — «Слушался ли ты своего отца?» — глухо пробормотал Каин...

Когда Авель вернулся в дом, он запел песню. И услышав ее, Адам и Ева прижались друг к другу и заплакали. Они плакали беззвучно, долго, пока Авель пел, и когда песня смолкла. Откуда сын их — дитя изгнания — узнал песню, которую они слышали в раю?..

С тех пор Адам и Ева любили Авеля больше всех детей. Но и другие дети любили брата. Только старший, Каин, хмурил большой лоб и уходил, когда начиналась песня. Это он добыл огонь из кремня, это он первый научился возделывать землю. Это его хлеб ели отец и мать и вся семья, а этого бездельника холят и оберегают так, как никогда не холили и не берегли Каина. Где же справедливость? И что они нашли в его песнях? Правда, Каин и сам начинал странно волноваться, когда их слышал. Что-то сжимало горло его, и нельзя было ни дохнуть, ни шелохнуться. Точно жизнь преграждалась этими нелепыми звуками. Когда песня кончалась, Каин чувствовал себя наконец освобожденным. «Что находят они в его песне? И разве справедливо, чтобы один брат умел так петь, а другой нет? Разве мы не одинаковы?»

Однажды Авель пел в горах и думал, что его никто не слышит. Но Каин слышал. Он тихо подошел сзади и сел. Пока Авель пел, ему казалось, что вся земля стала иной, что все сияет, светится, и тонко звенит, как никогда не сияло и не звенело в жизни, что деревья ласковые, необыкновенные, сами кормят людей и людям не надо так тяжело трудить-

ся; что огонь вовсе не нужен, потому что золотое солнце никогда не оставляет людей без своего тепла, и что если очень долго смотреть на заходящее солнце, то... сердце само станет как солнце и... Каину показалось, что что-то пролетело мимо него гигантской птицей, что-то великое обдало его своим дыханием, смело и... вдруг исчезло. Песня кончилась.

— Спой еще, — попросил Каин. Авель улыбнулся:

— Я рад, что тебе хочется меня слушать. Я уже думал, что тебе не нравятся мои песни.

— Спой еще.

Авель что-то сдавило горло, и он сказал: — Сейчас не могу.

— А почему ты не можешь? Почему?

— Ну, если ты так хочешь...

Авель собрался петь через силу, но Каин сам остановил его и тихо спросил:

— От кого ты узнал эту песню?

— От Бога.

— Попроси Бога, чтобы Он дал ее мне.

— Но Каин, что ты говоришь? Она такая же твоя, как и моя. Я услышал ее от Бога, ты от меня, не все ли равно?

— Нет, не все равно. Почему Бог любит тебя сильнее, чем меня? Чем я хуже тебя? Разве я виноват, что мои отец и мать согрешили? Разве я виноват? Да они ведь и твои отец и мать, такие же, как и мои. Почему же тебе дано все, а мне ничего?

Лицо Каина исказила такая ненависть, что Авель застыл в ужасе и только прошептал иссохшими губами:

— Каин, брат мой...

— Теперь ты вспоминаешь, что я брат твой, а когда ешь мой хлеб, не думаешь об этом. И когда поешь свои песни, много ли ты думаешь о брате Каине? Каину труд, Каину пот, а тебе песни и любовь. Так пусть же и тебе хоть раз будет больно!

Он поднял мотыгу, которую сам смастерил, и замахнулся ею на брата. Авель застыл, немой, как дерево, около которого стоял. И пролилась первая кровь на землю.

— Каин, Каин...

И тогда первый раз услышал Каин голос Бога. Это был страшный голос:

— Каин, где брат твой Авель?!

Каин задыхался. Снова ему заперло дыхание. Ему казалось, что он умирает. Тогда он собрал все свои силы, так что раздулся каждый мускул его тела, и глаза его, ставшие ледяными, сказали:

— Что я, сторож брату своему?

Господи, какой ледяной ветер! Какая буря! Все сорвалось с пазов и носилось на свободе, свободное от своего закона, свободное от своего

стержня. — Все носилось, сталкивалось друг с другом, рвало друг друга. — Хаос. Он надвигался на душу, грозил поглотить ее. Душа металась из стороны в сторону, почти совсем оторвавшись от Бога. Одна только тонкая ниточка связывала ее с Ним, тонкая ниточка не давала ей рассыпаться и смешаться с хаосом — боль. Как трудно держаться на этой ниточке и как страшно! Душа не хочет боли. Она хочет полной свободы. И — знает, что это смерть. Оторваться — значит не быть. Но почему быть так больно?! Почему?

— Каин, Каин!

— Замолкни, перестань меня мучить!

— Каин, Каин!

— Что ты хочешь от меня, Господи?! Я же убил не Тебя, а брата моего. Вот он лежит немой, как камень. Почему же Ты все время повторяешь Его последние слова?! Ну пощади меня, дай мне забыться, ведь его же нет, не-ет!

— Каин, Каин!..

— Пощади меня, Господи!

— Я? Я — тебя?! Разве это не ты должен пощадить Меня?! Ты, отсекавший Мне руки и закрывший Мне глаза?! Ты, оставивший Меня в таком одиночестве?

— Тебя, Господи?!

Забыться, забыться!! Загородиться стеной, чтобы не слышать. Я человек. У меня есть ум и руки. Я смогу воздвигать стены, построю города, крепости. Мне не нужны Твои милости, я сам стану творить. Я создам дома и машины, я зажгу солнца! О, я буду все время занят. Я не оставлю ни минуты для Тебя. Ты не войдешь ко мне. Я забуду Твой страшный голос.

— Каин, Ка-ин!

Скорей, скорей! Я займу всю землю, я буду работать, работать. Я построю башню до неба, я вытесню Тебя с неба!

— Ка-...и...

Глава 3. Бабушка и внук

— Бабушка, не пой эту песню, мне плакать хочется.

— Ну и поплачь немножко.

— Бабушка, а почему столько слез, почему так грустно?

— Некому, наверно, слезы наши утирать.

— А Бог? Он же добрый и Он все может?

— Тише, тише, мальчик. Нельзя задавать таких вопросов. Я не знаю, почему Бог этого не делает. Значит, так надо.

— Ну почему нельзя задавать вопросы? Почему нельзя понять?

— Я не знаю, так завещали деды. Бог далеко, мой милый. Мы мало знаем про Него.

— Тогда зачем же говорят, что Он добрый?

— Так деды наши говорили, а они знали от своих дедов, а те — от своих. А самые старшие когда-то видели Бога. И время от времени рождаются люди, которые снова его видят. И потом рассказывают всем, и все они говорят, что Он добрый, что Он любит всех. Только Он очень далеко от нас.

— Но почему же он так далеко?

— Говорят, что Адам и Каин ушли от него когда-то и увели нас всех.

— А с кем же Он остался?

— Один.

— Совсем один? И ему не страшно?

— Нет, мой милый. Он — Бог, ему никогда не бывает страшно. Но говорят, что ему больно, потому что он любит нас, а живет без нас, один.

— Бабушка, ну так надо пойти к Нему.

— Да, милый. Но никто не знает, где Он. Может, кто и знает, а привести к Нему все-таки не могут.

— Бабушка, когда я вырасту, я узнаю и приведу всех.

— Да, да, расти поскорей.

Глава 4. Иов

«Господи, Господи!

Господи, где Ты?

Господи, помоги!

Почему Ты молчишь, Господи?!

И до каких пор Ты будешь терпеть столько горя, столько слез?!»

— Слышишь, что они все говорят? В самом деле, до каких пор? — Это сказал Сатана. Он стоял перед Богом, весь в золотом блеске, могучий и неотразимый. Его самого можно было принять за Бога.

— В самом деле, до каких пор будет еще держаться эта ниточка? Почему Ты не оборвешь ее и не отдашь мир мне?.. Уже совсем.

— Ты хорошо знаешь почему. Ты знаешь, что я не отдаю и не беру его. Он сам отдает себя Мне или тебе. И пока он держится за Меня, хоть за самую тоненькую ниточку, Я не оторву его. Я никогда не оторву его, если он не оторвется сам.

— Но ведь уже столько раз было, что он отрывался, и Ты опять...

— Да, мир оторвался и вернулся в хаос, и это был потоп. Но был один человек, одна душа, державшаяся за меня — Ной, и мир все-таки остался жить. Потом были Содом и Гоморра. Но Лот удержал мир.

— Ну, а сейчас? Кто есть сейчас?

— Ты ведь сам знаешь, что праведники есть. И первый среди них Иов.

— Да. Вот я и пришел просить Тебя отдать его в мои руки и испытать.

— Ты все время говоришь со Мной, как с человеком. Столько лишних слов! Ты же знаешь, что они лишние. Знаешь, что Я не могу запретить тебе прийти к Иову и сделать все, что ты пожелаешь, как не мог запретить тебе прийти к Еве и Адаму. Зачем же эти просьбы? Ты — Господин Земли, а Я — Неба. Я — внутри, ты — снаружи. Я — в глубине, ты — на поверхности. Вся поверхность — твоя. Ты выманил из Меня к себе сначала Адама, а потом и Каина, но... не совсем. Что ж, иди к Иову...

* * * * *

Жил человек в земле Уц. Иов имя его. Был он лучшим из всех людей на земле. Самым справедливым, самым добрым. Слова его слушались и решения его ждали, как ждут позднего дождя. Для слепого он был глазами, для хромого — ногами, для сироты — отцом. Таким был Иов, живший в почете и богатстве. И имел он дом, стада, семейных сыновей и троих дочерей. К нему-то и пришел Сатана, и вызвал бурю, и уничтожил в один день все стада его и все богатства. Иов только вздохнул глубоко: «Бог дал, Бог и взял. Все от Бога». Но страшная буря на этом не кончилась. Она обрушила дом, в котором находились дети Иова, и все они погибли. И зарыдал Иов, и разодрал на себе одежды, посыпал голову пеплом, но душа его и тут не отвернулась от Бога: «Бог дал, Бог взял, — сказал он. — Все Божье». — «Много можешь вынести, больше дам», — сказал Сатана и послал Иову страшную болезнь: все тело его покрыла проказа от кончиков пальцев до кончиков волос. И заметалось сердце Иова. — «Господи, что сделал я Тебе?!» — «Прокляни Бога, — сказала ему жена, — и умри. Разве можно столько вынести?» — «Я принимал от Бога счастье, приму и горе», — ответил Иов. И принял полную чашу. И перелилась эта чаша через край так, что захлебнулась душа. «Что сделал я Тебе, Господи?! Вот я сижу один на гноище своем и даже жене моей тяжел мой запах, слуги мои избегают меня, а те, кто счастливы были видеть мою улыбку, смеются надо мной...»

Пришли к Иову друзья его и не узнали его. А узнав, заплакали. И долго сидели молча. И тогда зарыдал Иов, и проклял ночь, в которую было зачат, и день, в который родился. «Для чего я не умер в утробе, из чрева вышел и не скончался? Зачем встретили меня колена и к чему сосцы, что я должен был сосать?» — «Что ты, Иов, стыдно, Иов, покайся, Иов», — заговорили друзья. — «В чем мне каяться, друзья мои? Я не вижу за собой вины». — «Нет, Иов. Значит, ты в чем-нибудь гре-

шен. Бог не посылает такие страдания зря. Покайся и попроси у Бога прощения». — «Вы для этого пришли ко мне? О, если бы вы могли помолчать — какой бы это было милостью!» — «Иов, Иов, но ты богохульствуешь. Неужели ты считаешь Бога несправедливым? Что же, ты — праведнее Бога?» — «Вам мало моего страдания, вы хотите найти на мне еще и вину?! Неужели вы не в силах пожалеть меня, друзья мои?.. Нет на мне никакой вины. Я безгрешен. Не с вами, а с Богом говорю, и пусть Бог ответит мне: за что?!»

И Бог ответил ему из бури. Бог, развернувший небо и землю, горы и море, Бог, создавший душу, сказал: «Вот я! Пусть замолчат люди. Не они, а Я буду говорить с тобой. Перед ними ты безгрешен и нет человека чище и лучше тебя, но зачем ты оставил Меня, Иов?»

— Я, Господи?!

— Все, и даже ты. Я один. С тех пор, как Адам ушел, Я один. Я создал мир, чтобы ты вместил его. Вместил ли ты? Проник ли ты в глубину Мою? Взвесил ли Мои замыслы? Был ли со Мною в час творения? Помогал ли Мне держать Землю и расчислять звезды, вонзая луч в лес и золотить горы? Глядел ли в Мои глаза вместе с утихшим морем? Уходил ли в Меня вместе с горою? И что ты сам дал Мне, чтобы судить Меня? Хорошо знать, что кто-то есть, кто может одарить тебя и защитить, кто несет тебя на себе и судит справедливым судом. А кто есть надо Мной? Я сам. Один. Я сам держу все. А Меня — никто. Пробовал ли ты вместе со Мной держать мир и отвечать, а не спрашивать?

И затих Иов. И почувствовал, что сердце его раздвинулось и углубилось, так что может вместить в себя все небо и всю землю и всю боль. И он ответил Богу:

— Господи! Слышу Тебя! Вижу Тебя! Прав Ты, Господи, потому что Ты и есть сама правда. Люблю Тебя, Господи!

* * * * *

— На этот раз Ты победил, Владыка, — сказал Сатана. — И мне пришлось вернуть ему здоровье и богатство. И даже новые дети родятся у него — семеро сыновей и три дочери. И умрет он, насытившись днями. Люди клянут меня, а кто я, Владыка? Ведь только орудие в Твоих руках. Я испытываю на прочность Твои создания. Годятся ли они для Твоей вечности или рассыплются, как только обожжет их огонь...

— Люблю Тебя! Люблю Тебя! Люблю Тебя, Господи! — подхватили ангельские хоры.

«Люблю! Люблю! Люблю!» — вот и все ноты, из которых складывается музыка мира.

Тебя, Господи, а не дары Твои.

Тебя, Господи, а не милости Твои.

Тебя, Господи, а не одежды Твои.

Люблю Тебя, Господи!

Когда звучит эта музыка, отступает Сатана все дальше и дальше, и освобождает место для Бога. И тихо и незаметно для глаза человеческого творится новая плоть, неуязвимее прежней. И отступает болезнь, и отступает страдание, и на один шаг становится мир ближе к Богу, к вечности Его, «где отрет Бог всякую слезу и где ни болезни, ни смерти уже больше не будет, ибо прежнее прошло, миновало».

Часть 2

Глава 1. Благовещение

Господи! Что за радость во мне! Нет силы вынести! Господи, откуда мне?! Точно каждая жилка моя переполнилась и дрожит и пляшет, как капля на свету!

— Радуйся, радуйся, благодатная!— Радуйся, радуйся — весь свет, все сияние вместишь в себя!— Радуйся, радуйся, природа человеческая, ибо зачнешь от Бога и родишь Бога!

Радуйся, радуйся, плоть, ибо омоешься Духом и соединишься с Ним! Радуйся! Радуйся!

— Радуюсь, Господи! Радуюсь! Ангел Твой глядит на меня, ангел Твой крылами машет, куда бы я ни двинулась, куда бы ни повернула голову! Звон-то какой, свет-то какой! Не вынести! Нет сил! Сами колени подогнулись, и голова моя упала. И вправду Ты настиг меня, и вошел в меня, и переполнил меня. Грудь моя разрывается, разбивается от любви к Тебе и от счастья неземного! Господи!

Глава 2. Рождественская звезда

Был ясный зимний вечер. Небо усеяно звездами. Люди суетятся и хлопочут в своих домах. На одних лицах — забота, на других — горе, третьи так устали, что легли и ни о чем уже не думали, четвертые хмурились и таили обиду или злобу на соседа, пятые вздыхали и просили о чем-то Бога, шестые... и шестые, и седьмые... — много их было под небом.

Кто-то один вышел из дому и стал смотреть на небо. И вот увидел он на Востоке странную звезду. Звезда эта глядела в душу, точно глаз человеческий, и сияла так, что только на нее одну хотелось глядеть. И вдруг утихла боль и тревога, и беспокойство улеглось, точно его и не

было никогда, а только в тяжком сне оно снилось. А теперь сон прошел, кончился. И человеку показалось, что он ребенок, и мать его берет на руки и ласкает, и дает ему все самое лучшее, самое сверкающее, самое невиданное, так что все вокруг полно чудесами, а он тянется от одного к другому и только смеется, только смеется.

Господи! — подпрыгнуло сердце, и из глаз полились слезы, — и он их не стыдился и не утирал. И все дела и заботы показались ему неважными, а только эти слезы важными. И так, не утирая их, он вошел в дом, и сказал своим домашним: «Вы все суетитесь, все хлопочите, и не взглянете, что за окнами...». И ничего не мог он больше сказать, потому что слезы не давали ему говорить, и хотелось ему всех обнять и приласкать, но он только обвел всех взглядом и ушел в свой угол.

* * * * *

Три звездочета увидели новую звезду на Востоке, взошедшую впервые в эту ночь, и, взяв дары свои, пошли искать Младенца, родившегося под этой звездой. И звезда шла впереди них, пока не остановилась над яслями в Вифлееме.

Глава 3. Ребенок и отрок

Когда ребенок открыл глаза, он увидел рай. Увидел, услышал, вдохнул — рай. И Ребенок улыбнулся. Если бы кто-нибудь попробовал сказать ему тогда, что улыбаться нечему, что жизнь горька, мир зол и безрадостен, если бы кто-нибудь попробовал бы это сказать Ребенку... Но никто не пробовал, никто не смел, даже сам Сатана. И такой нелепости никогда бы Ребенок не поверил.

Его окружал рай. Свет, цветы, ласковые руки, теплое молоко. И, по мере его роста, рай расширялся, увеличивался. (О, не дай умалиться раю, не отдаляйся от него никогда!)

Цветы, птицы, деревья, вода, небо!.. «Господи, как хорошо! Мне одному столько! Я не могу вместить! Как хорошо, что столько людей вокруг — им можно все показать, все отдать и смеяться и радоваться вместе!»

Как Ребенок смеялся! Невозможно было не засмеяться, глядя на него! Как будто праздник входил в твою душу и нельзя, невозможно было ему противиться!

И как-то неловко становилось людям, что душа не прибрана, что лицо сердито или озабочено. При Ребенке — нельзя...

Ребенок рос. Удивительный Ребенок. Сплошная улыбка. Даже и для детских капризов не оставалось места. Столько улыбки!.. Если он

слышал детский плач, видел искаженное гримасой личико сверстника, то недоумение вдруг останавливало улыбку — такое полное, такое сильное, что плачущий как-то стихал и расправлял гримасу.

Однажды он вошел в дом, где тяжело ссорились взрослые. Ребенок ничуть не смутился и не испугался, а только вдруг стал серьезным и тихо обвел людей своими утренними глазами. Он ничего не сказал, как и Утро ничего не говорит. Но притупились у ссорящихся слова и глаза, завяла злоба, и они замолчали. А один из них вдруг улыбнулся и сказал:

— Благословенна ты, Мария, что имеешь такое дитя.

Однажды Ребенок заплакал; это было, когда Он увидел птенца, убитого кошкой. И горе Его было так сильно, что дети и взрослые не знали, как Его утешить. Один старший мальчик предложил: давай убьем кошку. Но Ребенок вздрогнул, вдруг отер слезы — и сказал: «Нет». Он долго грел в ладонях птенца, а после вырыл могилку и положил его туда. И с тех пор смех его стал тише, а улыбка ушла внутрь, вглубь. Она была все та же, но тише и глубже, как свет сквозь облако...

Ребенок становился Отроком... И... странное дело — часто, очень часто взрослые чувствовали себя отроками рядом с Ним. А между тем Он был почителен к старшим и скромнен. Но все, что делал Он, делалось так просто, как будто иначе и нельзя было. Сам собою, как лист падает с дерева, как свет входит в окошко или как птица взмахивает крыльями. Точно мудрость родилась вместе с ним, а Он и не замечал ее, как сердца своего.

«Благословенна ты, Мария, что имеешь такое Дитя!»

Он так добро смотрел на всех и так уверен был, что получит в ответ добрый взгляд, что злой часто должен был поперхнуться своей злобой и ответить Ему на добро добром. А Он и не знал, какую силу укрощает, и казалось Ему, что иначе и быть не может.

И многие верили, глядя на Него, что сами они добры и хороши. Были Его глаза чистейшим зеркалом, которое очищало тех, кто смотрелся в них.

Лишь однажды Он встретил человека, который не улыбнулся Ему в ответ.

Отрок Иисус с такой внимательной печалью посмотрел ему вслед, что у Матери Его сжалось сердце.

— Это злой человек, — сказала Она, а мальчик заплакал.

Каждый год родители Его ходили из Назарета в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Иисусу было около двенадцати лет, они взяли Его с собой. А когда возвращались, не заметили, что Отрока нет с ними.

Они подумали, что Он идет с другими детьми сзади, но потом оказалось, что Его там нет. Тогда в великой тревоге Иосиф с Марией вернулись в Иерусалим и стали искать сына.

Иисус сам не знал, как отстал от всех. Он не мог уйти из Храма. Когда Он вошел туда, то почувствовал вдруг такое волнение, что ноги сами как будто перестали держать Его, и Он встал на колени. Если бы Его спросили, что Он делал, Он, быть может, не знал бы, как ответить. Но Он молился. О, Он ни о чем не просил. Ему ничего не надо было. Просто губы шептали что-то от переизбытка сердца, и это «что-то» — были слова любви.

Так Он стоял на коленях неизвестно сколько, а когда поднялся, увидел, что родители ушли, а в Храме остались только сребробородые старцы, которые читали и толковали Писание. И Отрок подошел к ним и стал слушать. А когда они умолкли, спросил:

— Скажите мне, люди ведь рождаются добрыми, а не злыми?..

— Нет, Отрок, не только добрыми, но и злыми.

— Разве Бог не всех создал добрыми?

— Да, но силен Сатана. И люди рождаются часто злыми, за грехи отцов.

— Но ведь у Адама было два сына, — сказал Отрок. — Каин и Авель. Два сына одного отца. Один добрый, другой злой. Если бы все грехи отцов ложились на детей, то оба они были бы одинаковыми. Но не так это. Потому что не только земного отца имеем, но и небесного, который выше и прежде земного. Наш источник — свят. И мы сами вольны подражать либо греху, либо святости. В этом и есть добро, с которым мы рождаемся.

И молчали старцы, и дивились мудрости Отрока.

В это время Иосиф с Марией вошли в Храм и увидели сына. И Мария воскликнула:

— Что же ты делаешь с нами, чадо?! Мы с отцом твоим себя потеряли, ища тебя, а ты и не думаешь об этом?!

— Простите меня, — тихо сказал Иисус, — я не заметил, когда вы ушли. Но разве ты сама не догадалась, что только здесь надо искать меня? Где же мне быть еще, как не в доме Отца моего?

И промолчала Мать, и тихо спрятала слова эти в своем сердце.

Глава 4. Иоанн Креститель

В Иудее появился новый пророк. Иоанн Креститель звали его. Он жил в пустыне. Ходил в верблюжьей шкуре, босой и с большим посохом. Его длинные волосы развевал ветер. Слова его жгли, как огонь, и хлестали, как ветер: «Порождения ехиднины! — говорил он людям. — Кто внушил вам бежать от Божьего гнева?! Кто думает, что он избегнет ответа, ответит вдвое! Покайтесь!!»

— Что же нам делать? — спрашивали его люди.

– У кого две одежды, отдай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.

– Я глас вопиющего в пустыне, Я расчищаю путь Тому, Кто прежде меня и выше меня, – говорил Иоанн.

И люди дрожали, слыша голос его, как будто это был голос бури. Был голос этот чист, как небо, меток и внезапен, как молния, и неотвратим, как Божья гроза. И толпы людей, как деревья, колеблемые бурей, сгибались перед ним и шли к нему креститься. Он крестил их водою, и это был знак, что они омыты.

И люди шептались и спрашивали друг друга: не Христос ли он?

Но Иоанн отвечал:

– Нет. Я крещу вас только водою. Но идет за мною Тот, Кто прежде меня, и Он будет крестить вас Духом Святым, который веет, где хочет.

Я только готовлю путь Ему. И заставляю сердца ваши замолчать и прислушаться. Я гоню прочь суету и шум, в которых вы живете, чтобы настала в душах тишина и чтобы вы услышали Слово, когда оно прозвучит.

– Скоро прозвучит Слово! Смотрите, не пропустите Его. Идет за мною Тот, у Кого я недостоин развязать ремни на сандалиях.

Иисусу было в то время лет тридцать. И он пошел к Иоанну вместе с другими людьми принять от него крещение. И Иоанн крестил Его. И вдруг, взглянув в лицо Его, задрожал и опустил руки. И впервые суровое лицо пророка стало кротким, как у ребенка. И он спросил:

– Зачем Ты крестишься у меня? Как я могу омыть Тебя водою, когда Ты чище, чем вода? Разве можно омыть сияние и очистить святость?

Глава 5. Пустыня

Приняв крещение, Иисус удалился в пустыню и был там без воды и пищи сорок дней.

Пустыня. Никого. Ничего. Гребни холмов. Камни. Пески и небо. Небо надо всем. Небо, ничем не заслоненное. Небо в полный свой голос. И внимающая Ему Душа. Ничем не отвлеченная. Поединок Души и Неба.

Что говорит Небо Душе? – «Вот я. И я безмерно и совершенно». Чего ждет Оно от Души? Чтобы Душа ответила: «Вот Я. И Я вмещаю Тебя».

Блаженна Душа, которая так ответит. Тогда поединок превращается в любовное свидание, в рай. Горе Душе, если она не сможет так ответить! Тогда ее жизнь будет бегством от лица Неба...

Люди уходят в Пустыню на великий поединок. Выдержат ли они взгляд Неба?..

Для Иисуса Небо — это Дом. Более родной, чем дом детства. Дом Души, бывший прежде детства. Тот же Храм и более, чем рукотворный Храм. — Рай.

Сорок дней жил Он в Раю и не имел нужды в воде и пище.

А на сорок первый день почувствовал голод.

И вот из западного края неба, покрытого тонкими красно-золотыми облаками, явился Дух, весь в черно-золотом сиянии, печальный и прекрасный. Его черные крылья были опущены, как покорные руки, и с них точно лилось жидкое золото. Его черные глаза тоже были опущены и сияли мягким золотым блеском.

— Здравствуй, Новый Адам, — сказал он, — здравствуй, сын человеческого.

— Это ты? — тихо спросил Иисус. — Ты, искусительный дух? Ты, царь Тьмы... Но как ты смел явиться сюда? Здесь ведь нерукотворный Храм — Рай. Твое место — Ад.

— Ошибаешься, сын человеческий. Глупые говорят, что мое место в аду. Разве ты забыл, где я встретился с праотцем твоим Адамом? В Раю. Я житель Рая, и Бог, как видишь, не изгоняет меня отсюда. И я прихожу к тем, кто достоин Рая. Я являюсь им в Раю. Что за слава и польза мне приходиться к немощным душам, не способным достигнуть Рая? Для них существуют мелкие духи, не я. Но ты, Новый Адам, ты первый среди людей — ты сын Божий. И я пришел к тебе, склоненный и просящий.

— Чего ты хочешь?

— Прими мой дар. Я пришел подарить тебе мир. Ведь Бог давно уже отдал мир мне. Ты не можешь не знать этого, потому что сам видел, сколько в мире горя и зла. Если бы Бог управлял миром, разве Он мог бы терпеть столько горя и крови? Ответь, мог бы?

— Говори дальше.

— Бог отдал мир мне. За мою победу над Адамом. И я — князь мира сего. Но я устал. Я не хочу больше зла. Возьми мир из рук моих и твори добро. Я хочу, чтобы ты любил меня.

— Лукавый дух! Ты явился мне в Раю и говоришь, что здесь твое место... Ты можешь явиться, где хочешь, потому что у тебя нет места. Ты тот, кто захватывает место Божье.

— Я пришел к тебе с даром. Возьми мир из рук моих. Пусть он будет твоим.

— Мне не надо ничего моего. Все — Божье. И ты лжешь, что Бог отдал мир тебе. Мир отпал от Бога и отдался в руки твои сам. Я сделаю все, чтобы он вернулся к Богу. Не ко мне, а к Богу. Мне не надо ничего моего, отдельного от Бога.

— Ты отказался от власти над миром?! О, ты поистине Бог! Такого еще не рождала женщина. Нет для тебя ничего невозможного. Вели

же этому камню сделаться хлебом. Ведь ты взалкал. Ешь сам и накорми людей.

— Нет. Не единым хлебом жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я научу людей находить духовный хлеб, и тогда они уже никогда не поставят хлеб земной выше небесного. Хлебом кормят смертных, духом — бессмертных. Достигший бессмертия может есть и пить, сколько хочет, но смертный, насыщающийся только хлебом земным, никогда не достигнет бессмертия.

— О, величие твоему нет предела. Ты воистину бессмертен. Смотри!

И Иисус увидел себя на крыле Храма, а под Ним был мир, как муравейник.

— Расправь руки и лети! Испытай могущество свое! Если ты сын Божий, тебя подхватят сонмы ангелов и не дадут тебе упасть. И все увидят, кто ты! Дерзай!

— Нет... Мне нет нужды лететь сейчас. А испытывающий себя уже не сын Божий. Внутренний голос скажет мне, кто я. Мне нет нужды ни в чем внешнем. И сонмам ангелов я не поверю больше, чем тому, что звенит внутри души, в глубине глубин. Царствие Божие внутри нас.

И вот нет черно—золотистого духа. Снова только Небо и Душа. Нет Неба и Души. Только Небо. Только Душа. Нет ничего отдельного. Нет пространства и времени. Пространство и время суть расстояния между Душой и Богом. Нет расстояния.

— Я И ОТЕЦ — ОДНО.

Он почувствовал в Себе силу, способную сдвинуть гору.

О, как долго эти камни, этот мир держал в тисках Душу. Плоть окружила ее тюремной стеной. Но это тело, эти камни, эти пески и тучи — лишь слуги души, рабы ее, а не господа.

Душа просила у них счастья, жаждала и стонала. Но она не жаждет больше. Все, что ей нужно, есть в ней самой — внутри, а не снаружи. Ничто внешнее не прибавит ей ничего и ничего не отнимет.

Тот, кто утоляет жажду из внутреннего источника, знает, что источник этот неиссякаем. Внутри — Дух. И говорит Дух: «Да будет свет!», «Да будет твердь!». Не твердь Духу, а Дух тверди приказывает. И если Душа познала, что ей истинно нужно сдвинуть гору, она сдвинет ее!

И что в этом удивительного, маловеры? Как мало верите вы в силу, создавшую вас! Ей нет имени, но как бы ни назвать Ее, Она — Все. Вас не удивляет земля и звезды, солнце и душа? А если на ваших глазах гора сдвинется, вы удивитесь. Чудо, Чудо, — скажете вы. Но вся жизнь — чудо. Только вы забыли про это, не верите этому и потому не можете быть чудотворцами.

Только глаза ваши видят, а душа не видит, только уши ваши слышат, а душа не слышит.

Я – первый и последний, альфа и омега, тот, кто проник в тайну своего Зодчего и был с Ним в миг творения.

Я И ОТЕЦ – ОДНО.

Глава 6. Ученики

Тихо было на море Галилейском. Лежало оно перед глазами, ровное и серебряное. Небо было бледным от тонкой пелены облаков, так что свет не бил в глаза, а мягко ласкал душу и томил. И такое великое внимание было во всем, что сердце рыбака, сидевшего в лодке, вздрогнуло и заныло: кому это внимают бледное небо и серебряное море? Кому?

Рыбак бросил сеть и забыл про нее и сам стал прислушиваться к кому-то неведомому, но Сущему...

– Симон, а Симон!

Симон (это он рыбачил в лодке) обернулся на голос. На берегу стоял Человек и окликал его по имени.

– Откуда ты знаешь меня, господин?

– Много ли рыбы ты поймал?

– Нет, господин, но... Бог с ней, с рыбой...

– Вот и я так думаю. Ты больше дела своего, настолько же, насколько море больше лодки твоей. Закинь сеть.

Симон закинул, и сеть набрала столько рыбы, что чуть не порвалась.

– Гроби теперь к берегу, – сказал Человек. И Симон стал грести. И было в этом голосе то же, что в серебряной ровности моря. Ослушаться Его было нельзя.

– Не рыбу, а души людские должен ты вылавливать из пучины. Вот твое дело. Если веришь мне, бросай все и иди за мною.

Ни одной минуты не сомневался Симон и ответил: «Сейчас, Господи!»

* * * * *

В закатный час качалась на море Галилейском еще одна лодка. Был в ней рыбак с двумя сыновьями. Один сын сидел рядом с отцом и чинил сеть, другой стоял и глядел на закат, и был он тонким и будто прозрачным в закатном луче и, казалось, вот-вот загорится, протянется лучом и ускользнет в неведомое...

Отец глядел на него и боялся его окликать. Но вдруг голос с берега позвал:

– Иоанн, а Иоанн!

Иоанн (так звали стоявшего юношу) вздрогнул, точно задрожавший луч: — «Я, Господи!»

— Бросай все и иди за мной!

В мгновение ока очутился Иоанн на берегу, так что отцу показалось, что он по водам проскользнул, как луч.

— И ты, Иаков, иди ко мне, — позвал Иисус его брата. И Иаков пошел вслед за Иоанном, оставив отца своего. Это были сыновья Зеведеевы.

* * * * *

Человек покупал себе еду на базаре. Он купил хлеба и хотел купить фруктов. Но увидел, как торговка незаметно положила ему гнилое яблоко. «Зачем ты меня обманываешь», — хотел сказать он, но, взглянув на лицо женщины, увидел, какая она изможденная и больная, и, смутившись, точно он сам подложил ей гнилое яблоко, спросил:

— Сколько я должен тебе, мать?

— Один лепт, — сказала женщина. Он дал ей два и быстро отошел. Вдруг его окликнули по имени.

— Филипп, иди за мною.

— Кто ты, господин? — спросил Филипп.

— Ты еще не знаешь Меня, но я тебя знаю и говорю: иди за мной и узнаешь Меня.

— Верю голосу Твоему, — тихо сказал Филипп и пошел за Ним.

* * * * *

— Как вы думаете обо мне, кто я? — спросил Иисус своих учеников.

— Одни о тебе говорят, что ты Илия, другие считают, что ты Иоанн Креститель, воскресший из мертвых, — сказал Филипп.

— А как вы думаете? — Я знаю, что ты Христос, сын Божий, — сказал Симон.

— Кто тебе это сказал?

— Никто. Сердце мое сказало. А я никому не поверю так, как своему сердцу.

— Ты не Симон, а Петр (что значит камень). Ты камень веры.

— А ты, Фома, веришь ли тому, что сказал обо мне Петр? — обратился он к человеку, стоявшему рядом с ним.

— Не знаю, Учитель. То верю, а то и нет. Но я люблю Тебя, Учитель.

— Иди за мною, — тихо сказал Христос. — Пройдет время, и любовь твоя углубится до веры.

* * * * *

— А я верую, что Ты Мессия, потому что подобного Тебе еще не рождала земля. — Это сказал высокий человек с большим бледным лбом, с черными напряженными глазами. — Я видел Тебя и поверил в Тебя.

— Когда же ты видел Меня?

— Ты говорил народу притчу о талантах. И никто не понимал, и Ты должен был разъяснить каждое слово. И сказал: «Имеющий уши, чтоб слышать, да слышит!». Но я понял все еще до разъяснений Твоих, и сердце мое горело. Я хотел подойти к Тебе и сказать, что не зарюю своего таланта в землю, а приумножу то, что Ты дашь мне. Научи и меня всему, возьми меня с собой.

— Иди, Иуда Искариот.

Глава 7. Слепой

Слепой сидел под масличным деревом, прислонясь головой к стволу. Он был слеп от рождения и не знал, что такое свет. Он слышал голоса и запахи и знал предметы на ощупь. И еще знал он, что есть что-то Неведомое, что больше всего, что он знает, но что это такое, он не знал. Он знал, что он не такой, как другие люди. Что все они ловчее, и умелее, и быстрее его, и много раз он слышал от них, что они видят.

Он знал, что все видят, только он не видит. Он не знал, что значит видеть, но знал, что это и есть то, Неведомое. И когда он думал о Неведомом, ему хотелось уйти от всех сюда под масличное дерево, вдыхать его горьковатый запах, почувствовать, как листья шелестят над головой, прислоняться щекой к коре и угадывать... даль.

Одно только удивляло его: ведь то, Неведомое, — прекрасно. Он это знал. О, как ясно он это знал! То, Неведомое, — это все, чего не хватает душе его, по чему она так томится. И если бы оно было у него, то он знает, что радость его перелилась бы через край, так что сердце могло бы не выдержать. И он всем бы дал от переизбытка своего.

Почему же люди, имеющие это, так скупы душой? Почему они вовсе не прекрасны, как само ЭТО, почему сердца их вовсе не переполнены, и они так часто плачут и жалуется ему на жизнь, а если у них и бывает радость, то почти всегда она размером с кусок яблока.

Слепому же казалось, что их радость должна бы быть величиной с сады и поля. Чтобы ели все и не могли бы съесть, а все бы оставалось вечное изобилие...

Почему же это совсем не так? Почему они не уделят ему от света своего немного тепла? А ему среди них так холодно! Точно он лишний, и они все время боятся, что он что-то у них отнимет...

Вдруг он стал различать вдали шаги. И звук этих шагов странно волновал и успокаивал в одно и то же время. Он весь превратился в слух и ему только и хотелось вбирать в себя звук этих шагов, как мер-

ный шум моря. И... не надо, чтобы шаги приближались. Тогда эта странная истома рассеется, и... ничего опять не будет. Шаги приблизятся и пройдут мимо, как столько шагов на свете. Люди проходят мимо... и ничего не случается. Неведомое не становится ближе. Люди проходят мимо. Разве какой-нибудь любопытный остановится и начнет расспрашивать, но это... хуже всего. Пусть проходят мимо — люди всегда проходят мимо.

А шаги приближались, и истома росла. Росла до такой степени, что слепой хотел встать и уйти, боясь, что когда все-таки и этот опять пройдет мимо, сердце его не выдержит. Он хотел встать и не мог. А шаги между тем приблизились к маслине и... затихли. Шедший остановился.

— Ты слеп от рождения, — тихо не то спросил, не то сказал Он.

Любопытный?! Неужели и этот любопытный?! Нет, у любопытных не бывает такого голоса... Он хотел, чтобы еще раз раздался этот голос. Странно... Так странно, но вдруг он почувствовал всем своим существом, что недаром так волновался и ждал этих шагов. Что, может быть, никогда еще никому на свете не было столько дела до него, сколько этому незнакомому человеку. Что даже и родителям своим он меньше нужен, чем Ему.

— Ты слеп от рождения?

— Да, от рождения. А кто ты?

— Я — Свет.

Слепой молчал. Но вдруг как вину свою ощутил мысли о том, что шаги пройдут мимо, и о том, что это любопытный.

Человек сел рядом с ним и обнял ладонями его виски. Слепой заплакал.

Так вот оно — Неведомое... Вот то, чего так не хватало его душе, по чему она так томилась.

— Знаешь ли ты, что такое Свет? — спросил слепого Пришедший.

Слепой знал одно, что нужней этого голоса и этих рук ничего нет в жизни, и тихо ответил:

— Мне кажется, что знаю.

— Хорошо, что ты знаешь. Если бы ты не знал, что такое Свет, не мог бы увидеть. Да и что было бы тебе в том, что видишь? Сколько есть зрячих, не знающих, что такое Свет. Ты же узнал, будучи слепорожденным. Так пусть и глаза твои откроются.

И Он приложил пальцы к глазам слепого, и глаза открылись.

Глава 8. Мария и Марфа

Равви, вели моей сестре помочь мне, — обратилась Марфа к Иисусу. На этот раз Он был в доме Марии и сестры ее Марфы и брата их Лазаря. И вот Марфа хлопотала и старалась принять и угостить дорогих гостей, а Мария села у ног у ног Иисуса и слушала, что Он говорил.

— Равви, вели ей помочь мне, — повторила Марфа, — я с ног сбилась, а она сидит и ничего не делает. Справедливо ли это?

— Марфа, Марфа, — сказал Иисус, — ты хлопочешь о многом, а надо только одно — слушать Меня. Мария избрала лучшую долю, оставь ее.

— Но, Равви, ведь и я бы хотела, а надо другое.

— Если хочешь, садись и слушай. А если не хочешь так, чтобы все бросить, делай дело свое, но оставь Марию и не думай, что делаешь большее. Плод того, что она услышит, созреет не сейчас, но накормит многих. Ты хочешь накормить нас сейчас. Делай это, но с кротостью в душе. А справедливость... И Каин хотел справедливости.

— Кому ты уподобил меня, Господи?

— Я не уподобил, сама себя не уподобляй.

Глава 9. Лазарь

Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой, — сказала Марфа.

— Где вы положили его? — спросил Иисус и прослезился. «Смотри, как Он любил его, — говорили иудеи. — Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать так, чтобы и этот не умер?»

— Воскреснет брат твой, — сказал Иисус.

— Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день.

— Ты так говоришь, будто воскресение — не твое дело и не тебя касается. Кто-то сделает, а тебе трудиться не надо.

— Но, Господи, как же трудиться? Я могу только веровать.

— Вера и есть труд души. Верешь ли, что давший Хлеб жизни больше самого хлеба? Больше жизни и смерти?

— Я верую в Отца Небесного, всемогущего и всеблагого.

— Но Отец не только «там», Он и «здесь». Я и Отец одно.

И тут подняла голову Мария, которая пала перед тем к ногам Его и молча плакала.

– Ты – больше жизни и смерти, – сказала она, и в глазах ее зажегся свет, который был больше самой большой скорби и глубже радости.

– Воскреснет брат твой, – сказал Иисус и подошел к гробу.

То была пещера, и камень лежал на ней.

– Отнимите камень, – сказал Он.

– Но ведь уже смердит, – возразила Марфа.

– Отнимите камень.

– Но ведь четыре дня, как во гробе.

– Марфа, Марфа, не говорил ли я тебе, что нужно только собрать Дух свой! Я есмь воскресение и жизнь вечная. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, а живущий и верующий в Меня не умрет вовек.

И возвел Иисус очи к небу и сказал:

– Лазарь, иди вон!

И вышел Лазарь, обвитый пеленами...

Глава 10. У фарисея

Как ты думаешь, Равви, кто был Иоанн Креститель? – спросил Иисуса ученый фарисей, пригласивший его в свой дом. Он возлежал с Иисусом, угощал Его и задавал Ему вопросы.

– Думаю, что это был великий Пророк, наибольший из людей, – ответил Иисус.

– Равви, вот мы оба с тобой люди ученые, сведущие в Писании. Сейчас так много говорят о Мессии. Многие говорили, что Иоанн – Мессия; но ты ведь этого не думаешь?

– Нет, не думаю. И сам Иоанн не думал этого о себе.

– А что ты думаешь о Мессии? Откуда он должен прийти? Когда появится? Какое знамение будет явлено? И как нам точно узнать, что это он?

Иисус молчал, подперев рукой голову.

– Почему ты не отвечаешь, господин?

– Я думаю, что имеющие глаза видят, а имеющие уши слышат.

– Но все мы не глухие и не слепые, не понимаю, о чем ты говоришь.

Иисус опять замолчал, а потом спросил:

– Скажи мне, как ты молишься? Много ли слов говоришь и какие?

Фарисей ответил, перечислил свои молитвы. Он благодарил Бога за то, что не создан женщиной и не создан грешным. И за то, что ему дано было постичь закон и пророков. И за многое другое.

— А не видел ли ты, как стоит в синагоге грешник и даже не смеет молиться рядом с тобой, и только плачет и говорит: «Прости мне, Господи, мерзость мою»? Так вот, молитва этого грешника дойдет до Бога скорее твоей.

Фарисей молчал. Налил еще вина в оба бокала, а потом улыбнулся и сказал:

— Мы оба с тобой богатые, а не нищие духом, как тот, которому ты велишь подражать. И за это богатство наше духовное, я думаю, мы оба благодарны Богу.

— Блаженны нищие духом, — сказал Иисус. — Почему ты приравнял меня к богатым? Птица небесная имеет гнездо и зверь логово, а я не имею, где преклонить голову. А мое духовное богатство? Где оно? И его нет у меня, ибо оно не мое. Оно Божье. Я ничего не копил и не собирал, ни в амбарах, ни в книгах, а бросил все и остался наедине с Духом живым. Так что ничто не мешало мне видеть и слышать. Я ничего не имею. Я только вижу и слышу то, что имеет Отец мой.

Фарисей сморщил лоб. В глазах его было недоумение. Что говорит этот человек? До сих пор не было ничего ни в книгах, ни в словах других людей, чего бы он не мог понять. А этот все время говорит вещи, которые невозможно понять. Или он не умеет говорить ясно? Почему с ним чувствуешь себя так неловко? Кто ему дал власть учить?

— А как ты сам молишься, чего ты просишь у Бога? — спросил фарисей Иисуса.

— Чаще всего я молюсь совсем без слов, — отвечал Иисус.

— А чего ты просишь у Бога?

— Ничего. Для себя мне ничего не надо. Потому что душа моя все получила и не алчет больше.

— Как?.. Совсем ничего не надо? Разве не бывает у тебя нужд, как у всех людей? Разве не испытываешь ты иногда тоску и желания?

— Все, что я могу пожелать, Отец мой знает прежде меня и утоляет желание. Внутри меня — все, чего я могу пожелать. И душа моя не рвется наружу из себя самой. Внутри меня — все небо и все звезды. И тоски я не знаю.

Фарисей пожал плечами. И подлил еще вина. И сказал:

— Я уважаю тебя, и говорил тебе уже, что почитаю тебя за равного по знанию. И я часто защищаю тебя перед моими друзьями, которые почитают тебя человеком невежественным и нарушающим Закон. Но вот объясни мне сам, почему ты так уверен в себе? Ведь ты же только человек, такой же, как мы все, и сам еще учишь других смирению. Почему бы тебе не посоветоваться с другими и не прислушаться к тому, что они говорят?

Иисус ответил ему:

— Ты слышал ли когда-нибудь, как поет соловей? Спроси у него, откуда он знает свою песню и почему так уверенно поет? Или бы ты

хотел, чтобы он через каждое колено останавливался и советовался с другими, верно ли берет?

Глава 11. «Царствие Божие не там и не тут»

Равви, когда придет Царствие Божие? — спросил Иисуса один из его учеников.

— Не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут: «вот оно здесь». Или: «вот оно, там». Ибо Царствие Божие внутри вас.

Наступят дни, когда я уже не буду с вами и многие будут говорить вам: вот там сын Божий, или: вон он здесь. Не гоняйтесь, не верьте. Это все внешнее. То, что можно увидеть внешними глазами, — не Бог и не Царствие Божие.

Царствие Божие всегда и всюду есть. Никогда не появлялось, никуда не уйдет. Только вы отдаляетесь от него и приближаетесь к нему. Оно же неизменно. Все уже явлено и ничего нет тайного. Надо только уметь видеть и слышать то, что есть. Я не даю вам ничего нового. Я только учу вас видеть и слышать сущее от века. — И обратившись к ученикам своим, сказал:

— Я избрал вас двенадцать, потому что вы можете видеть и слышать больше, чем все другие люди, но и вам еще многому надо учиться, а потом учить других.

Когда-то, когда Адам еще не удалялся от Бога, он видел и слышал Его так же, как младенец мать. И как младенец улыбается матери, так улыбался он Богу. Он был духовный младенец. Он должен был расти до того, чтобы совсем соединиться с Богом в одно. Но он соблазнился иметь нечто свое, отдельное от Бога, и удалился от Него. Не вырос младенец, а еще умалился. Не обрел, а потерял. Люди потеряли то, что имели в младенчестве, в Адаме, и молят Бога и плачут. Я пришел, чтобы утереть их слезы и указать путь. Научить их видеть и слышать.

— Равви, но как ты научишь людей видеть и слышать?

— Я сам научился от Отца моего. И не имел другого учителя, кроме Невидимого. Не имел земного, а только небесного. Я так любил Его, что стал с Ним одно. Его нельзя видеть и слышать ушами, и осязать руками, но я увидел и услышал, и осязал Его духом моим. И больше нет меня, а есть Он во мне. И вы можете видеть, слышать и осязать Его через меня. Любящий меня научится видеть и слышать Отца моего — источник и смысл жизни. Потерявшие способность видеть, слышать и понимать еще не потеряли способность любить. А совершенная любовь все может. Вы можете, любя меня, стать со мной едины. Как я, любя Отца, стал с Ним одно. Нет большего же-

лания у Отца, как то, чтобы Сын стал с Ним одно. Нет большего желания у меня, как все отдать вам и вместиться в вас, и стать с вами единым.

И это вам открыто. Вы — можете.

Я всему могу научить вас; все, что имею, могу передать вам. Лишь одного я не могу — заставить вас любить меня. Это уже от вас самих.

— Равви, почему Ты поник? Почему стал таким печальным? Разве мы не любим тебя больше жизни?! — воскликнул Петр.

Иисус посмотрел на него и сказал:

— Знаю, что любишь меня больше жизни. Но пока еще и ни ты, и никто из двенадцати не едины со мной. Никто не может пить чашу мою, никто не разделит души моей.

Иисус замолчал и молча повел их на гору.

Глава 12. Нагорная проповедь

И заговорил только на горе:

— Блаженны вы, поднявшиеся на гору. Высота — блаженство ваше. Но смотрите не оступитесь — страшно упасть с высокой горы.

Ваша гора — пустыня небесная. Вы взошли туда, где ничего нет. — Ни богатства, ни накопленных знаний, ни заветов отцов. Здесь дух нищ, как странник на дороге. И ничем не отягощенный и ничем не связанный, все творит заново.

Блаженны нищие духом, не имеющие ничего своего, все отдающие Богу.

Не имеющий ничего — Бога имеет.

Вы взошли туда, где ничего нет, кроме духа жизни, нищего и обнаженного, не одетого ни в какие мертвые вещи.

Будьте достойны своей Пустыни. Стойте в пустоте, как звезда стоит ни на чем. Будьте звездами самосветящимися.

Не имеющий ничего — Бога имеет. А с имеющего Бога много спросится.

Закон Моисеев мал для вас.

С вас спросится больше. Высота ваша спросит, Пустыня Неба спросит. И вы ответите.

Сказано в законе: не убий! Но разве вам это сказано? Для вас не только убить, но и разгневаться грех, ибо гневающийся на брата своего сейчас же упадет с горы и лишится всей блаженной высоты своей.

Сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю: если ударят тебя в правую щеку, подставь и левую — ибо неужели ты, имеющий Бога живо-

го, будешь тягаться с теми, у кого есть только мертвые вещи? Что он может отнять у тебя? Если возьмет верхнюю одежду, отдай ему и рубашку.

И врагов вам должно не ненавидеть, а любить. Ненавидьте зло, а не злых, болезнь, а не больных.

Есть слова, которые вы не можете вместить, потому что еще не едины со всем, что есть. Тот, кто един со всем, что есть, никого не может ненавидеть. Ведь кого бы он ни ненавидел, он будет ненавидеть Бога. Впустивший внутрь ненависть — впустил дьявола. И пусть не говорит он «Господи, я ненавижу врагов Твоих», — он ненавидит самого Господа...

Сказано: не прелюбодействуй. Но для вас, живущих в чистой высоте, все совершается в помыслах. Один нечистый помысел свергнет вас с горы вашей. Соединенный с Богом остается на горе, соединенный с суетой — с горы падает.

Сказано в законе: можете давать жене развод, а я говорю вам: то, что Бог соединил, человек не должен разъединять. Я зову вас быть верными не мертвым обетам, но живой любви. Страшно разъединение любящих, страшно забвение любви истинной. Тот, кто забыл любовь, забыл Бога. Тот, кто забыл любовь истинную, подобен тому, кто бросил ребенка на дороге и пошел пить вино.

Несчастливы души, не пронзенные Богом, не отягощенные Любовью... Сколько их кружится около! Сегодня они восхваляют меня и умиляются вместе со всеми, и славят чудеса, которые я творю, а завтра будут с распинающими меня, будут плевать в лицо Мне и бросать в Меня камни!

Глава 13. «Израиль! Израиль!»

И вот пришел Иисус на свою родину, в Назарет, и учил людей. Но никаких чудес не мог сотворить.

Люди говорили: «Это же Иисус, сын плотника. Мы знаем отца его Иосифа и мать его Марию, и братьев и сестер его».

«Он такой же, как мы», — говорили люди. Да, по видимости. И видимость заслонила Невидимое.

— Равви, — спросили его ученики, — Ты ведь мог остановить волны и приказать ветру утихнуть, и когда была буря на море, спокойно спал и нас упрекал, звал маловерами, потому что мы боялись. Почему же Ты с этими людьми не можешь ничего сделать?

— Несть пророка в своем отечестве, — ответил Иисус. — Легче сдвинуть гору, чем исцелить неверующего человека. И гора, и ветер, и волны, и тучи, и дерево не имеют своей воли. Они подчиняются либо

сатане, либо Богу. Но они только подчиняются и не мешают своему господину творить Его волю. Человек же создан по образу и подобию Творца. У него есть воля. Он должен не только не мешать — он должен помогать, творить вместе с Творцом, — но горе ему, если он мешает. Тогда он становится поперек дороги Творца своего, и его не сдвинешь, пока он не погибнет. Есть лжечудотворцы: те, что усыпляют душу человеческую, лишают ее воли и подчиняют своей. И тогда человек становится рабом, как камень или ветер, и идет за ним. Так делает Сатана.

Я же пришел не усыпить, а разбудить души. И рабов мне не надо. Я прихожу не извне, а изнутри. Кто не соединится со мной внутри, к тому не придут извне.

И что пользы во внешних чудесах, которые не затрагивают и не преобразуют Душу?

Израиль! Израиль! Я пришел к тебе, но примешь ли ты меня?!

— Господи! Пойдем тогда к язычникам, — сказал Филипп.

Иисус покачал головой.

— Я пришел к заблудшим овцам Израилевым.

Народ мой! Прошедший через Пустыню, позванный Богом и боровшийся с Ним! Устоишь ли, узнаешь ли Меня?!

Помните ли из Писания, что значит Израиль? Эзра Эль, боровшийся с Богом, затронутый Богом.

Праотец наш Иаков встретился с ангелом Божьим и целую ночь был в Пустыне, лицом к лицу с небом. И коснулся его Бог. И нарек его Эзра Элем.

Званный Богом народ, народ избранный! Сколько раз ты бежал потом от лица Бога своего и становился рабом мертвых богов и становился ничтожен и мерзок, но являлись пророки и обличали тебя и снова звали тебя в Пустыню на встречу с Богом, и ты вновь и вновь встречался с Ним и вновь и вновь отпадал.

Я пришел к тебе, ибо не чужд тебе. Я живу в крови твоей. Мой голос звучал внутри тебя. Я — твой, и ты должен узнать Меня. Ибо если не узнаешь ты, то как же узнают меня чуждые, никогда не слышавшие голоса моего, привыкшие поклоняться лишь внешним мертвым богам?

Они попросят от меня чудес и внешних знамений, но если и горы сдвину перед ними, поколеблю ли души их?!

Глава 14.
Магдалина

— Учитель! Что нам делать с этой женщиной? Мы застали ее в прелюбодеянии. Моисей велел побивать таковых камнями. А ты что скажешь?

Женщина, схваченная в прелюбодеянии, подняла голову и вдруг, презрев свое отчаянное положение, дерзко посмотрела на Иисуса. В привычной уверенности, что сейчас обожжет своей красотой. В уверенности, что и этот не выдержит и будет злиться, что не ему она досталась... И притворяться справедливым судьей.

Взгляды встретились — и не она Его, а Он обжег ее.

Какое у Него лицо! В первый раз человек смотрел на нее и как будто не видел ее, нет, видел, как никогда и никто. Под Его взглядом вдруг она сама увидела себя иной. Вся ее поражающая красота мгновенно отлетела, как засохшая корка, как шелуха. Ничто, прах... В первый раз все внешнее не действовало, было ничем... Женщина почувствовала себя малым ребенком. И то, что она привыкла считать собой, оказалось покрывалом, платьем-тряпицей. Оно точно лежало рядом, содранное и ненужное. А она была голым ребенком на ветру. Ей захотелось спрятаться, но только на минуту. Взгляд Его тянул ее к себе. Впервые кому-то было дело до ее души, кто-то видел сквозь покров ее душу... И ничего Ему не было от нее нужно.

Все это длилось, может быть, минуту. Минуту молчания, пока Он не сказал:

— Кто сам без греха, первым брось в нее камень. — Сказал и стал чертить что-то пальцем на песке.

И вот все словно растаяли. Рассыпались. Ушли. Были ли они вообще? Есть только Он и она.

Вот она стоит перед Ним, не в силах оторвать от Него взгляда. А Он сидит и чертит что-то на песке, не поднимая Лица.

Потом Он поднял голову, посмотрел на нее и спросил:

— Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?

— Никто, господин.

— И я не осуждаю тебя. Иди и не грехи больше.

Он сказал «иди». Что же она стоит как вкопанная и не может отойти от Него?

Разве ей не говорили сто раз «не грехи», и разве сама себе не говорила она этого? Говорила иногда. Но слова не имели силы. А сейчас?..

Она стоит перед Ним, и некуда ей идти от Него. «Где Ты, там и я».

«Не грехи больше»... Кто до сей минуты имел такую любовь, чтобы спалить, сжечь грехи ее? Где они, грехи? Есть только Он и она. И есть вся душа.

Все, что было, — было в иной жизни. Вся ее жизнь до этой минуты была иной. А теперь вся жизнь ее — любовь, и кроме любви нет места ни для чего. В мгновение ока, как пораженная молнией, умерла прежняя душа, и вот — все новое.

На месте гордой повелительницы — смиренная ученица. И как все забывший ребенок, зачарованный музыкой, идет за волшебной флейтой, так идет грешница за Тем, кто вытеснил ее саму из себя и вошел в нее и занял в ее сердце каждую щелочку.

Люблю Тебя! Люблю Тебя! Люблю Тебя, Господи!

* * * * *

— Если бы он был воистину всеведущ, то знал бы, что за женщина сидит у ног его, — сказал один фарисей другому.

— Да, — ответил первому хозяин дома. — Вот я пригласил его к себе, но эта блудница не отходит от него. И вот вошла в мой дом, и я не мог прогнать ее. А Он и не знает, кто она.

Иисус был на другом конце стола и не мог слышать, что они говорили. Мария Магдалина сидела на полу возле Его ног и, никого не стыдясь, обливала Его ноги слезами и отирала своими волосами, пугающими своей красотой. Золотые волосы закрыли ковром Его ноги.

Иисус поднял глаза к шептавшимся и сказал:

— Вы думаете, что я не знаю, кто эта женщина? Знаю ее много больше, чем вы ее знаете: она здесь наибольшая из всех. Никто из вас не имеет и крупицы той любви, которую она имеет.

— Ты, — обратился Он к хозяину, — не дал мне и воды омыть пыльные ноги, а она омыла их слезами и отерла волосами. И я отплачу ей тем же. Я омыл ее душу слезами Моими...

Глава 15. Чудо Иоанна

Иисус стоял на берегу Генисаретского озера один. Вода в озере тяжелая, и казалось на рассвете, что оно покрыто густым слоем серебряной краски. Белое небо и черная ветка, легшая на серебряную поверхность. Все застыло. И Иисус застыл. Он иногда уходил сюда один и был так неподвижен, что ученики боялись тревожить Его.

Петр как-то остановился в ста шагах от Иисуса и застыл тоже, слезы вдруг подошли к его глазам и какое-то необъяснимое предчувствие сжало горло. И он ушел, так и не подойдя к Христу.

Иоанн тоже увидел Его однажды застывшим на берегу. Перед этим он долго искал Его. Ему нужна была помощь Учителя, чтобы спасти умирающую женщину.

Иисус научил учеников своих творить чудеса и исцелять. Но не все еще могли они. Вот и эту женщину Иоанн не мог спасти сам и искал Учителя. Но когда увидел Его застывшим на берегу Генисаретского озера, то застыл вместе с Ним и простоял, не помня себя, неизвестно сколько времени. А очнувшись, не стал тревожить Учителя и вернулся к женщине сам.

И удивительно: не было у него тревоги и не винил он себя за потерянное время. Наоборот, необыкновенное спокойствие вошло в его душу. Такого полного покоя, может быть, никогда еще не знал он. И сам удивлялся — откуда это ему. Когда же подошел он к женщине, она испускала дыхание. Но и это не тревожило Иоанна. Он знал, что спасет женщину, так твердо, как никогда еще ничего не знал в жизни. И подойдя, обвел взглядом столпившихся людей и сказал:

— Помогите ей подняться. Она здорова, только слаба еще.

И женщина поднялась.

Иоанн никому не рассказал о своем чуде, только сердце его было перенасыщено радостью, как небо на заре светом. Когда Христос увидел его, Он улыбнулся ему так глубоко и тайно, как еще никому не улыбался. И привлек голову Иоанна к себе на грудь...

Глава 16. Иуда

Равви, посмотри, я исцелил этого человека, — сказал Иуда. Он сиял. Радость его была чиста. — Посмотри на него, Равви, он имел сухую руку.

Иисус посмотрел на благодарного человека и на сияющего Иуду и положил руку ему на плечо.

— Это большая радость, Иуда.

Исцеленный двигал обеими руками, но не одинаково. Больная рука была короче, суше и слабее. Иисус притронулся к ней, и она стала неотличима от другой.

— Ну вот, я чуть-чуть доделал то, что не успел ты, — сказал он Иуде. Но Иуда стал как-то беспомощно мяться на месте. Глаза его потухли. Радость ушла.

— Ты... ты так просто, одним пальцем дотронулся до него и все. А я... я... мне казалось, что я умру от напряжения, когда я совершал это чудо. Почему Тебе дается это так легко, а мне так трудно, Равви?

— Иуда, тебя это печалит? Разве не все равно, ты или я это сделаю? Разве моим чудесам ты радуешься меньше, чем своим?

— Но, Равви, Ты ведь и сам был рад, что я научился творить чудеса. Ты ведь учил меня для чего-то. Но наверное Тебе дано больше, чем

мне. Все мы ничто в сравнении с Тобой и никогда не сможем сравняться. Так на роду написано.

Глаза Иисуса вдруг сузились и стали как два колодца, уводящие в бесконечность.

— Что с Тобою, Равви?

— Иуда, на роду ничего не написано, кроме одного: совершенная любовь все может.

— Но... тогда бы все люди были одинаковые, а все разные. Как Ты говоришь, что на роду ничего не написано?

— Совершенная любовь стирает то, что написано на роду.

Написано на поверхности, на плоти. Но в глубине — Дух: Он все стирает и творит все новое! Каждый волен войти в глубину и творить все новое.

Иуда, Иуда, ты так внимательно смотрел, когда я творил чудеса, ты так внимательно слушал меня, ты так много понимал, Иуда... Иногда я передвигал тучи и останавливал ветер для тебя, Иуда, чтобы увидеть твое потрясенное лицо...

— Так, Равви... — раздумчиво сказал Иуда. — Прости, что я опечалил Тебя. Но я так устал, творя это чудо.

*** * ***

Иуда стал самым деятельным из учеников. Он находил больных и нищих и старался помочь им. Он заботился и о пище для Учителя и Двенадцати. Он носил ящик с деньгами и покупал все, стараясь истратить как можно меньше, чтобы остальное отдать нищим. Дошло до того, что он почти всегда был в отлучке, не имел ни минуты покоя, вечно делал что-то, помогал кому-то.

Однажды Матфей сказал ему:

— Пойдем вечером на Генисаретское озеро. Учитель хочет там говорить с нами.

— Я не могу, — сказал Иуда. — Вечером я обещал одному больному прийти к нему.

— Но... ты не будешь слушать Учителя?

— Разве я не слушаю Его, делая то, что я делаю? И потом неизвестно еще, будет ли Он говорить. Может опять, как в прошлый раз, соберет нас всех, а сам застынет перед озером и простоит так несколько часов, ничего не говоря. Он так часто теперь ничего не делает и не говорит даже. И я не знаю, хорошо ли это.

— Иуда! Ты думаешь, что Учитель может делать что-то нехорошо?

— Я знаю только, что я устал, сбился с ног, помогая людям. А Учитель может стоять и смотреть на озеро.

— Иуда, по-твоему, Учитель может делать что-то нехорошо?

— Что ты заладил одно и то же! У нас есть свой ум. Мы можем сомневаться. Сами можем думать, что хорошо, что плохо, а не толь-

ко повторять за Учителем. Учитель сам не хочет, чтобы мы были рабами.

— О чем вы спорите, друзья? — спросил подошедший Иисус.

Матфей молчал. Лицо его было красно. Он тяжело дышал.

— Матфей недоволен мной, — Он говорит, что я слишком много забочусь о нищих и больных. Он недоволен тем, что я забочусь о них больше всех...

— Друг, как ты думаешь, что нужнее всего нищим и больным?

— Забота... Пища...

— И ничего нет нужнее этого?

Иуда молчал.

— Не нужен ли им прежде всего Свет? — продолжал Иисус. — Между тем свет ничего не делает. Он только есть: сам собой, без напряжения приходит Свет. Не так ли? Не старайся и не заботься сверх меры, а только будь светом, Иуда.

— Так ты думаешь, что во мне нет света, Равви?

— Я не сказал этого. Но я спрашиваю тебя, как ты думаешь сам о себе, стал ли ты светом?

— Я не знаю, — прошептал Иуда еле слышно. И вдруг схватил Иисуса за руку в странном беспокойстве:

— Равви, ответь мне! Скажи мне Ты: Свет ли я или нет?

Иисус тихо высвободил свою руку и положил ее Иуде на плечо.

— Никто не ответит тебе на этот вопрос, кроме тебя самого. Затихни и прислушайся.

Целую минуту стояли они так друг против друга в полном молчании. Потом Иуда отвернулся и пошел прочь.

«Свет ли я? Свет ли я?» — вот вопрос, который теперь мучил Иуду неотступно. С ним он просыпался, с ним засыпал. И страшные сны снились ему. К нему приходили люди. Люди тянули, звали его в разные стороны. Он почему-то жаловался им всем, говорил, что устал. А потом спохватывался и просил не говорить об этом Учителю. Тысячи рук тянулись к нему, и он говорил: «Сейчас, сейчас, я немного отдохну и всех сосчитаю, и всем все дам». Вдруг он чувствовал в себе сверхъестественную силу, чувствовал, что он может сдвинуть гору. И в ушах у него звенело: «Ты — Свет — Сын Божий». Но вслед за этим кто-то вздыхал рядом и этим одним вздохом разрушал всю радость. Иуда видел свои напряженные руки и вспоминал, что напрягаться почему-то нельзя. И какой-то тусклый усталый голос говорил: «Ты — не Свет. Ты никогда не будешь равным Ему. Никогда...». Кто-то начинал хохотать, кто-то — плакать. Наступала невообразимая путаница.

Иуда просыпался среди ночи и, садясь на постель, глядел во тьму. Как ему разобраться во всех этих голосах? Какой из них его внутренний голос? Где он?

Однажды к нему подошел человек в богатой одежде и сказал, что первосвященник Каиаффа зовет его к себе. Иуда удивился:

— Почему меня?

— Он хочет поговорить с кем-нибудь из учеников Иисуса Назорея, и ему кажется, что ты самый достойный, — ответил тот.

Иуда пошел.

И вот они сидели вдвоем. В большой высокой комнате с узкими окнами при двух длинных свечах. Пунцовый бархат стола. Густой полумрак, длинные черные тени, золотой отблеск одежд первосвященника и свечей.

Где-то в углах поблескивали сундуки резного узорного золота.

И первосвященник, среброволосый, с вековыми глазами, прямой и высокий, глядел строго и достойно, как сам древний Закон, освященный праотцами.

— В Иерусалиме много говорят о вашем Учителе, — сказал Каиаффа. — Я сам присматривался к нему и к вам всем. Много мне непонятно. И вот я послал человека расспросить людей о вас, и все говорили о том, как ты заботаешься о бедных, сколько даешь нищим.

— Обо мне говорили больше, чем о других? — переспросил Иуда, слегка волнуясь.

— Да, больше. И вот я подумал, что такой добрый человек должен быть и правдивым и сведущим, и решил поговорить с тобой. Только я прошу тебя, держи этот разговор до времени в тайне.

— Хорошо. Раз ты просишь...

— Послушай, Иуда, ты видишь это писание? — (Каиаффа указал на толстый свиток.) — Сколько перстов дрожало, прежде чем притронуться к нему? Знаешь ли?

— Знаю.

— Моисей вывел народ наш из пустыни и дал нам Закон. Пророки и судьи израильские писали и толковали его. Царь Давид написал свои псалмы, и царь Соломон всю свою мудрость. Не столпы ли это, которые держат народ?

— Да, так.

— И вот приходит человек, который все это отмечает, как ненужную ветошь, и учит всех по-своему, а самих хранителей Закона называет лицемерами и ставит грешников, недостойных ступить в Храм, выше этих хранителей. Конечно, все грешны. И среди хранителей Закона есть грешные люди. Но можно ли всех называть такими? И отметать Закон?

— Но Учитель наш не отмечает Закон. Он говорит, что пришел не нарушить Закон Моисеев, а исполнить.

— Так он говорит. Но неужели ты, Иуда, не понимаешь, что это только слова? Разве он склоняется перед Законом и служителями его? Он считает себя выше Закона.

– Но... – попробовал возразить Иуда и вдруг замолчал. – Но, – начал он опять, – Он власть имеет. Разве ты не видел чудеса, которые Он творит?

– Иуда, Иуда, сегодня он творит чудеса, удивляет всех, а завтра умрет. И с чем оставит народ наш? Разброд и смятение оставит он. Где твердые основания? Где Закон? Он все отменил. Он сказал: «Не человек для субботы, а суббота для человека». Наши запреты для него недействительны. Он сказал: «Будете поклоняться Богу не здесь и не там. Не на горе и не в Храме, а в духе и в истине». Значит, не нужен Храм, значит, не нужен Закон. Не нужны столпы народу? О, я понимаю, это звучит высоко и заманчиво: в духе и в истине. Но что есть истина, Иуда?

Иуда тяжело дышал.

– Я знаю все его слова, – продолжал Каиаффа. – Внутренний голос – вот что он ставит выше всего. Внутренний голос должен возвестить Истину.

Но что такое внутренний голос, Иуда? Как распознать его, как отличить истинный от ложного? Не заколдованный ли это круг? Как оставить людей на этом зыбком основании?

Иуда молчал, дрожа всем телом.

Вдруг Каиаффа устало опустил голову на руки. Его серебряные волосы рассыпались по столу. А когда поднял глаза, они были пронзительно печальны.

– Сын мой, ты должен помочь мне, – сказал он Иуде.

– В чем я могу помочь тебе? – вздрогнул Иуда.

– Ты должен убедить вашего Учителя перестать учить народ и не идти против нас.

– Убедить Его? Что ты! Его никогда и никто не убедит. Он все знает.

– Он так уверен в себе, сын мой! Так значит, и это правда?

– Что?

Мне сказали, что он считает себя Мессией, Сыном Божьим. Это правда?

Иуда молчал.

– А почему бы Ему и не быть Мессией? – прошептал он через некоторое время.

– Сын мой, сын мой, и ты веришь в это? Или ты не знаешь Писания? И не знаешь, какие знамения должны быть при появлении Мессии, и не знаешь, в какой славе он придет?

Он спустится с неба, как гром небесный, явный и ведомый всем сразу, так что не будет сомневающихся.

Разве это будет простой человек? Твой Учитель богохульствует, называя себя сыном Божьим.

Он явился без всяких знамений. И сами знамения отвергает. Он хочет, чтобы его узнали. Но кто же возвестит нам о Нем? Опять внут-

ренный голос? Но ведь сколько людей, столько этих внутренних голосов. Он несет не единение, а разброд. Если люди признали бы его Мессией, если бы он победил, то вся земля раскололась бы, — брат пошел бы на брата и сын на отца. Неужели ты не понимаешь, что надо спасти людей от него?!

Каиаффа поднял голос, но вот опять воцарилось молчание. И опять лицо его стало пронзительно печальным.

— Иди, сын мой. Держи разговор этот в тайне и запомни, что я не хочу гибели твоей.

* * * * *

Иуда возвратился перед рассветом в дом, в котором расположился Иисус с Двенадцатью. Все спали, и только Иисус сидел на своей постели, прислонившись головой к стене.

— Ты пришел, Иуда, — тихо сказал Он. — Я рад, что ты пришел наконец. Я беспокоился о тебе.

— Обо мне, Равви? Что ж со мной могло случиться?

В голосе Иисуса была такая печальная ласка, что Иуда почувствовал на мгновение, как острая тоска схватила его когтями.

— Ты был у больного? — спросил Иисус.

— Да.

— И ты помог ему?

— Н-нет.

— Что же, ты не сумел?

— Н... не смог, — прошептал Иуда.

И вдруг тоска доросла до невыносимости, до злобы.

— Равви, почему ты не спишь? — резко спросил он Иисуса.

— Мне вспомнилось мое детство, — отвечал Иисус все с той же печальной лаской. — Мне было лет двенадцать. И я шел куда-то с матерью моей. — Он на минуту замолчал, а потом продолжал: — Тогда мне все еще улыбались. Всегда улыбались. Я даже не представлял, что можно взглянуть на человека, а он не ответит тебе улыбкой.

А вот тут вдруг один человек не ответил. И я помню, как у меня сжалось сердце. Мать заплакала за меня, а я... я тоже заплакал, но за него. Мне стало так страшно за этого человека...

— Спи, Равви, ведь скоро рассвет.

— Да, и ты, Иуда, спи.

* * * * *

Иуда забылся сном. И опять было во сне много людей. И одни плакали, а другие хохотали. Но вдруг один зарыдал так сильно, что сердце Иуды перевернулось от этого. Кажется, оно разорвалось бы, если бы не раздался спокойный веский голос, такой спокойный и достой-

ный, что Иуде стало даже неловко за свою тоску и смятение, и он сказал почему-то: «Да, да, сейчас». А среброволосый первосвященник (ибо это был его голос) говорил: «Успокойся. Тебе надо отдохнуть. Ты самый добрый. Самый мудрый. Ты — Свет».

И Иуда проснулся. Комната была залита солнцем. Все уже встали и занимались каждый своим делом, кто в доме, кто во дворе.

В углу полулежал Иисус, подперев голову рукой, и не глядел на Иуду.

— Иди, Иуда, сегодня у тебя много дела, — сказал Он. — Я соберу вас на вечерю перед Пасхой. Надо купить еду и приготовить угощение.

В комнату вошла Мария Магдалина, неся сосуд с дорогим мирром. Она подошла к Иисусу и стала умащать Его драгоценным благовонием.

— Что она делает?! — возмутился Иуда. — Это мирро стоит талант серебра. Сколько нищих можно было бы накормить.

— Оставь ее, — сказал Иисус. — Она принесла это на погребение Мое, ибо нищих всегда будете иметь при себе, а Меня не всегда.

— Что ты говоришь, Равви?! — воскликнула Магдалина и залилась слезами.

«Что Он говорит?! — сказал про себя Иуда. — Позволяет умащать себя драгоценным мирром, принимает божеские почести. Не слишком ли это?! Я забочусь о нищих больше, чем Он. Я — Свет... Во сне мне так сказано было... Свет я или не Свет? Сейчас я испытаю себя. Вот если...» Он не успел подумать, что «если», как вдруг расслышал слова, которые Иисус говорил Магдалине в ответ на какой-то ее вопрос. Что это был за вопрос и о чем они говорили перед этим, Иуда пропустил, но вот что донеслось до его слуха:

«Испытывающий себя уже не Сын Божий».

Иуду точно огнем опалили. Он вдруг выронил ящик с деньгами, так что Магдалина вздрогнула, а Иисус сказал, не подымая головы:

— Иуда, что делаешь, делай скорее.

Все подумали, что Он говорит ему о покупках. И только Иисус и Иуда знали смысл слов.

Иуда вышел.

Глава 17. Тайная вечеря

И был в тот день Иисус так особенно тих и углублен, что ученики даже и ступать громко боялись, будто можно было что-то спугнуть или осквернить.

Иоанн ходил за Иисусом как тень, такой неслышный и печальный и совсем не отделимый от Него.

Все Его любили. Но матери Иоанна и Якова казалось, что ее сыновья больше всех. «Пусть они будут первыми в царствии небесном, — попросила она Его. — Пусть один из них сядет у Тебя по правую руку, а другой по левую».

— Не знаешь, чего просишь, — сказал Он ей. — В царствии небесном первые будут последними, а последние первыми. В царствие небесное войдет тот, кто забыл про себя и место свое. Кто себя не видит, тот увидит царство. Будьте, как дети, которые еще не умеют видеть себя со стороны...

А потом Он стал умывать им ноги.

— Ты — нам?! — спросили ученики.

— Да, я — вам. Любящий не унижается. Только любите — и делаете, что подскажет любовь. Любите Меня так, как я — Отца. Вот и все.

Я — лоза, вы — ветки. Ветки и лоза должны быть едины. Что такое ветки без ствола лозы? Ствол в них, и они в стволе.

Но пока еще мы не совсем едины. Только после моей Пустыни я стал совсем единым с Отцом моим. Скоро я поведу вас в Пустыню вашу и там оставлю.

— Равви, что Ты говоришь? В какую Пустыню? — спросил другой Иуда, не Искариот.

— Что нам надо уйти от мира и поселиться в Пустыне, как ученикам Иоанна? Веди нас, куда хочешь. Нам ничего не трудно с Тобой, — сказал Матфей.

— Знаю, что вам ничего не трудно со Мной, — медленно сказал Иисус. — Но в том-то и дело, что надо вам остаться без Меня. Это и будет ваша Пустыня.

— Что ж, если надо, будем некоторое время без Тебя.

— Нет, не некоторое время. А все время. Во времени должны вы остаться без Меня, чтобы в вечности совсем соединиться со Мной. Потому что сейчас вы еще духовные дети и не одно со Мной и не можете вынести всего, что Мне надо вынести.

— Как не можем?! — воскликнул Петр. — Я жизнь свою за Тебя положу.

— Жизнь свою за меня положишь? Говорю тебе: до тех пор, как пропоешь петух, трижды отречешься от меня...

— Равви!... Что ты сказал, равви?!

*** * ***

Тихо. Ночь.

...Последний раз Я с вами. Мы прощаемся, дети мои. Будьте тверды. Не смущайтесь, когда будут вас соблазнять и говорить вам хитрые слова и спрашивать, как понять их. Слитый со Мной все поймет, а

разделенный со Мной все переиначит. Ибо у всех слов есть два смысла — божеский и земной. Вам будут приводить Мои слова и смеяться надо Мной, говорить, что они не вяжутся друг с другом. Это для земного слуха не вяжутся. Для небесного — все связано.

Внешние люди собираются в стадо и идут за голосом внешним. А внутренние люди противостоят стаду, и каждый из них сам говорит с Богом и держит ответ перед Богом, сам, без посредников.

Не будьте стадом, будьте людьми! Я завещал вам земной мир и небесный меч! Не мечом решается духовный спор. Но нельзя мириться со злом в душе своей.

Будьте миротворцами на земле и будьте непримиримым воинством в Духе!

Глава 18. Подростий внук

— Ну что, мой мальчик, привел ты людей к Богу?

— Нет, не привел... В детстве казалось — только вырасти надо. А когда вырос... все оказалось так сложно! Я хотел справедливости, и когда на моих глазах убивали человека, я схватился за оружие. И потом уже не выпускал его из рук.

— Ну и стало в мире лучше?

— Нет. Хуже в тысячу раз.

— Ну, конечно. Сказано ведь: взявший меч от меча и погибнет.

— Так что же — сидеть, сложа руки, когда у меня на глазах убивают?

— Конечно нет! Сказано ведь: не мир, но меч.

— Но как, как это понять и совместить?

— Знаешь, есть на востоке легенда о святом, который совсем слился с Богом. К нему прилетела голубка, за ней гналась тигрица. И он укрыл голубку. А потом прибежала тигрица и сказала: «Если ты такой добрый, что прячешь голубку, то накорми моих тигрят». И святой взял весы и положил на одну чашу голубку, а на другую — кусок своего тела, равный, как казалось ему, голубке. Но голубка перевесила. Он положил еще. Голубка снова перевесила. Сколько бы кусков он ни клал, голубка перевешивала. Тогда он сам встал на весы. И весы уравнились.

— Не понимаю. Что ж он — за каждую голубку, за каждого тигренка себя отдает? Да разве одного хватит на всех?

— Бог — это тот, кто отвечает за каждую голубку и каждую травинку всем собой. И тот, кто слился с Богом, — также. Потому-то и мир держится, что кто-то за него отвечает — держит его.

— Тогда почему же в мире столько страдания и зла?

— Потому что мир не отвечает за Бога. Потому что Бога никто не держит.

- Что ты говоришь? Кто это может держать Бога и отвечать за Бога?!
- Отвечай за каждую травинку, и ты ответишь за Бога. Отвечай за Бога – и делай, что хочешь.
- Что хочешь? И никто не скажет мне, что именно я должен делать?!

Глава 19. Гефсиманский сад

Он взял троих самых близких – Петра и сыновей Зеведеевых, Иоанна и Якова, и пошел с ними в ночь. В Гефсиманский сад.

«Душа моя скорбит смертельно, пободрствуйте со мной один час».

Какие странные слова сказал Он им. Первый раз в жизни Он в смятении. Как это Он у них чего-то просит для себя? Всегда Он лишь давал, а они брали из рук Его пищу духовную, как птенцы из клюва матери. А теперь...

– Пободрствуйте со мной. Я буду молиться один. А вы побудьте в стороне и пободрствуйте со мной.

– Хорошо, Равви...

В растерянности они смотрят друг на друга, в растерянности обнимаются и... усталые, растерянные – засыпают.

И Петру снится, что Учитель зовет его и о чем-то просит. О, как Он жалобно просит. Но о чем? «Равви, Тебе нужно воды напиться? – Нет. – Равви, Ты ранен, перевязать Тебе рану?! – Нет. – Равви, Ты голоден, достать Тебе поесть? – Нет. Нет! – Чего же Ты хочешь, Равви?! Если бы это было что-то определенное. Если бы я мог понять!»

И Якову снится сон. И его Учитель зовет и просит. «Чего Ты хочешь? – Света... – Равви, Равви, я сейчас, сейчас... Равви, я не успеваю за Тобой. Где Ты?! Куда Ты уходишь, Душа моя?! Жизнь моя, я отстал от Тебя! О, как я отстал! Кто поможет мне подойти к Тебе?! Ты на вершине, а я у подножия!»

«Отче! – молился Иисус, и слезы текли по лицу Его. – Если можно, пусть минет меня чаша сия. Пронеси ее мимо меня, Отче. Но... Да будет воля Твоя, а не моя».

И Иоанну снится сон. Ему протягивает Учитель обе руки и просит его. «Что, Равви?! – Иоанн, откажись от воли своей, откажись, откажись от меня, ради меня! – Что Ты говоришь, Господи?! – Иоанн, ты ведь скажешь: «В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. И Слово стало плотью». Видишь, стало. Но до того, как стало, всегда было и есть. Откажись от плоти, от того, что «стало», во имя того, что всегда ЕСТЬ. Пусть я буду лишь СЛОВОМ, звучащим ВЕЧНО В ДУШЕ. Скажи Отцу: пусть будет воля Твоя, а не моя. –

Как, Равви? Ра—а—вви! Ты хочешь, чтобы я остался без Тебя? — Нет, я хочу, чтобы Ты был вместе со мной до конца, чтобы ты взглянул вместе со мной в лицо смерти и прошел бы сквозь смерть. Я не остаюсь в черноте смерти. Я — ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ. — Да, да... но как это?.. — Я — жизнь вечная. Но не плоть эта, а Я. Откажись от плоти моей ради Меня. — А... где... где... где же Ты будешь, Равви! Мне страшно, Равви. Не покидай меня, не покидай меня, Равви! — Я никогда не покину тебя, это ты покинул Меня. Я ЕСТЬ. Я один бодрствую и нахожусь лицом к лицу с ЯВЬЮ. А вы все спите и видите сны. То, что вы хотите, — есть сны. То, что хочет ОТЕЦ МОЙ, — ЕСТЬ ЯВЬ. Пробудись, пробудись!»

И Иоанн пробудился. И увидел Иисуса, склоненного над собой и говорящего с укором: «Один час просил я вас пободрствовать со мной, а вы спали». Вот прозвучал голос и отошел, удалился. И снова смыкаются веки.

А Иисус молится на горе один:

«Отче, спаси и помилуй их всех. А мне не дай увидеть, как в детях Твоих проступает лик зверя. Я хотел пробудить в них лики ангелов, но вот я увижу, как проступают в них бесы.

Вот Я один перед лицом Твоим. И никого нет со Мной. И только Ты разделяешь одиночество Мое, как и я — ТВОЕ».

И вот, окончив молитву, снова подошел к троице и увидел, что они все спали...

* * * * *

Вдруг в темном ночном саду замелькали фонари, послышались громкие резкие голоса и бряцание оружия. Это пришли стражники схватить Иисуса. Иуда указал им дорогу. Иуда знал, что Иисус с тремя учениками в Гефсиманском саду. Нужна была ночь, чтобы схватить Его, для того чтобы не видел народ. Нужен был кто-то, чтобы найти и опознать Его. И нашелся Иуда. Иуда подошел к Нему и поцеловал Его. И это был знак. «Тот, кого я поцелую, и есть Иисус Назорей», — сказал он тем, кого вел.

— Иуда, поцелуем ли предашь Меня? — спросил Иисус почти одними глазами, и Иуда отвел свои.

Петр схватил меч и отсек ухо одному из стражников, и услышал слова Учителя:

— Петр, Петр, вложи свой меч, я еще с вами, а ты уже забыл, о чем говорил Я: «Поднявший меч от меча и погибнет». Не мечом решается этот спор.

И Его схватили и связали и повели как разбойника в дом первосвященника Каиаффы.

Глава 20. Ночь Петра

Холодная ночь.

Во дворе первосвященника горят костры, и люди греются около них. Иисуса увели в дом, а Петр остался во дворе.

Рассыпанные кучки людей около костров, как оставшиеся сухие листья, облетевшие с дерева. А где дерево? И что такое лист, когда нет дерева?

Люди греют руки и судачат о том, кто поднял их в эту ночь. Вот схватили и привели человека. Кто этот человек? За что схватили его? Разбойник, заговорщик? Почему столько шуму?

Ходил с учениками и учил убить первосвященника?

Нет? А чему же он учил? Говорили, что он царь иудейский? А кесаря свергнуть хотел? Храм хотел разрушить?

— Слушай, а ты не из его ли учеников будешь? — спросила вдруг женщина Петра, подошедшего к одному из костров. — Я, кажется, видела тебя с ним.

— Н-нет. Я не знаю этого человека.

— Он, говорят, мертвых хотел поднять на живых. Он колдун великий. Да вот его схватили и сам себя не освободит. Все колдовство кончилось.

— Послушай, кажется я видела тебя с ним? Да, да... Я не могла так ошибиться.

— Говорю тебе, что я не знаю этого человека.

— Он хотел землю на воздух поднять, чтоб мы все взлетели и разбились. Все разрушить хотел. И еще бы немного и разрушил бы. Да вот его схватили.

— А ведь ты из его учеников. Я тебя все-таки узнала. — Не знаю я этого человека, — в третий раз сказал Петр, и тут пропел петух.

И тогда Петр вздрогнул и заплакал.

Глава 21. Понтий Пилат

Первосвященник передал Иисуса римскому прокуратору Понтию Пилату.

— В чем твоя вина? — спросил Его Понтий Пилат.

Иисус молчал.

— Что ты молчишь? Синедрион обвиняет тебя в том, что ты называешь себя царем иудейским и учишь народ не платить подать кесарю. А ты что скажешь?

Иисус молчал.

Он стоял перед Пилатом в своей худой одежде, нищий по виду, но Пилата не удивило бы, если бы Он сказал: «Я и есть царь иудейский». Что-то было в Нем такое, от чего вдруг покинули Пилата уверенность и ясность, и он почувствовал, что нет у него власти над этим человеком.

— Ты царь иудейский?

(Кто кого спрашивает? Не Он ли, молчащий, спрашивает его, Пилата: «А ты что сам думаешь обо мне? Кто я?». Это самый высокий из иудеев, а может быть, и не только из иудеев...

Может быть... может быть, Он властен над жизнью и смертью, и не Пилату Его судить...)

— Царь иудейский... — повторил Пилат вслух в раздумье.

— Ты сам говоришь это, — сказал Иисус.

Да, Пилат это сам сказал.

— Но, — продолжает Тот, Кто все время молчал, — царствие мое не от мира сего.

— Что это значит? Ты возмущал народ против кесаря?

— Нет. Я говорил: кесарю — кесарево, Богу — Божье. Я пришел возвестить миру Истину.

— Что есть Истина? — спросил Пилат.

И вот Он опять замолчал. И Пилат стоит перед Ним и ждет от Него ответа, но не так, как ждут ответа от подсудимого. «Кто кого судит?» — проносится в голове у Пилата. Все время испытывает он странное чувство — будто он, Понтий Пилат, не на своем месте, будто он не на все имеет право, и нельзя ему быть судьей.

— Что есть Истина? — он этого не знает, а Этот, стоящий перед ним, знает. И не кричит о ней, и не спорит, как все эти вечно дерущиеся фарисеи и саддукеи, но знает.

«Как же жить? Так вот и стоять перед этой молчащей Истиной, не смея поднять глаз? Что Он глядит своими всезнающими глазами... Что же, в самом деле, Понтию Пилату — римскому прокуратору — оставить свое место? Все бросить и идти за Ним?.. Неужели нельзя остаться на своем месте и не причинять зла этому человеку? Но почему же нельзя?.. Он же сказал: «Кесарю — кесарево, Богу — Божье». У Него — царствие Истины. У меня — мое. Он не мешает мне, я — Ему».

— Я не вижу вины на этом человеке, — говорит он, выйдя к первосвященникам и старейшинам иудейским. — Я хочу отпустить Его вам.

— Нет! Нет! Он великий преступник! — закричали те.

— Но есть трое других преступников. По обычаю, на праздник ваш, я должен отпустить вам одного. Я хочу отпустить Иисуса Назорея.

— Нет! Нет! Отпусти нам Варавву!

— А что делать с Иисусом?

— Распни его!

— Я не вижу вины на этом человеке, — еще раз сказал Понтий Пилат.

— Распни его! Распни его! Распни его!

О, эти иудеи! Эти неистовые! Как они кричат и как галдят! Что им дался этот праведник?.. Что за народ?! Неужели не могут жить спокойно?

— Распни его, или ты не друг кесарю!

Тогда Пилат перед всеми умыл руки и сказал:

— Не на мне, а на вас кровь этого праведника.

Он тщательно умыл свои холеные руки и вытер их чистым полотенцем. Почему же ночью он обнаружил, что на них остались кровавые пятна? Он страшно забеспокоился и стал отмывать их, но пятна не исчезали. Чем дольше, тем ярче они становились. И понял он, что теперь должен жить, вечно пряча свои руки.

«Проклятые иудеи!» — крикнул он в ночь и ударился головой о стену. «Проклятое, проклятое племя! Это они, они во всем виноваты! Ненавижу их! Я буду мстить им за этого человека! Что Он смотрит на меня своими глазами? Что Ты смотришь и молчишь? Не я, а иудеи распяли Тебя! Я буду мстить за Тебя этим проклятым иудеям! Всем до одного! Всем до одного!»

— Тише, Понтий Пилат, опомнись! Ведь и Я из них и все близкие мои.

— Ты?! Да... Ты ведь сам иудей... Не напоминай мне об этом! Не смей! Иудеи тебя распяли! Иудеи виноваты!

Ну, конечно, не он. Он вывел к ним Иисуса и, отдавая им, сказал: «Се человек!».

— Что ты сказал, Понтий Пилат? Как понять тебя? Что значит «Се человек»?

— Я сказал то, что сказал.

А потом стражники делали то, что хотели. Все, что хотели.

— Царь! Царь! Где твое царство? Куда подевалось твое владычество? — кричали римские стражники, и били Его, и плевали в Его лицо. — Сын Божий, спаси себя сам! Ты хотел, чтобы мы раздали все свое богатство, и обещал взамен всемогущество. Где же твое всемогущество?

— Эй, вели моей руке отсохнуть, если ты сын Божий! Смотрите, сухая ли это рука? — И стражник со всего размаху ударил Иисуса по лицу.

А Понтий Пилат сделал все, что мог; он велел написать внизу распятия: «Се Царь Иудейский». Старейшины иудейские сказали ему: «Не так надо писать. Не «се царь», а что он называет себя царем». Но Пилат был тверд. Здесь он настоял на своем.

Глава 22.
Голгофа

Голгофа. Лобное место. Открытая площадь, под палящим солнцем три распятия. Два разбойника и Иисус. Люди со времен Каина убивают людей. Но Бога?.. «Господи, я же убил брата моего, а не Тебя!» — сказал когда-то Каин. «Господи! — повторяли за ним сотни и тысячи. — Господи, дай, Господи, укрой, Господи, помоги!» Одинокому Богу, Немому Богу, убитому ими Богу — Тому, у кого отняли плоть, кричали они. Не было у Него голоса, чтобы ответить, не было рук, чтобы дать, не было ушей, чтобы слышать. Было только одно сердце, бившееся всегда за всех. Оно слышало без ушей и видело без глаз. И любовь к людям, и жалость к ним переполнили Сердце, и Оно оделось плотью и приблизилось к людям. Бог стал видим, слышим и осязаем. И тогда люди убили Его со словами: «Мы же убили не Тебя, а Иисуса Назорея».

Голгофа. Теперь она станет центром мира.

Нет, не Бог строит гармонию свою на убитом младенце — мир стоит на распятом Боге. В центре мира — распятие. Те, кто ближе к нему — распинают, а те, кто дальше, едят и пьют и умывают руки.

— Эй, если ты Бог, сойди с креста! — кричит Иисусу один из висящих рядом.

— Уймись, — говорит ему второй. — Мы страдаем за вину свою, а он ни за что.

— Мы как все люди. А он... Зачем он говорит, что все может, когда ничего не может?!

— Элия! Элия!

— Кого это он зовет? — спрашивают в толпе. — Илию или Бога?

— Отче! Зачем Ты оставил меня?!

И Отец взял Его. Внезапно кончилась мука. Бог умер.

Умер. Умер! Умер!!

Нет Его! Нет Его!!

Ученики Его смотрят друг на друга в таком оцепенении, что, кажется, если расколется сейчас земля, они не услышат. У ног распятия лежит без жизни Матерь Его.

Магдалина не упала. Магдалина стоит, как стоит камень, как стоит распятие. «Магдалина! Магдалина! Уже третьи сутки стоишь ты так. Не пугай нас, пойдем отсюда!» — говорят ей друзья. «Магдалина! Магдалина!» — Нет Магдалины. Да как может быть она, если нет Его?!

Ее взяли, как берут камень. Ее унесли, как уносят камень. Кто-то из тайных учеников снял с креста Его тело. Его омыли и похоронили. И кто-то плакал и бился, и кто-то говорил: смирись. Все мы должны смириться со смертью и жить рядом с ней.

- Нет!
- Как «нет»? Что же сделаешь?
- Нет!
- Ты говоришь бессмысленные слова. Надо жить, зная, что Его нет. Смерть всегда рядом с нами.
- Нет! Нет! Нет!
- Его ученики обезумели, – тихо говорили друзья их и жалели их и плакали. И шли в дом свой есть свой хлеб и пить свое вино.

Глава 23. Воскресение

На третьи сутки Магдалина пошевелилась. Ресницы ее вздрогнули, и она прошептала:

- Где Он?!
- Вон там, – показали ей место, где Он был похоронен. И она пошла туда.

– Где Ты, Господи?!

Молчание.

– Где Ты???

Молчание. И тогда она заплакала, уронив голову. А когда подняла голову, увидела Его. Увидела, услышала, вдохнула – Его.

– Мария!

– Раввуни!!!

Если бы весь мир уверял ее сейчас, что Его нет, что никто не позвал ее и ей некому было откликнуться, она бы только пожала плечами и улыбнулась сама в себе. Ибо ничего на свете не слышала она так полно и ясно, как Его голос, не ушами, а всею глубиною глубины своей.

– Мария!

– Раввуни!!!

Если бы весь мир уверял ее сейчас, что Его лица нет, она молча улыбалась бы сама в себе. Ничего на свете не видела она так ясно и полно, как это Лицо. Вот оно вставлено, вдавлено, врезано в ее сердце, вытеснило ее сердце вон из самого себя, заменило его С собой.

– Раввуни! Раввуни!

Это Лицо и смерть... Как же она не знала до этого дня, что они несовместимы?! Или то, или другое. Оно вытесняет смерть, входя в мир, как вытесняет тело воду, входя в нее. Если бы целый мир сказал ей сейчас, что это Лицо умерло, она бы молчала и улыбалась. Если Оно может умереть, то Его и не было никогда, и все говорят не о Нем.

- Мария!
- Раввуни!!

О, как Ты жалел нас и как хотел разбудить! И будил, будил! А мы засыпали снова и снова. Засыпали и видели во сне Тебя в самом лучшем золотом сне своем. А Ты хотел, чтобы мы увидели Тебя наяву, в самой Бесконечности Твоей.

- Раввуни!!

– Что с ней? – Иоанн и Петр шли по дороге ко гробу Христа и вот увидели Марию, идущую навстречу им. Они остановились в молчании, глядя на нее. Что с нею?

– Родные мои, не сказал ли Он нам: «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов, а вы идите за Мной?»

Что с нею?!

– Разве Он не сказал нам: «Иду от вас и мир не увидит Меня, но вы увидите Меня?» – продолжала Мария. – Вы еще не видите? Не слышите?

Это Его голос.

– Иоанн, а Иоанн!

– Равви! Равви! О, Равви!

– Слышишь ли Меня? Видишь ли Меня?

– Слышу, вижу, осязаю, вдыхаю тебя! О, Господи! Люблю Тебя!

– Петр! Любишь ли Меня?

– Вижу, слышу, вдыхаю, вкушаю! Беру Тебя внутрь, Любовь моя!

Они обнялись и стояли втроем, и Он был с ними.

И ничего не видели они и не слышали, кроме Него, Воскресшего. А когда руки разомкнулись, пошли они рассказывать людям, что Он воскрес. И весть об этом разнеслась по миру. И люди шли и шли, чтобы поглядеть на Него, и подходили к ученикам Его. И одни застывали, пораженные, и плакали и обнимались с ними, а другие глядели по сторонам и разводили руками и спрашивали:

– Где же Он?!

Указатель имен

А

Абд ал Баха	187, 188
Абу Бекр	95, 97
Абу Талиб	95
Августин Бл.	65, 70, 125
Аверроэс	92
Авицеброн (Ибн Габриоль)	65
Авиценна	92
Амбедкар	141
Анаксагор	36
Ангелус Силезиус	159
Андреев Д.	147, 148, 186, 187
Андреев Л.	76
Антоний Сурожский	64
Аристотель	100
Ауробиндо Шри	168, 184—186
Ашока, император	134, 135

Б

Басё М.	161, 162
Бах И.С.	142, 166, 167
Безант А.	170—175
Бен Цви	66
Бер Дов	66
Бетховен Л. ван	62, 166
Блайс Р. О.	152, 162, 164—167
Блум А.	81, 84
Бодхидхарма	148, 149, 151, 152
Бом Д.	181
Брейгель П.	166

Бубер М.	65
Будда (Сиддхартха Гаутама)	7, 118–127, 133, 135, 136, 138, 145, 148–150, 157, 160, 164, 165, 170–172, 178, 184
Бьерре Й.	13

В

Ван Вэй	161
Вебер М.	92
Вивекананда Свами	168
Витгенштейн Л.	121, 166
Врубель М.А.	28

Г

Газали ал	102
Гайдн Ф.Й.	166
Галеви И. Бен	65
Ганди И.	142
Ганди М.	132, 174
Герцен А.И.	87
Гесиод	33, 43
Гёте И.В.	64
Гойя Ф. Х. де	166
Гомер	27, 32, 43, 132
Горький М. (Пешков Алеша)	134
Гумилёв Н.	102, 187
Гуэйшань	154

Д

Давид, царь	57, 232
Данте А.	94, 139
Джефферс Р.	178
Джибран Халил	182
Джойс Дж.	177
Джонстон У.	156
Дзяппе Н.Д.	24
Декарт Р.	92
Дионисий Ареопагит (Псевдодионисий)	85
Добрыня и Путяга	99
Дэгэн	149, 161

Достоевский Ф.М.	18, 46, 64, 80, 84, 144, 145, 168, 182, 195
Ж	
Жид А.	177
З	
Зейд	91
Зуся	66
И	
Ибн аль Фарид	103
Иван III, царь	87
Иеровам II, царь	58
Иккью	160
Иоанн, евангелист	69
Иоанн Златоуст	86
Иосиф Волоцкий	87
К	
Кабир	141, 142
Керуак Дж.	166
Кобори Энсиу	164
Константин, император	85
Конфуций	21, 151
Корчак Я.	107
Кришнамурти Дж.	168—183
Ксенофан	43, 92
Кумараджива	152
Курочкина М.	188
Л	
Ландау Р.	168—178, 180, 181
Лао Цзы	144, 145, 161
Ледбитер Ч.	169
Ли Бо	161
Линьцзи	149, 154, 155
Лука, евангелист	69, 78
М	
Маймонид	65

Малер Г.	161
Марк, евангелист	69, 78
Маркова В.	161–163
Матфей, евангелист	69, 78
Махавира В.	119, 121
Мацзу	149, 150, 153–155
Ма Юань	161
Мейстер Эххарт	125, 178, 179, 188
Мень А.В.	48, 198
Мертон Т.	167
Минаев И.П.	107
Минамото Мусаси	150
Мирза Хусейн Али Нури	187
Миркина З.	42, 103, 116, 138, 140, 142, 147, 161–163, 197
Миура и Сасаки	148
Моцарт В.А.	137, 166
Мухаммед	7, 21, 91–100, 104, 120, 187, 188

Н

Нагараджуна	17
Нанбороку	164
Наньчуань	153
Нил Сорский	87
Ньютон И.	92

О

Омар	95, 97
Оппенгеймер Р.	132

П

Павел, апостол	68, 73, 74, 155, 186, 196
Паньюнь	150
Парменид	153
Пастернак Б.	63, 137
Перикл	36, 38
Петр, апостол	82, 84
Пилат	82, 241, 242
Платон	44, 47, 100
Протагор	45
Пушкин А.С.	90, 137

Р	
Раджнеш	182—184
Рембо А.	102
Рерих Н.	91, 92
Рильке Р.М.	42, 63, 191, 192
Рублев А.	71, 84
Руисбрук	188
Руми Дж.	103, 105
Руссо Ж.-Ж.	144, 145
С	
Сальери А.	137
Сеид Али Мухаммед	187
Сент-Экзюпери А. де	182
Серапион	89
Сергуненков Б.	146, 147
Сибаяма	148
Симеон, Новый Богослов	88
Сириянин И.	18
Смоляк А.	24
Сократ	36, 43—47, 62, 80, 81, 131
Сокэй-ан	154
Соловьев Вл.	102
Соломон	75, 193
Софокл	35, 36, 38
Софрониск	44
Столяр А.Д.	15, 16
Судзуки Д.Т.	153, 156, 161, 162, 165
Сэлинджер Дж. Д.	167
Сэн-но Рикю	161, 164
Сюарес К.	169, 171-173
Т	
Тагор Р.	106, 107, 137, 140, 142
Тайлор Э.Б.	18
Такуан	164
Тертуллиан	85, 157
Тиё из Кага	163
Толстой Л.Н.	39, 168
Торквемада Т.	89
Тургенев И.С.	168

Тютчев Ф.	40
У	
Успенский Г.И.	39
Ф	
Феодосий, император	85
Фидий	36
Флоренский П.	84
Фома Кемпийский	188
Франциск Ассизский	86, 155
Фромм Э.	166
Фудзивара-но Саданэ	162
Х	
Хайдеггер М.	166
Хаксли О.	177
Хакуин	156–160
Халладж ал	101, 176
Хамдани ал	102
Хань Шань	148
Хемфриз Ч.	165
Хидэёси	161
Христос Иисус	7, 20, 68–88, 100, 101, 114, 123–125, 131, 135, 155, 163, 169, 171, 172, 174, 176, 179, 186, 188, 189, 192–195
Хуанбо	154, 155
Хуико	149
Хуинэн	146, 153, 160, 184
Хуитан	151
Хунжень	149, 150, 153, 160
Ц	
Цветаева М.	88, 181
Циньюань	153
Цунми	154
Ч	
Чайковский П.И.	102
Чандидасу	139
Чен Хао	164

Чжаочжоу	150
Чжуанцзы	151
Чингисхан	99
Ш	
Шанкара	114
Шарден Т. де	10, 106
Шекспир У.	38
Штейнер Р.	186, 187
Штернберг Л.Я.	23
Шэнчжао	152
Э	
Эврипид (Еврипид)	35, 36
Элиезер И. Бен (Баал Шем Тов)	66
Энамото К.	163
Энде М.	165
Эсхил	33, 36–38
Ю	
Юнг К.Г.	132, 166
Я	
Янагида С.	152, 153

**Григорий Соломонович Померанц,
Зинаида Александровна Миркина
ВЕЛИКИЕ РЕЛИГИИ МИРА**

Корректор Н.С. Сотникова
Компьютерная верстка В.Д. Лавреников

Издательский № 52
Подписано в печать 05.09.2005
Гарнитура NewtonС. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16. Уч.-изд. л. 14
Тираж 3000 экз. Заказ № 464.

Издательский дом
Международного университета в Москве.
Негосударственная Международная образовательная автономная
некоммерческая организация Международный университет в Москве.
125040 Москва Ленинградский пр., д. 17
Тел./факс: 250-25-89
<http://www.interun.ru>
E-mail: rio@interun.ru

Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.